

ISSN 0131-6044
РОМАН-ГАЗЕТА
10 (1184)·1992
Нина Федорова
СЕМЬЯ



ПАМЯТНИК ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ РОДИНЫ

Одно из самых молодых среди творений русской монументальной скульптуры, и в числе весьма знаменитых среди них,-- памятник Тысячелетию России в Новгороде Великом. Он был открыт летом 1862 года, а десять веков тому назад началось, согласно летописному преданию, становление русской государственности.

Создателем памятника стал молодой тогда -- всего двадцать шесть лет -- художник, уроженец смоленского села Михаил Микешин. Позже он создал знаменитые монументы в честь Екатерины Великой в Петербурге и Богдана Хмельницкого в Киеве. Как повелось у нас не со вчерашнего дня, автор самых популярных памятников в стране до сих пор не оценен по достоинству: во многих искусствоведческих трудах и учебниках ему уделяется лишь несколько снисходительных строк.

Напрасно, видать, взывал еще Николай Михайлович Карамзин почти два века назад: "Должно приучать россиян к уважению собственного" Увы, до сих пор не приучили. Меж тем трудно сыскать в целом свете общенациональный памятник, который в столь гармоничной и выразительной форме отражал бы тысячелетнюю историю великой державы.

Общий вид памятника отчетливо напоминает колокол, увенчанный ажурным крестом. Воистину, колокол -- символ России: это и православная вера, и боевой набат, и веселая удаль тройки. Колокол твердо покоится своим широким основанием на земле -- нет, кажется, силы, которая могла бы поколебать его.

Но пытались. В двадцатые--тридцатые годы разрушительные силы, овладевшие на время Россией, пытались в буквальном смысле стереть с лица земли памятники русской истории. Творению Микешина в Новгороде повезло, но его предали забвению.

В сорок первом году фашисты захватили Новгород. Памятник был разобран на части, его должны были увезти в Германию, даже специальную узкоколейку проложили к центру города. Не удалось. Русские войска изгнали захватчиков, а вскоре -- еще громыхала война -- памятник Тысячелетию России поднялся из руин, как не раз восставала к жизни наша Родина.

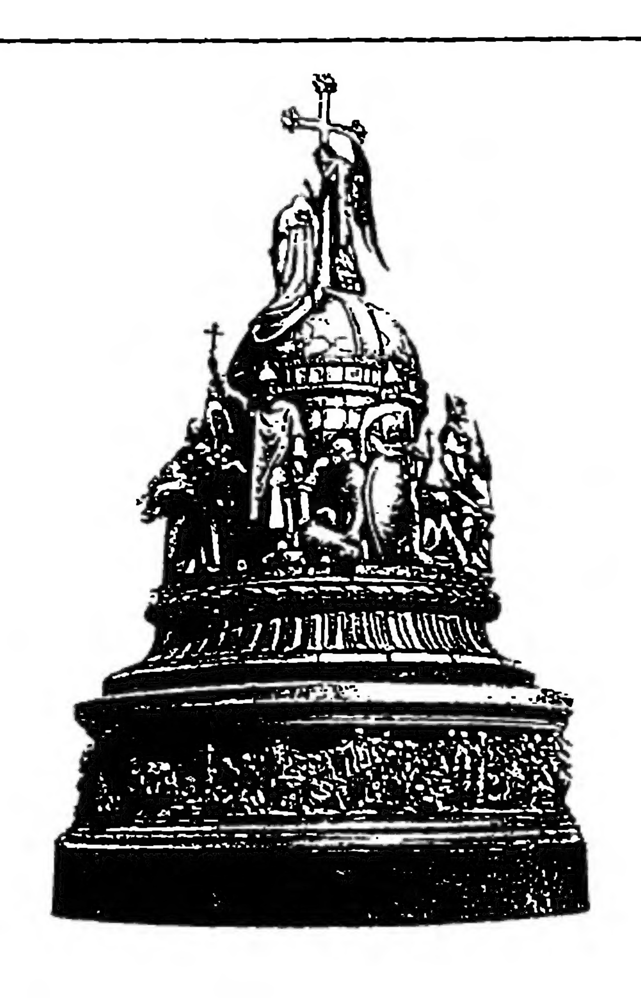
На памятнике изображено сто девять выдающихся деятелей русской истории. Особое значение автор памятника уделил шести скульптурным группам, определявшим, по его мнению, основные вехи российской истории, -- они вынесены в верхнюю часть композиции: легендарный князь Рюрик, креститель Руси киевский князь Владимир, Дмитрий Донской, первый российский царь Иван Третий, основатель династии Романовых Михаил с Мининым и Пожарским.

Среди других персонажей памятника прославленные князья древности Святослав и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и Александр Невский. Видные государственные деятели Ордин-Нащекин, Яков Долгорукий, Потемкин-Таврический, Михаил Воронцов. Прославленные полководцы старого и нового времени от Мстислава Удалого до Суворова и Нахимова. Светочи русской культуры Ломоносов и Пушкин, Глинка и Брюллов. Выдающиеся церковные деятели, начиная с просветителей Кирилла и Мефодия и летописца Нестора до сподвижника Петра I Феофана Прокоповича и московского митрополита Платона, современника Державина и Карамзина. Достойно изображены четыре знаменитых русских женщины: княгиня Ольга, Марфа Борецкая, Анастасия Романова и Екатерина Великая.

С.Семанов



Нина Федорова (настоящее имя—Антонина Федоровна Рязановская; 1895—1983) родилась в г.Лохвице Полтавской губернии, а умерла в Сан-Франциско. Однако, строго говоря, Нину Федорову нельзя назвать эмигранткой. Она не покидала Родины. Получив образование в Петрограде, Нина Федорова переехала в Харбин, русский город в Китае. Там ее застала Октябрьская революция. Вскоре все русские, живущие в Харбине, были лишены советского гражданства. Многие из тех, кто сразу переехал в Россию, погибли. В Харбине Нина Федорова преподавала русский язык и литературу в местной гимназии, а с переездом в США—в колледже штата Орегон. Последние годы жизни провела в Сан-Франциско. Антонина Федоровна Рязановская была женой выдающегося ученого-культуролога Валентина Александровича Рязановского и матерью двух сыновей, которые стали учеными-историками, по их книгам в американских университетах изучают русскую историю. Роман "Семья" был написан на английском языке и в 1940 году опубликован в США. Популярный американский журнал "Атлантический ежемесячник" присудил автору премию. "Семья" была переведена на двенадцать языков. В 1952 году Нина Федорова выпустила роман в Нью-Йорке на русском.





Нина Федорова

СЕМЬЯ

Роман

"...есть и нетленная краса".
Тютчев

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Единственное, что они, несомненно, унаследовали от многих поколений своих благородных предков, был длинный и тонкий аристократический нос. Хотя, по форме, это был все тот же нос, полученный по наследству всеми членами семьи, он выглядел различно на лице каждого из них. Он выражал достоинство и терпение на усталом лице Бабушки. На увядающем лице Матери он был воплощением покорности судьбе. У Пети он говорил о тайной обиде, о назревающем бунте. Очаровательным он казался на нежном лице Лиды: он говорил, он пел о замечательных надеждах, о романтических мечтах, о том, как жизнь прекрасна в семнадцать лет. Он был обыкновеннейшим носиком на худеньком, веснушчатом личике Димы. Здесь он забавно и трогательно морщился, реагируя на неожиданности жизни. И все же это был тот же нос, объединяющий их в одну семью.

Семья эта была русская, когда-то, в прошлом, большая, богатая, знатная. Пройдя через войну и революцию, перенеся преследования, нищету, болезни и голод, пережив пожар, испытав потоп и землетрясение, семья потеряла одних своих членов, породила новых. Смертность все же оказалась проворней рождаемости — и теперь семья состояла из пяти человек, итог длительного процесса роста генеалогического дерева. Это были бабушка, мать, дочь и два племянника-сироты, оставшиеся от двух умерших братьев. Все вместе они составляли семью на чужбине, "дубовый листок", давно и навек оторвавшийся от "ветки родимой".

Буря гнала их на Восток. 1937 год застал их в Китае, в Тянцзине. Они жили в наименее фешенебельной и потому наиболее дешевой части британской концессии, неподалеку от берегов загадочной Хэй-Хо.

На первый взгляд иностранные концессии в Китае имеют внешне европейский вид. На широких мощеных улицах, окаймленных деревьями, среди домов современной архитектуры, турист белой расы чувствует себя как дома. Но вот он начинает замечать, что деревья по большей части голы, что между домами стены из серого камня, порою с башнями и бойницами. Чей-то подозрительный глаз уже глянул оттуда на пешехода. Турист смотрит вверх. Стены утыканы острыми гвоздями, усыпаны колким битым стеклом. Чья-то винтовка гуляет у башни, и к ней уже бегут две другие. Но все это без звука, без шороха.

Эта крепость — дом богача китайца. Их много. Там своя жизнь и должна быть какая-то своя тайна. Эта жизнь и эта тайна ревниво оберегаются. Атмосфера настороженности окружает такое жилище.

Но турист любопытен. Он хочет видеть.

Единственный вход в такую крепость — маленькие, выкрашенные в яркую, обычно красную краску железные ворота, с тяжелыми чугунными болтами, задвинутыми наглухо. И самый любопытный глаз самого любопытного туриста не увидит ничего, кроме холодного, мертвого камня и пылающих, как сердце, ярких ворот. Но бывает миг, когда ворота открыты, и, если подстеречь, можно увидеть больше.

Турист увидит изумительный сад с искусственными скалами и маленькими озерами, с аллеями редких цветов, с птицами в клетках и на воде. Изящные, артистически выращенные и подстриженные деревья бросают на все нежную кружевную тень. Беседки из лакированного дерева — зеленые, синие, красные с золотом — отдыхают в тени. Мраморный лев с круглыми глазами и широко раскрытой пастью, по-видимому, чем-то страшно рассержен. Бронзовый дракон, свисая с покатой черепичной крыши, улыбается коварной змеиной улыбкой. И все это среди могильной тишины.

И вдруг на тропинке появляется прелестная стройная женщина в сияющей шелковой одежде, с маленьким цветочком в черной отсвечивающей гладкой прическе. А за нею — служанка на коротких ножках уже бежит, раскачиваясь направо и налево. И на все это зеркало, всегда укрепленное где-то над воротами, изнутри, вдруг бросит во двор сноп лучей яркого, острого, как нож, света.

Но это был миг, и видение всегда мимолетно. Уже чьи-то невидимые руки поспешно захлопнули ворота. Гремит засов. Винтовки склонились с бойницы. И снова турист стоит на улице почти европейского города. Он даже не верит тому, что только что видел.

Чем дальше от центра концессии, тем меньше английского в ней остается. Люди иных рас и наций теснятся на ее окраинах, пытаясь укрыться от интернациональных и личных невзгод под сенью гордого флага могущественной Британской империи. Она — самая могущественная в мире и им всем — мачеха. К ней толпятся, желая быть хотя бы и пасынком. В одиночку и семьями живут в пансионах, где сдают комнаты со столом и с удобствами и без стола и без удобств, даже без мебели, воды, света и кухни.

Такой именно пансион снимала Семья и от себя уже сдавала комнаты жильцам. Пансион этот находился на Конг-стрит, номер одиннадцать.

Предприятие это, заставляя всех членов семьи работать, не приносило никакого дохода. Каждый искал что-нибудь добыть на стороне и внести эту лепту на покрытие общесемейных издержек.

Много книг существует по вопросам экономики, при университетах есть для нее отдельные факультеты, но, к глубокому сожалению публики, все вопросы трактуются лишь в больших масштабах. Легко найти подобные сведения о мировой экономике, о монетных системах и банках, об инфляции, о девальвации, но на самый насущный, самый интересный вопрос — "как прожить семье без денег?" — на этот вопрос нет ответа ни в одной доселе написанной по экономике книге. А между тем именно этот вопрос мучительно интересует, по крайней мере, две трети человечества. Пренебрегаемая в сфере чистой науки практика жизни с семьей, но без денег делается достоянием сферы искусства и здесь свободно предоставляется индивидуальным талантам, без общих традиций, законов и правил.

Финансовое положение Семьи было неопределенно, более того, ненаучно, нелепо. Оно покоилось на нездоровых экономических началах. Его основами были, во-первых, попытки что-нибудь заработать, во-вторых, развитие навыков обходиться без необходимого. Второе удавалось успешнее первого. Чтобы заработать, необходимо найти, от кого заработать, но это лицо всегда в отсутствии. Уменье же обходиться без необходимого есть дело совершенно личное, не зависящее от посторонних, и с годами практики могущее быть доведенным до высокой степени виртуозности и совершенства техники. Так, летом члены Семьи обходились без шляп, перчаток, чулок, носков, пальто; зимой — без галош, теплой одежды, шерстяных вещей; без пищи частенько во все времена года; без тепла, уюта и человеческого участия — десятилетия.

Бабушка более других замечала лишения. Часть ее жизни прошла в благополучии довоенного и дореволюционного быта. Она помнила дом с колоннами, и в нем такое множество вещей! Вещами полны были шкафы, комоды, гардеробы, шифоньеры, сундуки, чемоданы, шкатулки и ящики. Вещами были заставлены чуланы, чердаки, кладовые, сараи, подвалы. Вещи лежали на полках, столах, этажерках. И все время их еще выписывали из-за границы, покупали в магазинах, получали в подарок и по наследству. Теперь же, не имея решительно ничего, она переносила бедность как унижение. Тот факт, что у Лиды была всего одна рубашка, казался Бабушке стыдом и унижением, когда она вспоминала о своем собственном гардеробе в Лидином возрасте. "В Лидином возрасте" у Бабушки имелось уже приданое — несколько дюжин белья с кружевами, вышивками, монограммами, лентами. "Да, да, девочка — нищая!" Но сама Лида, никогда не видев Бабушки в юности и не имея возможности сравнивать, многих лишений не замечала совершенно. Ее мечта была другая. Потомок гордых предков, и она была честолюбива: ей хотелось получить первый городской приз за плавание. Главной надобностью был купальный костюм. Она его имела. Здесь заканчивались ее стремления к приобретению гардероба.

Для каждого члена Семьи одна и та же жизнь, среди одних и тех же лишений, принимала различный характер. Для Бабушки жизнь была уже разрешенной религиозно-философской проблемой; для Матери она была непрерывной арифметически-хозяйственной задачей; для Пети жизнь обернулась в трагедию постоянно уязвляемой гордости; для Лиды она наполнялась лирическими взлетами надежд и мечтаний; для Димы она обернулась забавой. Возможно, что различное отношение к жизни зависело от разницы в возрасте и практическом опыте. Членам Семьи было от восьми лет до семидесяти. Что же касается опыта, то измерить его трудно за отсутствием общего масштаба.

И все же Семью никак нельзя было назвать несчастной. Таких семей на свете много. Они просыпаются утром с вопросом "быть или не быть?" и ответить на него могут лишь вечером, когда день уже прошел, а они — живы, снова все вместе вокруг стола. Поевши, они начинают мечтать о лучшем будущем.

В этом мире хорошо мечтать умеют лишь бедняки. Бедняк не может не быть хоть немножко поэтом, хотя бы отчасти мечтателем. Мир, реальный для богача, для бедняка фантастичен. Мир полон богатств, застрахованных от его посягательств; пищи, которой он не имеет права есть, одежды, которой он не может носить. Религия, наука, литература — тысячелетиями стремятся его поднять и осчастливить, но он по-прежнему гол и бос. Он, по совести, не может быть реалистом. Он мечтает о переменах в жизни. Так и Семья жила мечтами, что вот вдруг случится что-нибудь замечательное — и жизнь станет легче. Этой перемены они ждут со дня на день, каждый по-своему. Бабушка молилась о ней перед *Взыскание погибающих*[1], Петя покупал лотерейные билеты. Но до самой весны 1937 года не произошло никакого чуда.

Как и в каждой хорошей русской семье, ее члены были нежно привязаны друг к другу, всегда готовы пожертвовать собой ради общих интересов. Другой национальной чертой была в них особая полнота духовной жизни, трепетный интерес к людям и к миру, в котором они жили. Их интересовали все общечеловеческие проблемы, поэзия, музыка, отвлеченные вопросы духовной жизни. Русский ум отказывается посвятить себя всецело только личным интересам или вопросам одной текущей жизни. Он стремится обосноваться на высоте и оттуда иметь суждение о жизни.

2

Весной 1937 года только пять комнат пансиона были сданы жильцам. Две комнаты в нижнем этаже занимал мистер Сун, профессор-китаец. В двух комнатах второго этажа, над мистером Суном, жили пять японцев. Одну комнату снимала бывшая гадалка, мадам Милица.

Мистер Сун имел всегда торжественный вид, был печален и молчалив. Японские жильцы были, должно быть, рождены оптимистами: они беспрестанно и восторженно здоровались, улыбались, шипели, кланялись и ежечасно спрашивали всех о здоровье. Их еще никто не видел молчащими или в задумчивости, никто не видел их во весь рост. Они все кланялись. Они то приходили, то уходили, по два и по три, и всегда в иной комбинации, так что в Семье начали уже подозревать, что японцев жило в доме не пять, а по крайней мере двенадцать. Все желтые жильцы столовались вне дома, давая поэтому очень скудный доход. Что же касается мадам Милицы, родиной которой были бескрайние степи Бессарабии, то она не только столовалась в доме, но и делилась с Семьей каждой своей надеждой и огорчением, и все же и от нее было очень мало финансовой пользы.

Три комнаты были свободны и ждали новых жильцов.

В это знаменательное майское утро мадам Милица и Бабушка сидели в углу двора, называемого садом. Сад имел два дерева. Они росли в стороне от дорожки, ведущей от калитки к дому, — и сидевший под деревом испытывал сладостное чувство, что он ни у кого не на дороге. Ощущение уюта усиливалось еще и тем, что стена, отделявшая "сад" от улицы, была высока и непрозрачна. Меж двух деревьев уже нетрудно вообразить себя вполне на лоне природы, вдали от ужасов цивилизации.

Под деревьями, за столом, Бабушка и мадам Милица пили кофе. Кофе! Кофе был единственной слабостью Бабушки, единым искушением в ее аскетической жизни. Но существует странный закон, по которому человек не имеет того, чего хочет, и у Бабушки не было денег, чтобы пить свой собственный кофе. Семья пила чай, потому что в Китае чай дешевле, чем кофе.

Кофе был угощением мадам Милицы. По какому-то загадочному устройству внутренних органов, мадам Милица, обычно таинственно и мрачно молчаливая, за чашкой кофе пускалась в длиннейшие монологи и нуждалась в слушателе. Благодаря этой ее странности Бабушка пила кофе, по крайней мере, два раза в день за последние шесть месяцев. Регулярных часов для этого не было. Они пили кофе всякий раз, когда мадам Милица была в нервном состоянии — или подавлена, или оживлена. А за последнее время мадам Милица если не была оживлена, то была подавлена, и кофе помогал в обоих случаях.

Итак, в это майское утро они сидели за столом, под деревьями. Бабушка пила кофе и вязала, мадам Милица говорила и пила кофе.

— Посмотрите на меня, и вы увидите честную женщину, — скорбно произнесла мадам Милица, открывая свой монолог. — Я — честная женщина. Моя душа не запятнана ложью. В этом — увы! — я похожа на мать. — И она с сокрушением вздохнула. Но, сделав над собой усилие, она продолжала уже более радостным тоном: — А сказать вам, кто была моя мать? Ангел! Серафим шестикрылый! Но если это и удобно для небес, на земле честность — враг счастья. Верьте словам: честность убьет какое угодно счастье. — И она горестно покачала головой.

У нее была замечательная голова. Трудно было судить о ее действительных размерах под тяжким покровом прически, но с волосами голова эта была вне какой-либо анатомической пропорции с остальными размерами тела. Голова — величественная и торжественная — поражала необычайным изобилием черных кудрей, локонов, челок и завитков. Под этой пышной коллекцией для лица оставалось мало места. Два небольших черных глаза, две впалые щеки, нос такой небольшой, что не заслуживает описания, и затем — во всю нижнюю часть лица — зловещий рот.

— Взгляните на меня, — продолжала мадам Милица, — посмотрите внимательно и судите сами. Кто я? По воспитанию, образованию и призванию я — гадалка, и, простите за откровенность, знаменитая в своем роде гадалка. Меня знает и по-

[1] Икона Божией Матери. Точное название: Взыскание погибших. *(Здесь и далее примеч. ред.)*

мнит благодарная Румыния, Бессарабия, Украина и Дальний Восток. И я — безработная! Добровольно, без всякого вмешательства полицейских властей, я сама прекратила прием клиентов. Почему?

Она загадочно умолкла на этом интересном месте, тряхнула головой и, отпив большой глоток кофе, воскликнула:

— Потому что я — честная женщина. Не умею лгать.

Бабушка сочувственно покачала головой. Обе женщины сокрушенно вздохнули.

— До мировой войны дело мое шло прекрасно. Что же случилось? Спрошу вас: где же мои клиенты? Рядовой клиент перестал интересоваться своей судьбой. Он боится правды. Вот вам пример. Как-то раз перед революцией пришла ко мне погадать молодая дама. Все у нее благополучно, но муж — на войне. Ждет, чтобы я предсказала ей легкую, красивую жизнь. Бросаю карты: вижу, лежит муж убитый, а даме — вдовство, нищета, страх, болезни и смерть в тюрьме. И все это — в два года. Говорю, что вижу. Честно называю вещи их именами. Представьте ее негодование: она — в тюрьме?! Кричит мне: "Ведьма!" Отвечаю: "Допустим, я — ведьма, тебе от этого не легче!" Дама устроила мне шум и скандал. Есть профессии очень чувствительные к шуму. Она же шумела и в комнате, и на лестнице, и у парадной двери. И что вы думаете? Все жильцы дома, прохожие, публика — все были на ее стороне. Так начались гонения за правду...

Она поникла головой и застонала. Бабушка сокрушенно вздохнула.

— Офицеры, бывало, придут ко мне слегка выпивши, конечно, с подругами, целой компанией. Раскину карты и вижу: скорая смерть офицерам. А подругам — голод, холод и далекие поездки в полной нищете. Клиенты уже начали меня бить. Не поймите этого фигурально. Нет, били по-настоящему, дождевым, например, зонтиком или палкой. Что я, беззащитная, могла поделать? Бывало, только и скажу кротко: "Бей, судьбы своей не переменишь!" А карты с каждым днем все страшней да хуже. И совсем не стало клиентов. Поехала я в другой город, потом в третий. Все то же. Поеду, думаю, в Украйну, веселый край. Один город, другой, третий, а судьба людям выходит все та же, самая страшная. Тут подоспела бескровная революция и за нею гражданская война. Нет, чего только судьба не готовит человеку! — И мадам Милица в удивлении воздела к небу руки. — Бывало, раскину карты — и онемею. Прибегали ко мне несчастные девушки, брошенные жены, неутешные родители — у всех столько волнений! Брошу карты и вижу: чем дальше, тем всем будет хуже. Пришлось покинуть город. Вижу, качусь уже по Сибири. Бывало, и красный комиссар зайдет погадать. Жаждет душа почестей. И должна я ему сказать, что, правда, кое-что получит из почестей, а потом его же товарищи его и повесят. Не всякий человек любит такую правду. Ругнул меня комиссар очень гадко. А один советский сановник так тот ударил меня по лицу — женщину! Что ж? Вскоре и он был казнен, но мне какое от того утешение? Да... Докатилась я до Харбина. И хоть бы что! Меняю места, а судьба клиента без перемен. Вижу, уже я живу в Китае, приехала в Тянцзин — и тут все то же. Как-то девочка пришла. Молоденькая, славненькая. "Погадайте мне, милая тетя!" Дай, думаю, хоть ей раскину на счастье. Куда тут! Ей, почти ребенку, открываю такую судьбу: позор и гибель. Насильственная смерть. И, заметьте, все это в два-три месяца.

Мадам Милица в отчаянии глотнула кофе и вдруг заговорила каким-то страшным, деловым голосом:

— Ну, и скажите мне теперь по совести, сколько можно спросить с такого ребенка за такое гадание? Стыд и позор, если взять больше полтинника. Немудрено, что заработки мои страшно упали.

Она горько, сардонически усмехнулась и продолжала:

— Зашел как-то ко мне красивый юноша. До чего же красив! Гляжу и в душе восклицаю: "Слепая природа, что делаешь! Такую красоту даешь мужчине!" Такому-то мальчику да не жить, особенно при послевоенном оскудении в приятных мужчинах! Бросила карты: поездка — и совсем недалеко — там смерть. Мгновенная. Говорю ему, сама плачу, а он смеется. Бросил мне доллар серебряный. Ушел. Следила за его жизнью. Поехал мальчик в Шанхай, поступил к богатому китайцу в телохранители. Напали бандиты. Мгновенно: пуля в сердце и навылет — и нет мальчика!

Мадам Милица мрачно качнула головой, и все ее кудри заколыхались, зашелестели.

— Тут я начала размышлять уже над м о е й жизнью. Разбираюсь: кто были мои клиенты? Румыны, русские, поляки, евреи, украинцы, армяне — угнетенные нации, народы, попираемые историей. Ищу: кто же попиратели. Решила на них испробовать карты. Справляюсь, кто господствует, какой ныне международный язык. Отвечают — английский. Стала готовиться. Заучиваю английские слова. В моей профессии не нужно много слов. Жизнь, смерть, деньги, нет денег. Письмо, известие, любовь, болезнь, обман. Иной раз ребенок. Муж, жена, любовник, дальние родственники. Начальство, служба, исполнение желаний. Бывает еще неожиданная встреча, сердечный интерес. Но, сказать честно, двадцать — тридцать слов предскажут судьбу кому хотите. Твердо выучила эти слова. Люблю позволить себе и роскошь сказать определенно — брюнетка, блондин, но эти слова на всех языках те же. Приятно побаловать даму словом "подарок", девицу — "поклонник", мужчину — "капитал". Чувствую — готова. Поместила объявления в местных английских газетах. Пишу: "Знаменитейшая гадалка Восточного полушария нашей земли..." И что же? — ни одна душа не откликнулась на мое объявление. Никто не пришел.

Ее голос оборвался. В нем зазвенела слеза. Кудри взлетели и опустились.

— Ни одного клиента!

Бабушка прекратила вязание. Ожидая продолжения монолога, она смотрела на рассказчицу глазами, полными сочувствия и слез. Отвернувшись, избегая ее взгляда, мадам Милица порывисто налила в обе чашки, до краев, свежего кофе и после нескольких глубоких глотков нашла в себе силы для слов.

— Почему они не идут? Так уверены в светлом будущем? Разве нет у англосаксонских народов натурального любопытства к судьбе? Я бы сказала им: "Не доверяйте удаче! Будьте готовы ко всему, ждите несчастья! Его в мире хватит на всех!"

Ее глаза сверкнули жутко, предостерегающе.

— Судьба играет со счастливцем в прятки. А тем временем я проедаю свои сбережения, — заметила она вскользь. — Я приняла решение: если клиент не придет, через две недели уезжаю в Шанхай. По железнодорожному справочнику это — два дня пути. Но я бросила карты. Вижу: много дней и недель путешествия, и по воде, и по земле, и по воздуху — и, заметьте, без прибытия к желаемой цели. Что ж, если и дальше Тянцзина никому нет дела до собственной судьбы.

— Насколько я знаю, — мягко заговорила Бабушка, — англичане не верят гаданиям. С ранних лет учатся полагаться на свои силы и верят, что человек сам строит будущее.

— Они так верят? Ха! — Мадам Милица зловеще засмеялась. — До каких ужасов доходит цивилизация! Мне жаль англичан. Зашли бы, могла бы и им кое-что сказать. И зашли бы, пока не поздно, пока я еще гадаю. Да, вымирает наша профессия, гибнет одно из древнейших знаний. И никто ничего, будто бы так и надо. Кто ж из молодых станет тратить время, жизнь на профессию, которая не интересует клиентов. Да, уже немного нас, настоящих гадалок, осталось теперь на земле. Десять лет не встречала коллеги.

Она подлила в чашки еще кофе и, наклонившись в сторону Бабушки, заговорила полушепотом, тоном сердечных признаний.

— Я люблю ваше семейство. Все вы мне дороги. Сколько раз находило на меня искушение бросить карты на вашу семью. Но страшно. И вот через две недели я уеду в Шанхай. И думаю, не попробовать ли... а? Сейчас?

Быстрым движением она вынула колоду карт из кармана и вдохновенно, взволнованно стала их тасовать.

— Люблю я ваше семейство. Мать... бабушка... дети... Приличная семья всегда возит с собой бабушку. Вот уезжаю. Желаю вам всяких благ. Но карты... минута... — и, может быть, конец надеждам. И все-таки, не попробовать ли? А?

Несколько минут обе женщины сидели в молчании, и любопытные и испуганные. Мадам Милица все сильнее поддавалась искушению.

— Знаете, как мы сделаем? Я погадаю лично на вас. Вы уже старушка. Что вас может ждать! С вами уже немногое может случиться. Вы и больны и бедны. Вам и терять нечего... Боитесь смерти?

— Смерти? Нет, не боюсь, — сказала Бабушка, и ее голос не дрогнул. — В жизни теперь я боюсь только расходов.

Она оставила вязанье и посмотрела вдаль. В наружности Бабушки не было ничего особенного. Она походила на букетик богородской травки: такая же сухонькая, ароматная, хрупкая.

— Что смерть, — сказала она тихо, — но вот похороны могут разорить семью. Гроб, венчик... а свечи, панихида, отпевание? И место на кладбище. И крест на могилу. И это не все. Как гроб доставить на кладбище? Русское кладбище далеко, за Хэй-Хо. Платить за перевоз. Доктору платить за свидетельство о смерти. Батюшке за отпевание... Какой все это страшный расход! Здесь, на чужой земле, кто поможет? Боже мой! Да еще смерть в доме может распугать жильцов. Нет, нет, как только я представлю себе все это, эти расходы, эту дороговизну, то так мне страшно за дочь мою Таню, так ее жалко, что отпадает всякая охота умирать.

И она энергично принялась за вязание.

— Тогда почему б не попробовать карты? — вкрадчиво шепнула мадам Милица и, не ожидая ответа, стала тасовать, высоко поднимая руки. Узором падали карты на стол, и глаза Милицы стали пронзительны и горячи, как угли. Вдруг лицо ее приняло удивленное выражение. На мгновение она как бы застыла, не веря глазам.

— Годы, долгие годы я не видала такой раскладки! Скорое исполнение ваших сердечных желаний. Удача, новый друг, интерес и почет. Во-первых, вы получите службу...

— Я? Службу? — Бабушка даже приподнялась на скамейке. — Голубчик, мне семьдесят лет.

— Да, службу, и с хорошим окладом. Загребать будете деньги. Деньги вам лично и в дом. У вас появятся серьезные деловые связи. От них — польза всей вашей семье. Но вы-то умрете. Однако и после этого не видно долгов. Покрыты, вижу, все расходы. Да, вас ожидает приятная смерть...

И в этот момент судьба отозвалась на карты. Калитка стукнула, и незнакомый господин вошел в сад.

3

Вошедший, по внешнему виду, был совершенно необычным посетителем для такого дома, как № 11. Даже по ошибке такой господин не должен бы войти в такую калитку. Это был, без сомнения, англичанин, — высокий, здоровый, хорошо одетый, прекрасно выбритый, корректный и высокомерный. Он был человеком иной, счастливой жизни. Он явился с другой планеты. Зачем он вошел в сад? Почему он сначала остановился, посмотрел на фасад дома № 11, а потом сделал два шага по направлению к Бабушке и опять остановился? Чего он мог искать здесь? Он был фантастическим явлением на этом будничном фоне. И почему он не ушел сразу, если лицо его выражало только брезгливое презрение к тому, что он видел?

Англичанин постоял с минуту, как бы давая и себе и другим время привыкнуть к необычайности положения, — и заговорил по-английски.

Он сказал необыкновенную вещь — в доме № 11 сдавались комнаты, и он хотел видеть хозяйку.

Первой пришла в себя Бабушка. Она переменила изумленное выражение на приветливое. Она встала и радушно улыбнулась. Бабушка получила прекрасное воспитание и поэтому легко ориентировалась во всяком положении. По-английски она говорила отлично. Предполагая, что господин пришел по недоразумению, она объяснила, что № 11 — русский пансион, что в нем имеются жильцы разных национальностей и даже рас, что дом не очень комфортабельный и что, по всем этим причинам, он не подходит для англичанина. Хотя она говорила и быстро и вежливо, господин слушал с брезгливым нетерпением и, едва дав ей докончить, повторил — и на этот раз несколько громче — то же самое, что сказал и в первый раз: ему нужна комната в пансионе № 11 и он хотел бы видеть хозяйку.

— Войдите, пожалуйста, — сказала Бабушка, кланяясь и приглашая англичанина в дом.

Господин вошел — и в полчаса была заключена удивительная сделка: лучшая комната в доме, с балконом в сад, была сдана, и деньги, тут же и без просьб и торговли, были уплачены вперед за два месяца. Они уже лежали посередине стола, в обыкновенных банковых билетах. Комната же была снята для благородной английской дамы. Дама эта, по словам господина, была не очень молода, не так давно овдовела и была, во всех смыслах, совершенно одинока в Тянцзине. Посещениями ее никто не будет тревожить. К сожалению, дама не может похвалиться прекрасным здоровьем, хотя, с другой стороны, ее нельзя назвать и больной — совсем напротив. Предвидя возможные и непредвиденные расходы, господин считал своим долгом сказать, что дама вполне располагает материальными средствами и все подобные расходы будут оплачены братом дамы, мистером Стоуном, который в настоящее время уже спешит из Англии, из Ливерпуля, в Китай. Мистер Стоун прибывает с единственной целью — ликвидировать коммерческие дела мистера Парриша — "Кожи и кости Туркестана". Дама — жена покойного мистера Парриша. Закончив ликвидацию дела, мистер Стоун, без сомнения, ликвидирует и все личные дела сестры. Он же — то есть пришедший господин — только партнер в фирме "Кожи и кости". Имени своего господин не назвал, да он и не держался на равной ноге в доме № 11. Нисколько. Он лишь считал своим долгом — своим исключительно христианским долгом — позаботиться о даме, вдруг оказавшейся в полном одиночестве. Тут господин слегка вздохнул и добавил, что дама еще недавно была совершенно очаровательной женщиной, но так как в этом мире все превратно, то изменилась и дама... Но все же он хочет надеяться, что переменится и это. Тут господин посмотрел на всех строго и просил запомнить, что с помещением дамы в пансион № 11 совершенно оканчивается его личное участие и заботы о даме. Он — только партнер фирмы и уезжает на лето. Его последним словом будет просьба оказывать даме возможно больше внимания. Она нуждается в постоянном внимании, будучи неустойчивой в неутешном горе. На тревожные вопросы Бабушки господин ответил, что дама станет есть что дадут, всегда будет всем довольна и в пансион прибудет к вечеру того же дня.

Он ушел, оставив на столе деньги. Бабушка в смущении смотрела на них. В ее кругу, в те прежние времена, никто не давал денег так — прямо на стол или в руки, как в лавке. Они передавались в конверте, незаметно. Но все же это были деньги, и как они были нужны!

Стали поспешно готовить комнату для дамы. Мать и Бабушка за работой высказывали всевозможные предположения о необыкновенном событии. Мадам Милица и маленький Дима старались помогать в работе и развивать тему разговора.

— Англичанка! — вслух и зловеще размышляла Милица. — Как этому верить? Настоящая благородная английская дама в русском пансионе, все ест и никуда не ходит! И заметьте, к ней тоже никто не ходит. Партнер спешит уехать на дачу, но брат торопится на место действия. Сумел снять комнату на два месяца, не назвав своей фамилии. Деловой человек всегда наслаждается своим именем. Как хотите, это — необыкновенное происшествие, и на дне его лежит тайна.

Всем стало не по себе, даже немного жутко. Дима взял Бабушку за руку, чтоб, на всякий случай, быть к ней поближе.

— Не будем заглядывать в будущее,— умиротворяюще сказала Мать, Татьяна Алексеевна. — Может, и нет большой тайны. Ведь у нас нет доказательств...

— Доказательств? — Мадам Милица сверкнула глазами. — А деньги? И — вы обратили внимание? — не за один, а за два месяца, и вперед. Я это вижу в первый раз в жизни. Честный человек избегает платить вперед. Много вы видели авансов от квартирантов? А этот визитер разговаривает свысока, а деньги так и кидает на стол. Мне он даже на поклон не ответил. Сноб английский!

— Вы только отчасти правы, — заговорила Бабушка кротко. — Англичане, конечно, несколько снобы, но такими они бывают в чуждой для себя обстановке, в чужих краях, и особенно здесь, на Востоке. У себя дома они очень радушны. Я два раза была в Англии. Они там гостеприимны...

— Еще бы! — усмехнулась мадам Милица. — Там у вас были деньги. Снобы исключительно гостеприимны к чужому богатству.

— А почему снобы знают, что у Бабушки сейчас нету денег? — спросил Дима.

— Детка, не будем осуждать людей, — ответила Бабушка.

В комнате стало тихо. Шуршали лишь щетки и тряпки. Дима старательно, пальчиком, вытирал пыль с рамки зеркала.

— Ах! — вдруг вскрикнула мадам Милица. — Я как-то подавлена всем случившимся. Мне нужен кофе, и сию же минуту.

— Там осталось в кофейнике, — с радостной готовностью откликнулась Бабушка. — Сейчас подогрею.

— Нет, — гордо возразила мадам Милица, — в такой момент мы не станем пить подогретого кофе. Заварим свежий, — и с благородным великодушием добавила: — Поставьте на стол четыре чашки.

В шестом часу вечера были привезены вещи миссис Парриш. Сундуки, чемоданы, ящики — все было наилучшего английского вида, солидное, богатое, прочное.

В семь часов, когда уже наступили сумерки, большой, роскошный автомобиль остановился у калитки пансиона № 11. Дверца автомобиля быстро раскрылась. Первым появился огромный бульдог. Он вышел спокойно, с достоинством, не торопясь отошел в сторону и остановился у стены. Взгляд его был мрачен. Казалось, что он не одобрял происходившего. За ним из автомобиля проследовал господин, утренний посетитель. Затем выпрыгнул, словно выброшенный пружинкой, шофер, — и вдвоем они почти выволокли из автомобиля высокую, грузную даму, которая сопротивлялась, отбивалась от них и кричала по-английски господину звонким, полным энергии голосом:

— Скотина! А-а-а! Куда вы меня тащите! Чудовище! Пустите! Дайте мне выйти самой! — И она легко выпрыгнула из автомобиля. Это была высокая, цветущая женщина с приятным, но несколько отекшим лицом. Прическа ее была сильно растрепана, падали шпильки, платье было помято и в беспоряд-

ке — и все же сразу всем было ясно и очевидно, что дама эта, миссис Парриш, была действительно настоящая английская леди. Самым удивительным в ней был голос: здоровый и свежий, он походил на голос хорошего мальчика.

На крыльце дома, в ожидании прибывшей, уже стояла живописная группа. Бабушка и Мать, в лучших своих платьях, приветливо улыбались и кланялись. Дима, только что начисто вымытый, с не просохшей еще мыльной пеной на висках, мячиком выкатился из дома. За ним, как луна, выплывала мадам Милица в ореоле своих черных кудрей.

Встреча и внедрение в пансион вновь прибывшей оказались трудной и сложной церемонией. Все были взаимно удивлены, все нервничали — и каждый по-своему. Мать и Бабушка старались не показать, как они шокированы. Господин старался не встречаться ни с кем глазами, — он смотрел то на небо, то на свои перчатки. Шофер крутился около миссис Парриш с видимым намерением подхватить ее, если она станет падать. От мадам Милицы исходили неясные восклицания и жаркие лучи любопытства. Красота собаки поразила Диму. Собака была мечтой его жизни. Одна только миссис Парриш, по-видимому, не испытывала никакого смущения. Покачиваясь, в туфлях с очень высокими каблуками, из которых один был наполовину оторван, она подошла к крыльцу, с удивлением посмотрела на незнакомые лица — и вдруг широко и мило всем улыбнулась. Господин мигнул шоферу, чтобы воспользоваться благоприятным психологическим моментом и втащить даму на крыльцо. Но едва он коснулся ее руки, как миссис Парриш встрепенулась и закричала:

— Прочь, чудовище! Видали? — И широким жестом она указала на господина. — Он — мне угрожает! Пугает лечебницей, где в окнах решетки, если я не останусь здесь. Ха! Слыхали вы подобную дерзость?!

Она стояла перед крыльцом, высокая, почти величественная, полная благородного негодования.

— А что он говорит! Я качаюсь. Я не тверда на ногах! Смотрите — качаюсь я? — кричала она с вызовом. — Посмотрите сначала на меня, а потом на этого негодяя. Кто — пьян? Кому нужна лечебница? Кто из нас почти ненормален? Он меня тащит, он меня пугает, толкает — и это я почти... Тут я стою... так хорошо, твердо стою... — Она тряхнула головой, и ветерок легко взметнул вверх ее пушистые светлые волосы. — Вот я стою перед вами... а посмотрите на него — чего он боится? Несчастный облезлый болван. Ха! Лечебница — вот именно!

Миссис Парриш была совершенно пьяна. В этом не могло быть никакого сомнения. Спасая приличия, Бабушка выступила вперед и заговорила вежливо и мягко:

— Рада вас видеть, миссис Парриш. Войдите, пожалуйста, в дом. Ваша комната готова. Мы ждали вас. Я вас проведу. Будете жить с нами... в простом семейном кругу. — Она взяла миссис Парриш под руку и, маленькая, хрупкая, осторожно повела ее вверх по ступенькам. Леди повиновалась. Господин замыкал шествие.

Дверь закрылась.

— Видали? — кратко спросила мадам Милица.

Татьяна Алексеевна с минуту стояла неподвижно.

“Деньги уже истрачены, — думала она. — За два месяца! Теперь уже нельзя ничем помочь. Когда будет очень трудно, надо помнить, что, благодаря ей, мы сразу заплатили почти все долги”.

И она, вздохнув, пошла на кухню.

Наверху миссис Парриш уже бушевала. Падали вещи, хлопали двери. Ее голос покрывал все звуки. Он звонко разносился по всему дому, и ему отвечало радостное эхо, как будто веселая летняя буря, с громом и молнией, бушевала, запершись в ее комнате. Звонок непрерывно звонил, и китаец-слуга, как соломинка, гонимая ветром, летал вверх и вниз по лестнице. У калитки собралась кучка любопытных нищих. Бабушка появилась в окне, опуская штору. Японцы появлялись то тут, то там, как пузыри на воде, — и так же исчезали, спросив, как здоровье. Один мистер Сун не проявил никаких знаков интереса к происходящему.

Наконец все стихло. Слышен был лишь умиротворяющий голос Бабушки и громкие вздохи миссис Парриш. Господин, улучив минутку, покинул дом, ни с кем не простившись. Мадам Милица проводила его горящим взглядом и почувствовала, что она опять хочет кофе. Петя и Лида вернулись со службы и с изумлением слушали рассказ матери о событии дня.

4

Улеглись волнения. Семья готовилась ко сну.

Только в те дни, когда не все комнаты пансиона были сданы — и такие дни уже сами по себе являлись несчастьем, — каждый член семьи спал в постели. Обычно они оставляли только одну комнату для себя, самую худшую, имевшую мало шансов привлечь жильца. Она именовалась “столовой”, так как случались и жильцы “со столом”. В ней всегда стоял странный деревянный диван, несколько похожий на корабль, — тут спала Бабушка. Это была единственная постоянная постель Семьи. Все остальные должны были явиться как плод изобретения и воображения. Они всецело зависели от обстоятельств текущего момента. Иногда стулья связывались вместе: четыре — кровать для Димы; шесть — для Лиды. Петя, к сожалению, был довольно высок, и постель для него представляла трудную проблему. Летом он спал в гамаке, подвешенном к двум деревьям сада. Мать спала на полу в коридоре, и мало кто знал об этом, так как она ложилась всегда после всех и утром просыпалась первой. Если у жильцов были гости и недоставало стульев, Димин матрасик расстилался под столом в кухне, на стол постилалась длинная скатерть, и Дима спал, как ангел, никому не мешая. Нет конца возможностям устроить себе постель, но все же это всегда легче сделать летом, чем зимой: летом они раздевались перед отходом ко сну, зимой же надо было одеваться — и потеплее. Еще пара носков, старая вязаная кофта, шарф на голову — все собиралось и распределялось между членами Семьи. Нужно ли говорить, что все эти детали жизни тщательно скрывались, поскольку возможно, от постороннего глаза — и утром жильцов встречало радостное: “Доброе утро! Какой прекрасный начинается день”.

Теперь был май, теплое время года, и была еще одна, не занятая жильцами комната, так что все

постели готовы были в полчаса. Семья собралась за столом для "самой последней" — перед отходом ко сну — чашечки чаю. Это всегда была лучшая минута дня. Свет погашен, и только лампадка мерцает перед иконой Владычицы, Взыскание погибающих. Ее лицо печально и строго. Она казалась утомленной от своей тяжкой задачи, которой не предвиделось конца.

Туда, в этот угол, к этой иконе и к этой лампаде приносила Семья все свое горе. Каждый вечер, помолясь перед ней на коленях, Бабушка сама зажигала лампадку. Серебряная риза, отражая мерцающий свет, наполняла весь угол таинственным и мягким сиянием. От движения света и тени казалось, что лицо на иконе оживало, выражение менялось, как будто бы Владычица, следуя за молитвами Семьи, повторяла слова и давала ответы.

Эта старинная фамильная икона и была та "одна-единственная вещь", которую Семья вывезла из России. Она была звеном, связывающим Семью со многими поколениями коленопреклоненных предков, точно так же молившихся перед ней каждый вечер всю их длинную или короткую земную жизнь.

И сегодня горела лампада, своим мерцанием успокаивая волнения дня. Мир наполнял сердца. Чай был налит — и только тут заметили, что в комнате не было Димы.

А Дима был все там же, где он впервые увидел Собаку.

Собака, собственная собака, была мечтою Диминой маленькой жизни. Он не смел и думать приобрести ее, так как собаку нужно кормить. И вот самая отличная в мире собака стояла у стены во дворе! Постояв с полчаса, Собака медленно и с достоинством прошла к крыльцу и села на ступеньке. Она не обращала совершенно никакого внимания на окружающих. Она была выше того, чтобы, например, заметить присутствие Димы. А Дима стоял неподалеку и восторженными глазами созерцал Собаку. Он осмелился подойти ближе, даже сесть на другую ступеньку, подальше, чтобы движением своим или дыханием не обеспокоить Собаку. Как Дима жаждал, как ждал знаков взаимного интереса! Напрасно. Это была самодовольная, самодовлеющая собака. Что она знала о человеческом мире, о человеческих чувствах и отношениях? Неизвестно. Но то, что было ее опытом, раз навсегда уронило человека в ее глазах. Она совсем не нуждалась в человеческой ласке. Пусть она позволяла Диме восторгаться собою, но сама ничем-ничем, даже малейшим движением кончика хвостика, не дала знать, что видит его и понимает. О чем думала Собака, конечно, трудно сказать, но в глазах ее угадывалось, что она презирает все, что не есть исключительно собачий мир, все нежные чувства, непостоянство человеческого характера, поведения, изменчивость и шаткость его дружбы. Но, странно, Собака чем-то сама походила на человека. Ближе всего она походила на банкира, какого-нибудь президента каких-нибудь банковских компаний, на дельца, который давным-давно понял, в чем дело, давно не имеет никаких иллюзий и совершенно презирает идею о возможности улучшения мира. Если бы только дать Собаке сигару, это сходство сделалось бы вполне законченным и совершенным.

Мать нашла Диму на крыльце в позе молчаливого восторженного созерцания. И только тут она сообразила, что и Собака будет жить в пансионе.

— Боже мой! — воскликнула Мать. — Какой это будет расход!

5

Уже в шесть часов утра загремели звонки из комнаты миссис Парриш, и так как Кан, слуга-китаец, еще не пришел, Мать побежала наверх. Она нашла миссис Парриш за столом перед бутылкой и двумя пустыми стаканами.

— Выпьем вместе! — сказала жилица, осветив комнату веселой, чудной улыбкой.

— О, еще очень рано! — поспешила отговориться Мать. — Мы не пьем алкоголя в такое раннее время.

— Не хотите виски — я налью вам пива!

Мать из вежливости взяла свой стакан, поблагодарила, выпила глоток и ушла. Через несколько минут опять раздался оглушительный звонок. Японцы появлялись с вопросами о здоровье. Мать опять побежала наверх.

— Ну вот, теперь уже не так рано, выпьем вместе виски-сода, — сказала миссис Парриш с очаровательной улыбкой.

Так началась жизнь миссис Парриш в пансионе № 11. Она оказалась запойной пьяницей. Пока с ней был стакан и бутылка, ей ни до чего больше не было дела. Она весело бушевала половину дня, а затем спала беспробудно. Трудность заключалась в том, что она не разбирала ни дня, ни ночи, и ее звонкий голос часто в полночь пробуждал всю окрестность от сна. Приходили жаловаться. Соседи то смеялись, то ругались. Матери было трудно охранять достоинство пансиона.

Все заботы направлялись на то, чтоб помешать миссис Парриш покупать виски и, таким образом, вытрезвить ее. Но у нее было много денег, она хорошо давала на чай, и Кан немедленно стал ее рабом и послушным орудием. Уволить Кана было невозможно, так как Семья была должна ему жалованье уже за полгода. К тому же миссис Парриш распорядилась поставить телефон в ее комнате и просто заказывала ящик виски доставить на дом. Итак, несмотря на все уловки Семьи и на коварную помощь мадам Милицы, миссис Парриш пила как хотела.

Но и Семья привыкла бороться с трудностями жизни. И Семья не сдавала позиций, и, в некотором смысле, миссис Парриш не было никакой пощады. Ее почти не оставляли одну, отвлекая от бутылки. Миссис Парриш любила разговор и общество, и кое-что Семье удавалось. Каждый из них подходил к жилице индивидуально, пробуя на ней свои таланты.

Однажды — это была очередь Лиды — глубокой ночью забушевали звонки из комнаты миссис Парриш и зазвучал ее голос, приглашая всех в гости.

Лида робко вошла в ее комнату. Но, посмотрев на нее, набралась храбрости и предложила:

— Давайте споем что-нибудь дуэтом.

Эта идея сразу понравилась миссис Парриш.

— Вы лягте в постель, я сяду около вас на этом стуле, — предложила Лида.

— Давно я не пела, — заволновалась миссис Парриш, — кажется, с самого детства. Давайте споем из "Травиаты"? А? "Налейте, налейте бокалы полнее..." Я — за Альфреда, вы — Виолетта.

И они пели полчаса одно и то же, все тише, все реже. У Лиды был прекрасный голос, и она старалась изо всех сил. Миссис Парриш стала засыпать и вскоре сладко заснула. Лида тихонько и заботливо укрыла ее одеялом, перекрестила с молитвой и на цыпочках ушла из комнаты.

В другой раз, днем, мадам Милица пришла успокаивать миссис Парриш. Она подошла к столу, за которым пила миссис Парриш, вынула из колоды три карты наугад, бросила их на стол и сказала:

— Эта комбинация карт означает пожар.

Но ее английский был плох. Вместо "fire" — пожар, она сказала "wire" — проволока.

Миссис Парриш вдруг страшно рассердилась.

— Проволока? Какая проволока? — Она огляделась, помахала рукой вокруг себя. — Какая проволока? Что вы меня дурачите? Вон отсюда!

Мадам Милица с достоинством направилась к выходу:

— Я имела в виду комбинацию карт. Гадание. Моя профессия — узнавать чужую судьбу.

Что-то дошло до сознания миссис Парриш.

— У вас есть карты? Сыграем в покер.

Мадам Милица вздрогнула от негодования.

— Это — другие карты. Это — символы, по происхождению из Вавилона. Чтобы найти их, человечество жило тысячелетия. Видите — это Луна, или Нина, покровительница Ниневии. И вы хотите ею играть в покер.

— Ну, не надо, — легко согласилась миссис Парриш. — Но что мы с ней будем делать?

День был жаркий. Растрепанная, потная, грузная, миссис Парриш имела жалкий вид. Милица посмотрела на нее критическим оком и предложила:

— Мы сядем здесь, в тени, у окна. Как появится какой пешеход, бросим на его судьбу карты — и узнаем, что его ждет.

Миссис Парриш пришла в восторг от этой идеи.

Мадам Милица раскинула карты на рикшу, стоявшего на углу.

— Этот рикша беден и болен. У него нет друзей. Интриги, донос. Я даже вижу тюрьму и голодную смерть...

— Боже, как страшно! — закричала миссис Парриш и, наклонившись низко из окна, позвала: — Рикша! Рикша!

Ветер играл ее пушистыми волосами, лица ее не было видно.

— Рикша! Сюда! — И она бросила рикше серебряный доллар, крича: — Рикша, у тебя нет друзей! Какая жалость!

В промежутках, между рикшами и пешеходами, мадам Милица повествовала об историческом развитии и прошлом величии гадальной профессии и горько оплакивала ее угасание. Что из этого поняла миссис Парриш, сказать трудно. Английский язык Милицы был плох, более того — фантастичен, к тому же у ней была склонность к торжественности в слоге. Однако же при известии о скорой погибели профессии миссис Парриш сильно огорчилась:

— Какая жалость, мистер Парриш не дожил, чтобы услыхать об этом. Он бы сейчас же основал какое-нибудь акционерное общество, и все были бы счастливы.

Однажды в праздник миссис Парриш особенно буйствовала. Соседи посылали прислугу с просьбой, чтобы шум прекратили. Японцы стояли кучками в саду, глядя вверх на балкон миссис Парриш и высказывая предположение, что она не очень здорова. Милица не могла даже пить кофе. Мистер Сун не сказал ничего, просто ушел из дома. Бабушка была в церкви. Лида ушла плавать. Это была Петина очередь успокаивать миссис Парриш.

— Миссис Парриш, — обратился он к ней, — не поможете ли вы мне с крестословицей[1]?

При слове "крестословица" она встрепенулась, и в глазах ее засверкали слезы.

— Покажите ее мне! Дайте ее сюда! О, милая! — сказала она крестословице, а потом объяснила Пете: — Покойный мистер Парриш, — и слезы потекли из ее глаз, — как бывали неудачи или затруднения в делах, сядет, бывало, за крестословицу и сидит час-два. Успокоится и что-нибудь придумает. Он всегда имел успех во всем, во всех делах. О, мы жили так легко, так весело...

— Не плачьте, миссис Парриш, — сказал Петя тихо. — Мистер Парриш в лучшем мире и...

— И вы верите в это? — удивилась она. — Как же вы наивны! Самое слово "смерть" значит уничтожение. Полное уничтожение. Потому я так легко и перенесла его смерть. Мистера Парриша больше нет. Нет нигде. Да если бы на одну только минуту представить, что он существует где-то и что-то таинственное случается с ним... что он видит меня, как я сейчас здесь сижу... да это просто невыносимо. Уходите отсюда! Вон с вашей крестословицей!.. Впрочем, стойте, сначала выпьем, а потом я вас выгоню.

Но все же Петя уговорил ее, и они до обеда сидели над крестословицей.

Даже Дима был призван к участию в усмирении миссис Парриш. Он явился с коробочкой показать ей свою коллекцию марок.

— Это — из Канады.

— Канада! Я была там. Выбрось сейчас же эту марку. Канада мне не понравилась.

— Это из Советской России: редкая марка.

— И ты держишь ее? Дай сюда! — И она разорвала Димино сокровище. Скрывая слезы, он ползал по полу, собирая кусочки и закаляя свое сердце для жестокого плана, как расквитаться с миссис Парриш за это ее преступление.

Но главной страдалицей, главной жертвой и самым частым посетителем миссис Парриш была Бабушка. Миссис Парриш, так сказать, всем своим большим и грузным телом оперлась на хрупкое плечико Бабушки и там покоилась.

6

Дима всегда чувствовал себя вполне удовлетворенным жизнью, но с водворением в доме миссис Парриш он потерял душевное равновесие. Из-за

[1] Крестословица — кроссворд.

Собаки, из-за ее равнодушия, даже пренебрежения к нему.

Дима принимал за должное, что все в Семье нежно его любили, что он нравился всем жильцам и всем соседям. Мир был до некоторой степени обязан относиться к Диме с симпатией и немножко баловать его. Но вот на горизонте его жизни появилось индифферентное к нему существо. Бульдог. Чистейшей породы. Аристократ в мире собак. У него была своя, отдельная и таинственная жизнь. Он стоял выше всех жалких Диминых попыток заинтересовать сноба собой. Между ними уже установились такие унизительные для Димы отношения. Что бы ни делал Дима, Собака не снисходила до того, чтоб Диму заметить. Никто не слышал голоса Собаки. Она не снисходила до того, чтоб в этом доме по-собачьи залаять.

"Так что же? — горько размышлял Дима, — залезут воры, станут красть у нас все и нас поубивают, а он даже не гавкнет! Совсем, совсем он нас не любит!"

И все же целые дни они проводили вместе. Дима не решался притронуться к Собаке. Он сидел в двух шагах напротив, не спуская с нее восторженных глаз. Ей варился отдельный обед, так как миссис Парриш выдавала на это отдельные деньги. Собака каждый день ела мясо, и Дима сам мыл чашку до и после еды. Ничто не помогало. Интерес был односторонний, без проблеска надежды на взаимность. Тогда Дима стал молиться Богу и к вечерним молитвам тайно прибавлял: "Господи, пошли, чтобы Собака сделалась моя и чтобы она меня любила", — и он клал три земных поклона. Но и это не помогало.

Дима старательно собирал сведения о Собаке, и каково было его изумленное негодование, когда он узнал, что у Собаки не было имени. Для миссис Парриш это был просто Дог, то есть Собака. Кто-то из друзей, уезжая за океан, оставил собаку мистеру Парришу. Это было за несколько дней до его смерти, и к Собаке не успели привыкнуть. "Тут она? — спросила миссис Парриш. — Кормите ее", — и она дала денег. Потом добавила: "Не пускайте ее в мою комнату".

Но Собака и не делала никаких попыток войти к миссис Парриш. Если бы и состоялся этот визит, то вопрос, кто и кому сделал бы этим одолжение.

От изобилия мыслей и полноты переживаний по поводу Собаки Дима начал вести дневник. Он умел немножко писать. Он хранил записную книжечку в кармане штанишек, а на ночь клал под подушку. Ежедневно находилось что-нибудь записать о Собаке, и с какой радостью он записал однажды: "Собака не любит своей хозяйки". Это наблюдение — миссис Парриш ходила по саду, а Собака не сделала ни одного движения, чтобы подойти к ней, — сделалось отправным пунктом Диминых планов. Он готовился к решительным действиям. Он замышлял нападение на миссис Парриш.

Но для выполнения замысла нужно было сперва заручиться хотя бы некоторым содействием Собаки. И — о чудо! — медленно-медленно, но все же если и не привязанность, не дружба, то понимание начало устанавливаться между Собакой и Димой. Дрогнула твердыня Собакиной гордости, пошатнулась ее крепость и, под теплотой Диминых глаз, стала тихо таять, капля за каплей. И пришел наконец великий момент: Собака проявила свои настоящие чувства.

Был жаркий полдень. Все, кто мог, отдыхали и спали, потому что в жарком Китае это — обычай. Вокруг царила тяжелая, почти весомая тишина. Изредка только из кухни доносились слабые звуки, это Мать мыла посуду. На углу, неподвижны, как статуи, два-три рикши сидели, ожидая случайного пассажира. Эти часы — жаркие, медленные, беззвучные, душные — символ самого Китая. Жизнь, интенсивная и таинственная, идет где-то, за покровом тишины и бездействия. Но какая она? В чем она? Ее содержание ускальзывает от поверхностного наблюдения. Знать Китай? Понимать его? Для этого надо жить с народом и знать его язык. Не многим приходит эта охота. Чтобы изучить язык, надо потратить лет десять. У кого есть на это время? И иностранец, живя в Китае, остается вполне чуждым элементом. Однако же и он подпадает под влияние Китая. Взять, например, время. Оно движется там плавно и медленно. И дни и ночи куда длиннее, чем где-либо еще на земном шаре. Там кажется, что время — ложный критерий для измерения человеческой жизни. Что он измеряет? Минуты, часы, дни и годы, не жизнь. Прилагаемый к жизни, этот критерий приводит к ложным заключениям. Не важно, как долго жить, важно — как жить. Китай существует под знаком долголетия. Связанный с культом почитания предков и необходимостью иметь потомков, китаец живет, по крайней мере, в трех-четырех поколениях, как бабочка, имеющая, в разных стадиях, четыре жизни. Зачем торопиться, когда принадлежишь вечности? Куда спешить, если ты все равно движешься только с нею? Надо покоиться в ней. Отсюда безмолвные часы китайского отдыха.

В такой торжественной атмосфере покоя и отдыха во дворе бодрствовали только Дима и Собака. Они сидели друг против друга на ступеньках крыльца, Дима — с выражением восторга на лице, Собака — с брезгливой миной, но все же изредка кося внимательный глаз на мальчика. За любующимся Собакой невинным взглядом Димы уже крылся план порабощения Собаки. Наступал момент испытания.

Дима встал, сделал несколько медленных шагов в сторону и свистнул — как обыкновенно свистят собакам, приглашая их следовать. Дима осмелился. Собака вздрогнула от неожиданности и негодования. Но — о чудо! — велика сила атавизма: едва заметные складки, как мелкие волны, пробежали по ее коже. Дима свистнул опять. Как в гипнозе, Собака привстала, поколебалась один момент, опустила гордую голову и медленно, неохотно, но все же последовала за Димой.

Победа! Победа! Это была открытая декларация новых отношений. От этого шага Собаке уже не было больше возврата. Восторжествовала традиция, и, хотя и гордая и такая высокоаристократическая, такая хорошо упитанная, Собака заняла свое должное, отведенное ей историей место — подчинение человеку.

Теперь был подходящий момент для нападения на миссис Парриш. Надо было узаконить сделку. Перед всем миром объявить Собаку своей.

Дима незаметно проскользнул к комнате наверху и с бьющимся сердцем стоял, прислушиваясь

у двери. Она не спала. Слышно было какое-то брюзгливое бормотание. Дима распахнул дверь.

— Мадам! — сказал он. — Вы поступили со мною нечестно!

Миссис Парриш полулежала в кресле. Ее голова была в тумане. Опухшее лицо, красные глаза, дрожащие губы могли бы внушить жалость. Но Дима закалил свое сердце. Он решил переступить через всякое препятствие.

— Стыдно так обижать ребенка, мадам!

Но она его как будто и не слыхала. Она только повернула к нему голову и смотрела на него пустыми глазами. Вся ее голова начала дрожать.

Дима подошел ближе, к самому креслу, и заговорил уже тише, убедительным тоном:

— Так жить больше нельзя! (Он часто слыхал эти слова от взрослых.) Вы разорвали мою лучшую марку. Ее уже нельзя было склеить. Вы обесценили мою коллекцию. И вы ничего мне не дали взамен. Посмотрите, я — маленький мальчик; вы — большая дама. Вы меня мучите и обижаете. Детей надо беречь и любить. Знаете, лучше вознаградите меня за марку, а то я что-нибудь ужасное придумаю и вам сделаю. Вы просто погибнете!

Она смотрела на дитя с далекого-далекого расстояния. Какой славненький мальчик! Он кулачком погрозил ей, а потом этим же кулачком вытер свой носик. Все качалось и плыло перед ее глазами: стены, окна, мебель и мальчик. Мальчик почему-то сердится и наступает на нее.

— Чего ты хочешь? — спросила она наконец.

— Собаку.

— Какую собаку?

— Вашу собаку.

— У меня есть собака?

— Да. У вас есть собака.

— Где она?

Дима побежал вниз, посвистал, и Собака явилась. Они вместе вошли в комнату миссис Парриш. Но пока Дима отсутствовал, она опять впала в свой полусон и плыла в тумане. Сердце Димы билось, он чувствовал, что продвигается к цели. Собака стояла брезгливо и безучастно посередине комнаты.

— Вот Собака, — сказал Дима и тихонько подергал миссис Парриш за рукав.

— Уведи ее вон, — сказала она, не открывая глаз.

Дима потоптался на месте, постучал кулачком о кресло. Нет ответа. Собака хрипнула что-то и легла на пол. Дима взял стакан и стал стучать им о бутылку. На этот звук миссис Парриш открыла глаза. Опять этот мальчик маячил перед нею.

— Чего ты хочешь? — крикнула миссис Парриш. — Знаешь, уйди вон!

— Я уйду, если вы подпишете эту бумагу.

И он вынул из кармана давно заготовленный документ, написанный — с большим усердием — заглавными буквами:

"Я, миссис Парриш, отдаю Собаку в вечную собственность Диме (мальчику), навсегда и навеки, потому что он милый мальчик, и еще из-за марки. Я даю перед всем миром самое честное слово — никогда, никогда, никогда не требовать мою Собаку обратно, потому что это его собака. Клянусь. Во веки веков. Аминь".

Брюзжа, не читая документа, миссис Парриш подписала крупным величественным почерком свое имя.

— Теперь пошел вон. Уведи собаку!

Но оставалось еще кое-что. Дима подошел ближе, он приблизил свое личико к уху миссис Парриш и зашептал умоляюще:

— Но это вы будете кормить Собаку? Да?

— Буду, буду! — уже кричала миссис Парриш. — Кто здесь? Где вы? Дайте мне что-нибудь! Помогите мне! Оставьте меня в покое! Вон! Вон!

Но Дима уже шариком катился вниз, только ступеньки трещали. За ним медленно следовала Собака — и глубокое презрение к человеческим махинациям и сделкам исходило от нее. А Бабушка, задыхаясь, уже бежала вверх по ступенькам в комнату миссис Парриш.

7

Наступило лето, и с ним fu-tien, то есть "низкое небо", ужасная мокрая жара. Лето 1937 года было особенно тяжким. Тот, кто мог, давно уехал на север, из оставшегося населения города половина болела. Миссис Парриш пила, бушевала, бранилась, рыдала. Вскоре выяснилось, что она стала опасной.

Как-то раз, проведя несколько часов в ее комнате, Бабушка успокоила миссис Парриш и оставила ее спящей. Едва живая от усталости, она спустилась в сад. Мадам Милица встретила ее с распростертыми объятиями. Кофе был уже на столе. Аромат кофе предвещал монолог Милицы и отдых для Бабушки. Вдруг грянул звонок, и Кан ринулся вверх по лестнице. Через минуту он был внизу, с лицом, перекошенным от испуга. Больше пантомимой, чем словами, он сообщил, что английская леди собралась умирать.

Вся дрожа, спотыкаясь, побежала Бабушка наверх, крича: "Я иду! Я иду! Подождите!"

Мадам Милица бросилась за ней, схватив для чего-то стоявшую поблизости садовую лопату. Все кудри ее дрожали. Она тоже бежала и кричала вслед Бабушке: "Не ходите одна! Подождите меня!"

Когда Бабушка открыла дверь, она увидела такую картину: миссис Парриш дремала на полу, возле опрокинутого кресла. Большой, блестящий черный револьвер лежал около. Бабушка нагнулась и схватила револьвер. От прикосновения ее дрожащей руки миссис Парриш проснулась. Она открыла свои милые голубые глаза и сказала приветливо:

— Здравствуйте, Бабушка!

Вечером револьвер лежал в столовой на столе, и Семья обсуждала положение. Мадам Милица также пришла на совет. Решено было призвать доктора. Но кто и чем будет платить?

— Раз нет денег, то надо позвать доктора Айзика, — разрешила задачу мадам Милица.

Доктор Айзик был замечательной личностью, фантастический продукт фантастической эпохи. Он родился в России, но родители его были подданными Германии. Во время мировой войны доктор сражался против Германии на стороне России. После революции в России он бежал в Германию и взял германское подданство. Когда Гитлер пришел к власти и стал преследовать евреев, доктор Айзик попал в число преследуемых, ибо не только его отец был евреем, но и его жена Роза была еврейкой. Они бежали в Китай. И вот, ни русский подданный, ни германский, доктор Айзик не имел паспорта. Только Китай, великий в своей терпимости к чуж-

дым народам и расам, мог дать ему возможность жить и работать на свободе без паспорта.

И все же в такой тяжелой и беспокойной жизни доктор Айзик никогда не переставал работать. Он был не только замечательным хирургом, но также и большим авторитетом по мозговым и нервным болезням. Он имел необычайную способность работать и изумительную выносливость. Его доброта к человеку была беспредельна. Все эти качества ему были очень нужны в семейной жизни. Жена Роза была для него большим испытанием. И она была когда-то молода, добра и прекрасна и первые удары судьбы встретила с геройской улыбкой. Но потом как-то вдруг опустилась. Все, что было очаровательно в ней, вдруг сошло, как наспех положенная лакировка, и она осталась доктору, как природа задумала ее — слезливая, ворчливая, жадная, злая, трусливая и всегда всем недовольная. Роза сделалась главным несчастьем докторской жизни.

Они были ужасно бедны.

Роза не могла добиться, чтобы он смотрел на деньги как на нечто тесно связанное, переплетающееся с каждым движением в его профессии. Он работал, потому что любил и жалел человека. Роза считала это последней глупостью. Как? — ни преследования, ни нищета, ни клевета, ни тюрьма — и все это: за что? — не могли излечить его от сумасшедшей идеи, что человек, по своей природе, и хорош и добр? И это он — доктор? И это он лечит человека и его мозг? Вам не смешно? Таких идеалистов надо прятать куда-нибудь на чердаки или в подвалы, чтобы они не разносили заразы. А он ходит и лечит. Ходячее безумие! Ему никто не платит. И он, конечно, не просит. Зачем? Пусть собственная жена умрет с голоду, ходит в рваных ботинках. Когда она была в последний раз в театре? Он помнит, когда ее именины? Он помнит миллион фактов, но только, конечно, не этот. Два биллиона людей на свете — и он всех жалеет, исключая свою жену. Нет, что она сделала, чтобы быть наказанной таким мужем? Нет, она лучше умрет — и скоро-скоро. Тогда откроются его глаза, но будет поздно.

Действительно, отношение доктора к деньгам вызвало бы негодование всякого практического человека. Гонораров он не просил, и ему не давали — и ни у него, ни у жены никогда не было наличных денег. Жили в долг. Положение часто становилось нестерпимым. Роза отвечала истерикой на всякое слово, даже на "доброе утро" — во всем видя насмешку. "Доброе утро! Вы сказали "доброе"?!"

Переполнялась чаша терпения. Доктор мрачнел. Он просил сообщить ему точную сумму долгов. Проверял итог, не доверяя Розе. И затем спрашивал именно эту сумму — ни больше ни меньше, — с первого же богатого пациента, и вперед, иначе отказывался лечить. Ему давали деньги, он платил долги — и начиналась прежняя жизнь.

Этот доктор и был приглашен к миссис Парриш. Он сказал, что ее лучше бы поместить в госпиталь. Но она отказалась идти, а он не хотел настаивать. Семья не решалась выселять даму, уплатившую вперед и еще не отжившую своих денег. Брат миссис Парриш должен был приехать недели через три. Решили оставить все как было. Даже Милица говорила, что нечего ездить по госпиталям, лучше не будет. Семья же как-то сжилась с миссис Парриш, с ее буйством. Именно этого как будто бы в доме № 11 еще недоставало. Теперь же, по словам той же Милицы, составился "полный комплект".

Решили приставить Бабушку в неразлучные спутницы и собеседницы к англичанке. Доктор дал нужные инструкции. Бабушка, кланяясь, проводила его до калитки и только там сказала:

— Многоуважаемый доктор, у нас нет денег в настоящее время. Миссис Парриш отказалась вам заплатить, так как она совсем не хотела доктора. Но приедет ее брат — и с большой благодарностью гонорар ваш будет уплачен. А сейчас извините, пожалуйста. — И она еще раз поклонилась.

— Деньги и деньги! — воскликнул доктор. — Кто говорит о деньгах и кому они нужны?! Но вот что: мне как-то все понравилось у вас. Могу я просить вас, Бабушка, познакомиться с моей женой? Роза очень одинока. Она бы приезжала к вам в гости. А? У Розы нет друзей, а с вами, Бабушка, ей было бы хорошо.

— Буду очень рада. Будем ждать вашу супругу. Всегда с удовольствием...

— И не только на минутку. Роза — нервная и всем всегда недовольна. Я видел, как вы обращаетесь с этой англичанкой наверху, и я подумал: вот если бы и Розе такую Бабушку!

— Все, все, что зависит от меня, доктор. Просим только извинить нашу бедность.

На следующий день ровно в четыре часа задыхающийся рикша прикатил к калитке дома №11 толстую даму. При расплате между ними произошла внезапная ссора. Оба кричали. Она угрожала полицией, он проклинал ее предков. Не понимая по-китайски, дама все же угадывала смысл его речи и — в отместку — прокляла его потомство до седьмого колена и за одно уж и свою собственную жизнь от дня рождения. Рикша оскалил зубы. Дама нацелилась и хотела его ударить зонтиком. Рикша завыл, как будто бы уже ударенный. Пешеходы стали собираться к месту действия. Рикши, не имевшие пассажиров, мчались на защиту собрата. Видя поддержку, рикша схватил даму за платье и не пускал ее в калитку. Он громко взывал ко всем элементам земли и неба быть свидетелями, что дама дает ему только половину установленной платы.

— Ты ехал медленно! — кричала дама. — Из-за этого я опоздала. Мое время — деньги. Я понесла убыток!

— Ты вдвое тяжелее обыкновенной дамы, — кричал рикша, — я бежал поэтому вдвое медленней.

Наконец, в гневе, дама бросила рикше прямо в лицо пять центов, а он сказал ей в заключение:

— Ты ешь слишком много риса.

Этим закончилась сцена, и пешеходы стали расходиться.

На крыльце дома №11, привлеченные шумом и криками, стояли Мать, Бабушка, мадам Милица, несколько японских джентльменов, Дима и Собака. Дама подошла и торжественно представилась всем:

— Здравствуйте. Это — я, мадам Роза Айзик.

— О, рады вас видеть! — заторопилась Бабушка. — Рады познакомиться. Это — моя дочь, Татьяна Алексеевна. Это — наш друг и жилица, мадам Милица из Бессарабии.

— Это она пьет?

— О нет, — заторопилась Мать, — пьет другая наша жилица. — И она вся вспыхнула от неловкости, что и как она сказала. — Я хочу сказать, что мадам Милица совсем не пьет. — И Мать еще больше покраснела, видя, как неудачно поправилась.

— Но вы мне покажите и пьяницу тоже, — настаивала Роза. — У вас, вижу, живет аховая публика. — И она покосилась на широко улыбающихся японцев. — И эти — ваши? А чей это мальчишка? Пьяницын? Тогда у него будет наследственная наклонность к алкоголю. Обязательно. И что за паршивая собака! Сидит и слюну пускает. Ну, вот еще и китаец лезет сюда! — приветствовала она входящего во двор корректного мистера Суна. — И он живет тут! Скажите, где же вы сами помещаетесь?

Но через полчаса притихшая, загипнотизированная Роза сидела наедине с мадам Милицей. Розу как-то огорошила мысль, что ни разу, за всю свою долгую жизнь, она не догадалась сходить к гадалке. И вот гадалка была здесь. На столе лежали странные, доселе невиданные карты. На первый раз вердикт мадам Милицы был краток: "ни пожеланий, ни исполнений", как будто бы Судьба уже истратила все, что полагалось, на Розу и перестала ею интересоваться. Однако же Роза сделалась частым гостем в № 11, и всякий раз, как приходила, гадала, чтобы узнать, нет ли для нее чего нового. Что предсказывали ей карты — посторонним осталось неизвестно, но в Розе начала происходить перемена. На лице у ней теперь играла загадочная улыбка, она как бы знала что-то интересное, но не собирались ни с кем делиться этим секретом. Вообще же ее беседа носила оживленный, но однообразный характер.

— Как вам нравится жить в Китае? — спросила Мать.

— Не говорите мне о Китае. Не произносите мне это слово. Хорошее землетрясение я б пожелала Китаю!

— Вам больше нравится Европа?

— Европа? Вы сказали Европа? Кому, какому чудовищу может нравиться Европа? Дым и пепел пусть лягут на том месте, где Германия. И с ней же пусть провалится Австрия.

— Вы были во Франции?

— Скажите, кто это не был во Франции? Франция — это один большой ресторан. Войдите, если у вас есть деньги, — и вы выйдете оттуда уже без денег. Во Франции оберут. Дочиста. А потом еще высмеют вас, поиздеваются над вами. Только умственно недоразвитые люди еще ездят во Францию, те, кто не понимает, что с ними происходит. А грязь! А дороговизна!

— Говорят, в Голландии чисто, — старалась Мать, желая найти хоть что-нибудь хорошее в мире.

— А вы видели их королеву? Нет, можно ли иметь королеву с таким обыкновенным, ничего не выражающим лицом? Уму непостижимо!

— Вы все-таки много путешествовали...

— Вы это называете "путешествием"? Благодарю вас.

8

Неподготовленный Китай приближался к трагическому лету 1937 года. Вспышки военных действий между Китаем и Японией уже гремели на севере.

"Азия для азиатов, — возвещала официальная японская печать. — Мы освобождаем дорогой нам Китай от европейского ига".

Но Китай не верил в бескорыстие этих намерений и сопротивлялся вхождению японских армий на свою территорию. Не мало свежих могил вырыто было на китайских полях; не мало урн с еще теплым пеплом отправлялось японским родителям. Желтолицые матери проливали горячие слезы. Но для иностранцев в Китае все эти события не имели непосредственной важности или особого интереса. Вопрос был лишь в том, как далеко от города идет битва и в какой мере неудобства могут коснуться европейских концессий: то есть подвезут ли свежие фрукты, можно ли будет в пятницу играть в гольф за городом, освобождена ли от войск автомобильная дорога для прогулки в Пекин. Законом экстерриториальности европеец был огражден от бедствий Китая. Война эта казалась ему как бы кинематографическим фильмом, разыгрываемым на открытом воздухе. Не больше.

И Семья не очень была озабочена слухами о приближающейся войне. Да и о чем волноваться? Они не могли отвратить текущих событий или влиять на их ход. У них также не было недвижимой собственности, нуждающейся в защите; ни драгоценностей, которые надо в таких случаях прятать; ни денег, чтобы купить железнодорожные билеты и уехать; ни визы, дающей возможность искать спасения в иной стране, — так о чем же тут и беспокоиться, если к событиям они не имели никакого отношения?

Болезнь Димы являлась началом тяжкого периода в жизни Семьи. В городе началась эпидемия желудочных болезней, и Дима заболел одним из первых. За пять дней он так ослабел, так изменился, что Семья трепетала от страха. Бабушка не отходила от Диминой постели. Доктор Айзик приезжал два раза в день и даже привозил с собою другого доктора, специалиста по болезням европейцев в Китае. Дом № 11 сделался мрачен и тих. Мать, как обычно, весь день работала. Что бы ни случилось, хозяйка пансиона не имеет времени для личных переживаний. Лида прибегала в неурочное время с работы, и один взгляд на лицо Матери делал излишним вопрос о здоровье Димы. Даже Петя, всегда сдержанный и молчаливый, почти ежечасно звонил по телефону, и миссис Парриш, в чьей комнате был телефон, тем самым втянулась в вихрь событий. Странно, она вдруг бросила пить и все бегала вверх и вниз по лестнице — от столовой до своей комнаты, прыгая через ступеньки так же легко и грациозно, как это делал Кан. Мистер Сун дважды в день справлялся, как здоровье "молодой надежды семьи". Японцы стояли гуськом в коридоре — не то шесть, не то пять, — ожидая выхода доктора и вдруг начиная качать головами и страшно шипеть при его появлении. Роза прикатила на рикше сказать:

— Перемените доктора. Кому вы поручили ребенка? Вы не знаете, что Айзик давно сошел с ума? — и на протест Бабушки начинала кричать: — Ну, да! Он знаменит по нервным болезням. Сам болен, потому и понимает, отчего другой стал сумасшедшим. Но поручить ему просто ребенка! Вы мне делаете смешно!

Милица не раз решительно схватывала колоду карт, чтобы погадать на "молодого короля" — и всякий раз, вдруг помрачнев, откладывала ее, не рас-

крыв, в сторону. Кан стал необыкновенно работоспособным и, без всяких просьб, вдруг вычистил двор.

Среди всего этого Бабушка одна сохраняла неторопливость и полное внешнее спокойствие. Чем больше была опасность, тем спокойнее она становилась. Не спав несколько ночей подряд, она была светла лицом, только голос ее звучал все тише и тише.

Дима, бедняжка Дима, лежал на диване без сознания и бредил. Когда он начинал метаться, из-под дивана раздавался тихий, жалобный вой. Там страдала Собака. Там она лежала в агонии страха за Диму. Собака отказывалась от пищи.

Бедная Собака! Мрачная в начале Диминой болезни, но все же сохранявшая еще некоторый высокомерный вид, она превратилась теперь в жалкий, дрожащий комок под диваном. Умирал ее хозяин, этот мальчик, с которым она играла, который рассказывал ей все свои тайны и ничего не предпринимал без ее совета. Умирала половина ее мира, ее существа. И Собака сама готовилась к смерти. Она не желала пережить своей потери. Она отказалась от пищи.

Всякий раз, когда Дима приходил в сознание и открывал глаза, он видел милое лицо Бабушки, склоненное над собой. Лицо это не было ни испуганным, ни печальным. Нет, оно было только тихое, приветливое и спокойное-спокойное. Это Лида рыдала за стенкой. Это Мать роняла кастрюльки. Бабушка же тихо говорила:

— Посмотри, Дима, на Собаку. Она ждет, когда ты встанешь, чтобы пойти с тобой играть.

Собака выползала из-под дивана и смотрела на Диму слезящимися умоляющими глазами. Она хотела бы лизнуть его руку, но Бабушка этого не позволяла.

Как-то миссис Парриш стояла в столовой, и случилось, что именно при ней Дима спросил в полусознании:

— Почему не кричит миссис Парриш? Она уже не пьяная?

Но вдруг Дима стал поправляться. Какой вздох облегчения был слышен в доме № 11! Какая радость, когда впервые — топ-топ! — зашагали его слабые ножки по полу! Как осторожно шагала за ним Собака! И какой у обоих был аппетит!

Бабушка назначила Диме особо молиться каждый вечер и класть три поклона, благодаря Бога за жизнь и выздоровление. Его ножки и колени были слабы, они дрожали, Дима шатался. Но Бабушка была тут и поддерживала Диму. Собака не понимала, в чем дело, почему мальчик падает и лежит на полу, его поднимают, но он опять должен упасть. Она крутилась около, слегка подвывала. А когда все кончалось, довольная, усаживалась около дивана.

— Бабушка, — сказал как-то Дима, — научи Собаку молиться. Нам будет веселее вдвоем бить поклоны.

— Дима, не говори глупостей.

— Бабушка, а как ты угадываешь, что глупости и что не глупости?

— Спи, Дима, спи! — И она целовала его, перекрестив. — Спи!

Дима спал теперь в незанятой жильцами комнате. Как много там было воздуха и как это хорошо для легких!

А в столовой Лида просила:

— Мама, могу я петь? Дима поправился, и все так хорошо.

— Пой, но потихоньку.

— Петя, споем вместе! Ну почему ты всегда такой спокойный и молчаливый? Давай споем дуэтом что-нибудь нежное-нежное.

В столовой было темно. Лампада чуть мерцала перед иконой. Луч уличного фонаря освещал один угол, и, став в ореоле этого света, Лида начала чудным сопрано, высоким и чистым:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей...

И Петя поднял свою опущенную голову, тоже встал и запел баритоном:

Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней.

Бабушка вошла и остановилась на пороге.

— Семья! Все, что осталось! Но все вместе!

А Мать тихонько шептала для себя слова романса:

...Уж я не верю увереньям...

Все члены Семьи страстно любили музыку. Когда-то и Бабушка пела и славилась игрою на арфе. У Матери в юности был прекрасный рояль. И она чудно пела. Но эти двое — Петя и Лида — не имели уже ничего. Они пели без аккомпанемента.

9

Мадам Милица, отложившая было свою поездку из-за болезни Димы, начала укладываться.

Двадцать пятого июля она попрощалась с Семьей. Вещей у ней было — сундук и мешок. Обе эти вещи были необыкновенной наружности, сделанные, по-видимому, лет сто назад, в какой-то далекой и малоизвестной стране, где не было машинного производства. Как ни странен был сундук — длинный и узкий, с блестящими на темном дереве медными инкрустациями, представляющими символы: пики, червы, трефы, бубны, — мешок был еще удивительнее. Он был величиной с Милицу, глубокий, как колодец. Искусная вышивка заполняла весь фронт мешка. Коричневый лев бежал по пустыне, за ним едва поспевал голубенький ягненок, а розовый ангел с глазами из золотого бисера размахивал над ними не то оливковой ветвью, не то березовой розгой. Вышитый крестиком, рисунок имел все очарование кубизма. Спины, уши, хвосты и крылья — все или подымалось, или опускалось правильной лесенкой. Другая сторона мешка была из кожи. На ней было выжжено изречение: "За ученого двух неученых дают". Деревянная ручка мешка представляла две человеческие руки в тесном рукопожатии. Одна рука была женская и имела на мизинце медное колечко с красным камнем. Что было в сундуке и в мешке, никто не знал. Никто никогда не видал их открытыми. Мадам Милица потратила две недели на укладку вещей.

И вот мадам Милица уже стоит на крыльце, прощаясь. На ней огромная плоская шляпа с остатками чего-то такого, что лет двадцать — тридцать тому назад могло быть и страусовым пером.

На руке она держала свое пальто, называемое "тальмой". Она уезжала. Она прощалась. Обряд проходил торжественно, но сдержанно. И Милица и Семья знали, что они сделались взаимно дороги и

интересны и что отъезд Милицы был обоюдной потерей.

Мать решила проводить Милицу на вокзал. Улицы города имели уже необычный вид: границы иностранных концессий, как неприкосновенные к военным действиям, были резко отмечены на асфальте площадей и улиц и обнесены колючей проволокой. Кое-где возведены были стены из мешков с песком и кое-какие укрепления. У ворот, ведущих на концессии, стояли караулы и полиция. Бежало от войны богатое китайское население. Бесконечный поток нагруженных рикш, телег, тачек, автомобилей двигался через всю английскую, потом французскую концессии — до вокзала. Другой поток вливался в концессии из китайских частей города. Те, кто имел друзей, живущих на концессиях, спешили в них укрыться.

Все это с лихорадочной поспешностью, все говорило о приближающемся несчастии.

Мать, постоянно сидевшая дома, вдали от событий и слухов, была поражена. Значит, правда, опять будут войны, потери, бегство и слезы. С болезнью Димы, а потом от радости его выздоровления она не вслушивалась ни в какие тревожные известия, ни о чем таком и не думала. И вот война уже на пороге дома.

Вокзал был загружен и запружен людьми, тюками, солдатами, пушками. Все это громоздилось, валилось, кричало и падало. Для многих этот день, этот отъезд был делом жизни и смерти. А беспощадное солнце жгло все это со своей спокойной высоты.

Японские солдаты, все до странности малого роста, стояли, перегруженные амуницией и оружием, и пот катился ручьями из-под их раскаленных металлических шлемов. Китайцы скользили неслышно, проникая во все щели. Когда сталкивался японец с китайцем, оба смотрели в сторону, мимо, как бы не допуская реальности существования другого. Лица и тех и других были совершенно лишены всякого выражения.

Поезда приходили и уходили беспрерывно. Одни привозили все больше и больше японских солдат и орудий, другие — из Пекина — везли раненых японских солдат, а также китайских беженцев и раненых, из тех, кто побогаче, потому что раненый бедняк оставался лежать там, где он упал. Дым, пар, каменноугольная пыль покрывали все пространство с приходом каждого поезда. Лязг железа покрывал все другие звуки.

"Война! — подумала Мать. — Кого мы еще потеряем? — спросила она себя в страхе. — Петю? Но он не имеет подданства. Кто заберет его в армию? — И горько сама себе ответила: — Найдутся..."

Поезд в Шанхай опаздывал.

Группа японских резидентов стояла перед поездом, идущим в Шанхай, провожая кого-то. Они стояли отдельной группой, и несмотря на тесноту и давку, на многотысячную китайскую толпу, вокруг этой японской группы было пустое пространство. Она стояла одна, отрезанная от прочего мира — и у всех на виду. Где-то, в китайском сердце, была проведена линия, отделившая от него японцев, и он за нее уже не переступал.

Где-то разгрузили поезд с ранеными мирными жителями, китайцами. Раненых не несли открыто, по платформе. Носилки, как бы пряча свою ношу, скрывались под навесом, заворачивали в каждый закоулок, двигались где-то на задах вокзала, за складами и пристройками. Это была как бы незаконная ноша, вроде контрабанды. Она избегала больше всего японского глаза.

Были и беженцы из своего тысячелетнего города. Очень-очень старую даму, очевидно благородного рода, слуги бережно несли в кресле. Две пожилые женщины, очевидно тоже служанки, бежали по сторонам кресла, едва поспевая за носильщиками. Одна несла сумку и веер дамы, другая — термос и зонтик. Даме, видимо, было около ста лет. Куда она бежала? От кого ее уносили? Лицо ее было до странности бледно, — видимо, долгие годы она жила, уже не выходя на воздух. Голова ее качалась при каждом шаге носильщиков. Маленькие, затуманенные глаза, казалось, уже не видели. Жалкие засохшие ручки беспомощно болтались по сторонам кресла.

"И мы молимся о долголетии для себя и других? — горько подумала Мать. — Зачем мы цепляемся за эту жизнь?"

Пришел поезд с ранеными японскими солдатами. Где-то грянула приветствующая их музыка. Японцы кланялись вагонам до земли. Волной хлынул к поезду японский медицинский персонал.

А там далеко-далеко, на запасном пути, вдали от сутолоки и шума стоял еще один состав. Это был спокойный поезд, без видимых пассажиров. Он был наглухо закрыт, и на дверях его висели печати. Это пепел убитых японских солдат отправлялся на родину, к восходящему солнцу, которое всходило уже не для них.

Мадам Милица свесилась из окна вагона к стоявшей на платформе Матери:

— Именно такой отъезд и предсказали мне карты. Узнаю семерку пик, девятку и валета!

Легкий ветерок вдруг сдвинул в сторону ее черные кудри. Мать в первый раз увидела сразу все лицо Милицы. Оно было мрачным, почти зловещим.

— Вы спросите: зная все это, что же ты едешь? Отвечу: тем, кто остался, будет не лучше. Строго говоря, знающему человеку на этом свете уже не из чего выбирать.

Когда Мать возвращалась домой, она видела, как подняли раздвижной мост через Хэй-Хо. Военная зона, таким образом, была обозначена. Война и смерть — для одной стороны, для китайского города; защита и безопасность для нейтральных европейских концессий. Еще действовал твердый интернациональный закон. На британской концессии не могло быть войны. И в первый раз в жизни Мать увидела Семью и себя — во время войны — в безопасности.

Поздно вечером того же дня японские жильцы пришли в пансион все сразу и привели с собой старую японскую леди. С улыбками и поклонами они объяснили, что на время все они опять уйдут, но леди останется. Она нуждается в покое. И опять с поклонами и улыбками они просили Мать немножко присматривать за старой леди и давать ей тепленького чаю, бисквитов вот из этой коробки и — следовал глубокий общий поклон — хорошо бы два раза в день немножко отварить ей риса — вот из этого мешочка.

Китайский профессор совсем не выходил из своей комнаты за весь этот тревожный, для Китая гибельный день. Он все ходил взад и вперед, взад и вперед — часами, а он был человеком, который никогда не делал лишнего движения.

Все, все было тревожно, все беспокойно. Но Лида щебетала о том, как удачно она в тот день проплыла назначенное расстояние, а Дима учил Собаку улыбаться, — и вечер заканчивался мирно. Бабушка вернулась из церкви. Мерцала лампадка. Стали пить чай. Мать вздыхала. Ум ее отказывался верить в грядущие новые ужасы жизни.

10

Рано утром они проснулись от грохота пушек. Артиллерийский бой шел в китайской части города. Правда, война между Японией и Китаем формально не была объявлена, но, объявлена или нет, тут она шла уже полным ходом, поражая главным образом бедное гражданское население, которое не может ни убежать, как богач, ни отступить, как армия.

Мать и Петя были первыми, кто выбежал на крыльцо. Они стояли, как бы защищая вход в дом. Дрожащая Лида и бледный Дима присоединились к ним. Петя объяснял, что сражение не может быть допущено на британской концессии, и разве только случайная бомба упадет около — не больше.

Как бы иллюстрируя его слова, страшный взрыв потряс воздух. Лида закричала. Дима схватил Мать за платье и старался в его складках спрятать свою голову. Вокруг раздавались крики. Бежали люди. Пешеходы собирались в группы и, жестикулируя, горячо спорили. Китайский мальчик, стоявший на соседней крыше, крикнул, что бомба разорвалась на британской концессии и упал большой двухэтажный дом.

Бабушка, уже одетая и причесанная, вышла на крыльцо.

— Что вы тут делаете? — обратилась она к своей Семье. — Идите в дом, неудобно — вы полуодеты.

— Бабушка, они стреляют! — закричал Дима.

— Так что же? — спокойно сказала Бабушка. — Если будет бомбардировка, будем все вместе сидеть в столовой. Убьют — пусть убьют всех. Останемся живы — тоже все вместе.

В это время миссис Парриш появилась на балконе.

— Остановите шум! — кричала она. — Могу я иметь спокойную минуту в этом городе?

Газета внесла новое волнение в жизнь Семьи: британский городской совет приглашал добровольцев для поддержания порядка и возможной военной защиты концессии. Петя тотчас же решил идти. Его не отговаривали. Все мужчины Семьи в свое время были в армиях и защищали страну, где жили, и Петя — высокий, красивый и сильный — в данный момент представлял мужскую часть Семьи.

Согласно русской православной традиции, Бабушка, как самая старшая, взяла образ Владычицы и им торжественно благословила Петю. Вот он стоял — светлый и спокойный лицом, ее взрослый внук, — и она широким движением руки перекрестила его: "Иди с Богом, Петя!" Петя ушел. Бабушка закрыла за ним дверь и попросила оставить ее одну. Все знали, что она теперь будет молиться.

Сколько раз она благословляла мужчин своей Семьи идти на войну! Она благословляла мужа, она благословляла сыновей. Пришла очередь внуков. Три поколения! Муж был убит за родину в мировой войне. Сыновья были убиты в гражданской войне, защищая свои идеалы. За что будут умирать внуки? Человечество? Человеколюбие? Но что такое эта любовь к человеку в наши дни? На которой стороне фронта эта любовь? Она сама — женщина и христианка, — не давала ли она благословение самым для себя любимым — встать, идти, убивать, быть убитым? Где выход? В полном прощении врага? В несопротивлении нанесением ран и убийством? Или же в полном смирении и страдании перед неразрешимой загадкой проблемы зла в человеческом мире? Допустим: дай кесарю кесарево. Но не слишком ли много стал брать себе кесарь? Почитаю, — решила Бабушка и взяла свою единственную книжку "Великий Канон" Андрея Критского. Полушепотом она читала, тихо вздыхая:

> ...Откуда начну оплакивать деяния моей несчастной жизни?
>
> ...Пред Тобою, Спаситель, открываю грехи, соделанные мною, открываю раны души и тела...
>
> ...Двери Твоей не затвори предо мною...

Она упала на колени и со слезами молилась.

Когда Бабушка вышла из столовой, она казалась совершенно спокойной. Казалось также, что она сделалась немножко меньше. Но она улыбалась, и лицо ее светилось. Она пошла прямо на кухню.

Начавшаяся война сейчас же обратилась для Матери в хозяйственно-экономическую проблему. На рынке почти не было пищевых продуктов, а те, что там были, вдруг невероятно поднялись в цене. Британский муниципалитет объявил, что примет меры и будет бороться с купцами, злоупотребляющими военным положением. Хорошо, но на сегодня в доме № 11 не было пищи. Не было также и Кана.

— Куда он исчез? — спросила Бабушка.

— У него есть родные в китайском городе. Должно быть, побежал узнать о них.

И все это время была слышна канонада, только теперь казалось, что бой отходил от города на юг. Но все-таки в доме еще дребезжали оконные стекла, хлопали двери, с полок падали мелкие вещи.

— У нас на сегодня нет пищи, — сказала Мать.

— Ну, так не будем кушать сегодня, — улыбнулась Бабушка. — И едоков сегодня немного. Петю накормят в бараках. Мадам Милица уехала. Мы с тобою сегодня попостничаем, а для Лиды и Димы попросим бисквитов у миссис Парриш и возьмем взаймы немножко японского риса.

А в саду Дима уже наслаждался войной. Он понял, что это совсем не страшно. Бабушка только настрого запретила отворять калитку. Петя ушел, и Дима, как единственный мужчина Семьи, естественно, делался ее защитником.

— Можем мы на тебя рассчитывать? — спросила Бабушка.

Да, на Диме лежала большая ответственность. Он обещал быть на страже, защищать дом и при первом шуме где-либо близко бежать в столовую ("умирать вместе") и никак ни за что не выходить за калитку. Он был с Собакой, и оба они ничего не боялись. И если Дима не мог пойти на войну, не могла ли бы война подвинуться ближе? Не могли ли бы они, например, взорвать соседний дом? Вдруг взрыв раздался где-то близко — что ж, Дима слегка только подскочил, — но Собака! Она поджала хвост, припала к земле и слегка завыла. Дима —

как только пришел в себя — удивился. Значит, он еще храбрее и Собаки? Она в страхе жалась к его тоненьким ножкам. Волна гордого мужества подхватила Диму. Кого бы еще защищать? Да, миссис Парриш. Он вызвал ее на балкон и предложил свои услуги. Но она ответила, что у ней есть английский король, который не позволит японцам ее тронуть.

Весть о том, что у миссис Парриш был свой собственный король, что он заботился о ней, потрясла Диму. Ирония судьбы! У ней был король, но зачем король даме? Короли нужны мальчикам. И все же она имела и короля и — раньше — собаку, а у Димы ничего не было. В России где-то был Сталин, но он — не король, и нет у него ни короны, ни мантии. А как бы Дима хотел короля! И чтоб король этот был молодой, красивый и очень воинственный. Вырос бы Дима, взял бы Собаку, винтовку и пошел бы к своему королю. Он бы отдал честь по-военному и сказал бы только: "Ваше Величество, мы — ваши!" Король обнял бы Диму, назвал своим братом — и они провели бы свою жизнь в войнах.

Да, ружье, сабля... У Димы не было ничего. После краткого, но мучительного раздумья Дима поднялся наверх и постучал в дверь миссис Парриш. Она была больна от жары. Она просила сказать скорее, в чем дело, и уйти вон.

Дима подошел к ней военным шагом и заговорил конфиденциальным тоном:

— Миссис Парриш, война придвигается ближе. Петя ушел. Он будет ночевать в бараках. Японцы ушли. Кан исчез. Мистер Сун просто ничего не понимает. Миссис Парриш, я — единственный мужчина в доме, и Бабушка мне поручила защищать всех от врагов. Но чем? — Он вытянул руки ладонями вверх. — Посмотрите — ни ружья, ни сабли. Нет даже и маленького револьверчика. Как вы думаете, если бы купить ружье (вы бы купили), я бы держал его днем, а вы — ночью. Но и ночью... Миссис Парриш, если придут, сначала станут убивать в нижнем этаже, то и ночью пусть бы это ружье у меня ночевало.

Он ждал ответа. Ответа не было.

— Купим тогда в складчину, — сказал он, доставая из кармана весь свой наличный капитал в сумме тридцати центов. Но не легко дались Диме и эти деньги. Они были обещаны и получены в минуты страданий, героизма, болезней — как компенсация от взрослых за беспрекословное послушание.

Миссис Парриш наконец поняла. Она взяла жалкие бумажки, рваные, липкие, грязные — капитал Димы, положила их на стол и сказала:

— А ну, как война продлится долго? Что же покупать какой-то там револьверчик! Уж если покупать, то полное военное обмундирование, да и пару пушек хорошо бы поставить у входа. Надо бы и трубу и барабан на случай победы.

— Но деньги, миссис Парриш, деньги!

— Ты дал свою часть. Я дам свою. Я сейчас и закажу все по телефону. Еще может быть сдача, какая-нибудь мелочь. Только помни — все это будет твое. Даме неприлично вооружаться и воевать с японцами.

Еще до вечера были доставлены большие коробки для Димы, а также сдача — 20 центов, двумя новенькими бумажками. Дима был потрясен количеством и замечательным видом вещей. Таких не бывало даже и в окнах магазинов. Все было совсем настоящее, только, конечно, ничто не стреляло и не резало. Но это и не важно. Врага надо попугать — и он убежит.

И счастливый Дима, покрытый оружием, маршировал в саду. Собака следовала за ним, но без энтузиазма. Миссис Парриш по временам спрашивала с балкона, нет ли чего страшного поблизости, и Дима отвечал всякий раз:

— Так точно, нет, не беспокойтесь!

11

После трехдневной битвы Тянцзин был взят японцами. Канонада замолкла, но в городе чувствовалось тяжелое нервное напряжение и беспокойство.

Около ста тысяч китайского населения бежало из китайского города, ища убежища на иностранных концессиях. Население в них учетверилось, и концессии закрыли свои ворота, не впуская никого больше. Сплошная масса китайских беженцев стояла стеной вокруг концессий. Передний ряд был втиснут в колючую проволоку. В мире нет более сдержанной, более терпеливой и молчаливой толпы, чем китайцы. Под палящим солнцем, без питья и пищи, потрясаемые громом орудий, которые там, недалеко позади, разрушали их имущество и вековые жилища и убивали их родных, они стояли спокойно, не теряя человеческого достоинства, стояли — старики, мужчины, женщины, дети.

Армия Спасения явилась первая с помощью. Они пришли военным маршем, расчистили место, разбили палатки и стали варить и раздавать порридж[1]. Это была малая капля в море, но все же она говорила о том, что еще есть где-то забота и жалость к человеку.

И Семья тоже получила свою порцию перенаселения: около тридцати человек китайцев толпилось на черном дворе, все, по словам Кана, его ближайшие родственники. Все возрасты, от одного года до девяноста, были представлены в этой группе. Они все молча сидели на земле, по внешнему виду совершенно спокойные. С ними не было никакого имущества, и они, конечно, все были голодны. Мать открыла подвал для угля, который летом был пуст, и предложила подвал как ночное убежище. Кто не поместился, спал на дворе. Но есть было нечего. После некоторого колебания Мать обратилась за помощью к миссис Парриш. Мистер Сун сам предложил немного денег, и все родственники Кана имели чай и маленькую порцию риса два раза в день.

— Не пускайте Собаку на черный двор, — сказала миссис Парриш, — я даже с балкона вижу, что двое детей там покрыты сыпью.

Решили не пускать ни Собаку, ни Диму. Но Бабушка проводила много времени с беженцами. Она всегда легко входила в дружеские отношения с людьми самых разнообразных характеров и положений. Казалось, она умела говорить на всех язы-

---

[1] П о р р и д ж — овсяная каша *(англ.)*.

ках, потому что владела прекрасно одним — языком человеческого сердца.

Она прежде всего подходила — как принято у китайцев — приветствовать старейшего члена группы. Здесь это была маленькая хрупкая женщина. Бабушка утром спросила у мистера Суна нужные слова и могла сказать ей:

— Сегодня день будет не очень жарким для вас, почтенная старшая леди. — И она поклонилась.

Старушка улыбнулась совершенно беззубой улыбкой и что-то ответила, также с поклоном. Бабушка не поняла ответа, но это было совершенно не важно. Они говорили на языке дружбы. Сами слова не имели значения.

В практических вопросах Кан всегда был около, готовый с переводом на русский.

На пятый день, в воскресенье, Мать выбрала для себя наконец свободное время пойти в церковь. Чтобы попасть туда, надо на перевозе переехать Хэй-Хо. Река эта очень узка, очень глубока и необыкновенно грязная. Но в это воскресенье через реку нельзя было переехать. Насколько хватало глаз, она была запружена медленно плывущими трупами китайцев. Это были и солдаты в военной форме, и разного возраста и вида гражданское население. Апофеоз войны! Они были убиты. Где это взять десятки тысяч гробов? Кто это станет копать десятки тысяч могил? Как оставить горы трупов под этим палящим солнцем? Их бросили в воду, в Хэй-Хо, и предоставили силам природы. Пораженная ужасом Мать, как и многие другие, стояла на берегу, не в силах двинуться с места. Трупы плыли так близко. Можно было видеть даже последнее выражение на их лицах, одежду, распухшую руку, кровавую рану. Они плыли не торопясь, почему-то лицами кверху, и у многих были открыты глаза. Они плыли покачиваясь, как бы слегка подталкиваемые снизу, ритмически ударяясь один о другой. То одно, то другое тело вдруг приподымалось выше других, как бы желая сказать в последний раз "прощай!" и этому солнцу, и этому небу, и ряду легких облаков, плывущих в другом направлении — от моря, туда, откуда плыли эти трупы и куда они уже больше не вернутся, к тем полям, к тем холмам, к протоптанной когда-то тропинке, к жилищу, где возникла и расцветала в мире эта насильственно прерванная жизнь.

— Боже мой! — воскликнула Мать, — кто допустил этот ужас!

На берегу стояли европейцы, больше всего русские. Китайцы стушевались перед новой, такой жестокой, властью. Их не было на берегу. Но за рядами зрителей шла обычная работа у реки, нагружали какие-то возы, бочки и ящики. Там работали китайцы. Они остались живы. Они должны есть — и они работали, как всегда, ловко и быстро, но все как-то держась спиною к реке, не глядя в ту сторону.

Мать не могла больше выносить страшного зрелища. Она побежала домой. Но она не могла долго не только бежать, но даже и идти, так как у ней началось сильное сердцебиение. Она кликнула рикшу. Мать редко ездила на рикшах. Во-первых, это стоило денег, а во-вторых, она никак не могла привыкнуть к такому роду услуг человека человеку. Ей всегда было жаль рикшу. И теперь, глядя, как он бежит, задыхаясь, как поднимаются его натянувшие кожу ребра, как бегут ручейки пота по его голому телу, слыша свистящий звук его дыхания, — она думала горько:

"Мы все жестоки и безумны. И это цивилизация, гуманность, прогресс?"

Бледная, дрожащая, она добралась до дома и пошла прямо в кухню, чтоб сразу заняться какой-нибудь спешной работой — и тем изменить мысли.

У каждого есть своя манера быть несчастным и выражать или не выражать это. Мать горевала по-своему. Она начинала тихонько петь. У нее еще оставался мягкий и приятный задушевный голос. Часто он обрывался на высокой ноте, и вместо взлета получалось пустое пространство. Но именно это и придавало ее пению какую-то небывалую печаль, какую-то интимную грусть, которая, казалось, ничем не могла быть выражена. В обычном состоянии ничто не могло заставить Мать петь. Она пела только тогда, когда чувствовала себя очень несчастной и больше не могла терпеть.

Услышав это пение, Бабушка немедленно начинала свои приготовления. С годами уже установилась определенная рутина. Напевшись вволю, Мать замолкала. Она сидела с полузакрытыми глазами, как бы вглядываясь во что-то внутри себя, никому другому не видимое. Затем она начинала рыдать, ударяя свою голову о стену, — и все заканчивалось обмороком или сердечным припадком. Придя в себя, она подолгу говорила с Бабушкой, как дитя, жалобным разбитым шепотом. И слышался также голос Бабушки — нежный-нежный и все же имевший где-то в основании адамантовую твердость. Затем обе замолкали. Мать выходила в кухню и принималась за свою обычную работу. После каждого такого припадка Мать делалась как будто старше, несколько ниже ростом, бледнее. Жизнь понемногу уходила из выражения ее лица и глаз. Казалось, она каждый раз делала еще один шаг к могиле.

Так и теперь. Прислушиваясь к ее пению и звукам кастрюль — они падали, — Бабушка приготовила диван, подушку, холодную воду, полотенце и отсчитала в стакан 20 валериановых капель. Она знала, что лучше не вмешиваться сейчас же, но ждать обычного заключения пения.

Мать пела прекрасный старинный романс:

...Глядя на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегах Невы.

Тайной скорбью Матери было то, что ее бросил когда-то горячо любимый муж, отец Лиды. Разлученные революцией, они долго жили в России, ничего не зная один о другом. Для Матери это были горькие годы беспрестанного беспокойства о нем и молитвы. Жив или мертв, — она не могла потерять его, вычеркнуть из своей жизни. Встреча — здесь ли, на земле, или там, в иной жизни, была лишь вопросом времени.

И вдруг неожиданно она получила от него письмо. Это было хорошее письмо, в дружеском тоне уведомлявшее ее, что он развелся с ней и женился на другой женщине. У них было два сына, и они живут, в общем, счастливо. С большим интересом он справлялся о родственниках. Как Бабушка? Как дочь моя Лида? А главное, о ней самой. Вышла ли и она вторично замуж? Когда? За кого? Затем шли пожелания ей счастья. Письмо заключалось просьбой писать и сообщать почаще о ее жизни и о Лиде.

В письме не было и намека на экономическую помощь, ни вопроса, как и на что Мать и Лида жили и живут в настоящее время. Не было никаких предположений встретиться когда-либо в будущем.

После долгих лет, в течение которых Мать, молясь, предполагала все возможные несчастья с мужем, все, кроме одного — и горшего, что он может сам измениться, — это был тяжелый удар. Страдать от врага — это естественно, чего же и ожидать от врага? Но получить такой тяжкий удар от горячо любимого друга было свыше сил. И все же, с чувством собственного достоинства и гордости, она похоронила свое горе в своем собственном сердце, ему же ответила таким же письмом, в таком же дружеском тоне. Она написала, что Бабушка жива и здорова, что сама она замуж не вышла, что Лида растет и расцветает, что с ними вместе живут еще родственники. Она тоже ни словом, ни намеком не коснулась финансовой стороны жизни и также заключила письмо предложением переписываться. С тех пор раз-два в год приходили подобные письма из Советской России. Она читала письмо, разрывала его на кусочки, а марку отдавала Диме. Ни с кем, кроме Бабушки, Мать не делилась содержанием писем, да и с той обменивалась лишь несколькими словами в день получения письма. Как она переживала свое унижение и горе, было скрыто глубоко в ее сердце. Но приходили моменты слабости, когда ее чувства прорывались наружу. Бывало, вдруг начнет про себя вспоминать эту юность, это счастливое время, когда жизнь освещалась такой любовью, такой надеждой... Она вышла замуж по горячей любви. Только вспомнить те дни... И контраст между настоящим и тем "прежде" всегда вновь, как свежий удар, поражал ее сердце. Эта рана не заживала, это горе не забывалось. Из всех впечатлений жизни оно одно было бессмертным.

Так и сегодня, она пела тихонько, и слезы, большие и редкие, катились и падали в пудинг, который она мешала большой деревянной ложкой.

...До гроба вы клялись любить поэта...

А Бабушка прислушивалась из столовой.

...Вы не исполнили священного обета...

Через полчаса Мать уже лежала на диване в столовой. Валериановые капли были выпиты. Она уже не плакала, но сотрясалась от внутренней нервной дрожи. Бабушка укрывала ее всеми пальто Семьи. Дима и Собака стояли у дивана, страдая от своего бессилия помочь.

Через два часа Мать уже была на кухне, заканчивая пудинг. Бабушка помогала ей, и они изредка обменивались фразами, сказанными только друг для друга, шепотом.

Мать была натурой скрытого горения. Такою была и Бабушка. Но Бабушку никто никогда не видел потерявшей самообладание. Возможно, все, что было личным, давно перегорело в ее сердце, и остался только пепел, и этот пепел остывал все более и более, и в нем не было уже ни огня, ни даже искр. Может быть, надо жить до семидесяти лет, чтобы иметь этот пепел. Может быть, он уже начинал накопляться и в сердце Матери. Возможно, наступит день, когда она скажет: "Письмо от моего бывшего мужа, твоего, Лида, отца. Пишет, что живет хорошо. Шлет привет от себя, жены и сыновей вам, Бабушка, и тебе, Лида".

Она это, возможно, скажет уже безразличным тоном, бесцветным и ровным голосом, и пепел в сердце будет лежать, не тронется. Но пока... пока... Вот она в кухне, перед этой печкой, с этим мертвым серо-лиловым лицом. Почему лицо делается лиловым от боли в сердце? А она была когда-то очень красивой. Природа задумала ее как украшение, как деталь роскоши в этой жизни, на этой планете. Но что-то изменилось в намерении природы, и она ожесточенно стала разрушать одно из прекрасных своих творений.

В четыре часа, когда уже окончательно тяжелый покой повис над пансионом № 11, Бабушка вспомнила, что никто ничего не ел в этом доме с самого утра.

Поспешно, с помощью Кана, стала она готовить поднос с пищей для миссис Парриш, накормила Диму. Затем сама приготовила и понесла пищу мистеру Суну. Мистер Сун не просил пищи, но он не выходил из дома, а в комнате у него пищи не могло быть. Человек же не может жить долго без пищи. Бабушка с подносом тихонько постучала в дверь мистера Суна. Ответа не было. Она постучала еще раз и, тихонько отворив дверь, вошла.

Он сидел неподвижно, как-то невесомо, и глаза у него были какие-то пустые. Он знаком отказался от пищи. Но Бабушка не уходила. Она стояла перед ним с подносом и кланялась и просила его покушать. Мистер Сун выпил чашечку чаю и съел два бисквита.

Бабушка возвратилась на кухню, вымыла посуду и в ту же чашечку, из которой пил мистер Сун, налила чаю для японской старушки. Она постучала в дверь комнаты, где жили японцы, и тоже никто не ответил. И опять Бабушка тихонько вошла без приглашения. Старая леди неподвижно сидела на полу на циновке и смотрела такими же пустыми странными глазами, как и мистер Сун. Они одинаковы были сегодня — и японские глаза и китайские, и победители и побежденные. И японская леди отказывалась от пищи, но и ее — своей улыбкой и поклонами — Бабушка убедила немножко покушать. И пока та пила свой чай и ела бисквитик, Бабушка смотрела на эти морщины, на эти глубокие складки и в них читала долгую повесть о горькой жизни. И желтой расе жилось не легче, чем белой.

Этот день казался необыкновенно длинным. Казалось, ему не будет конца. Казалось, никак не дожить до вечера.

Но вечер пришел, и с ним легкая прохлада, тишина и легкий, неуверенный в себе ветерок. Бабушка вышла посидеть на ступеньке крыльца. В саду, на скамейке, между двух уже голых от жары деревьев сидел мистер Сун. Они сидели близко один от другого, но не говорили. Даже обычное "Добрый вечер!" не было произнесено. Родной город мистера Суна был взят японцами. Теперь мистер Сун был только гостем в Тянцзине. Он сидел неподвижно, под голыми деревьями, глядя вниз на так рано упавшие, сгоревшие от солнца листья, как бы читая в них что-то важное для себя.

Когда же спустились сумерки, летели массой какие-то птички. Напуганные канонадой, потеряв свои гнезда, они, притаившись где-то днем, ночью переселялись куда-то. Свои, домашние птички, жившие в

двух-трех гнездах под крышей над балконом, чирикали успокоительно, радостно. Они были дома.

Вдруг стукнула калитка, и бедно одетый, почти полуголый китаец проскользнул в сад. Украдкой оглянувшись, он пошел прямо к мистеру Суну, как бы зная, что тот ожидает его, и, низко-низко ему поклонившись, сказал что-то кратко и тихо и так же быстро ушел.

Хотя мистер Сун не сказал ничего, не привстал, не поднял головы даже, Бабушка знала, что был вестник большого несчастья, что кто-то из дорогих для мистера Суна покинул навсегда эту землю и что не на листья теперь смотрел мистер Сун, а в чью-то раскрытую могилу. Она знала это наверное. Не прошла ли она сама через этот же опыт — и несколько раз в своей жизни? Только опытный глаз мог заметить единственное движение вниз плеч мистера Суна, когда обрушился удар, и по краткости движения она знала, что удар был тяжел и страшен.

Она встала, тихонько подошла к мистеру Суну и остановилась около него. Запоздалая ласточка пролетела совсем близко от них, почти задевая крылом землю.

— Эти ласточки, — сказала Бабушка, — прилетают к нам из Индии. Наши ласточки, в России, прилетали из Африки.

Мистер Сун ничего не ответил на это.

— Как, в общем, таинственна жизнь птицы, — продолжала Бабушка. Она помолчала немного. — Так же неисповедимы и пути человеческой жизни...

— И смерти, — чуть слышно сказал мистер Сун.

— Смерти нет, — сказала Бабушка, — есть перемена. Непонятная для нас и потому кажется страшной. Перемена — закон жизни. Она нас пугает, потому что она предвещает разлуку.

— Разлуку, — прошептал мистер Сун.

Бабушка присела рядом с ним на скамейку, и они долго сидели так, молча. Темнота ночи, медленно спускаясь, обволакивала их и все кругом. Больше не было слышно голосов птиц. Только тихие заглушенные звуки доходили время от времени с черного двора, где Мать с помощью Кана раздавала вечернюю порцию риса.

Вдруг громко распахнулась балконная дверь, и миссис Парриш, наклонясь с балкона, стала кричать:

— Почему так тихо? Почему никто не разговаривает? Что это — могила? Все, что ли, уже умерли в этой норе? Дом полон покойников? Эй, живая душа! Сюда! Ко мне!

Бабушка поспешно встала и почти бегом побежала в комнату миссис Парриш.

12

В начале августа сравнительный порядок был восстановлен в Тянцзине и его окрестностях. Китайские беженцы начали возвращаться с иностранных концессий в свой китайский город. Они топтались на пепелищах, среди развалин, пытаясь что-то восстановить, что-то построить. Армия Спасения выдавала все меньше риса. Поезда приходили в Тянцзин и отбывали оттуда. Начала работать и почта. В районе города появлялось все больше и больше японцев. Строились укрепления и аэродромы. Как лавина, откуда-то надвигались огромные количества японской военной амуниции. С характерным для них топотом японские войска маршировали куда-то в южную сторону, оставляя город.

Только четыре японца вернулись в пансион № 11. Они кланялись, улыбались и спрашивали всех о здоровье. О пятом не было сказано ни слова. Они все вчетвером увели куда-то старую японскую леди, которая едва двигала ногами, но все же тоже кланялась. Только три японца вернулись затем, чтобы жить в доме. Они еще раз спросили — все разом — о здоровье и, в благодарность за заботы о старой леди, подарили Бабушке большую коробку бисквитов Meijii и шелковый носовой платок. И на коробке и на платке была изображена прекрасная Fudji-Yama.

Семья Кана на черном дворе убавилась до четырех. Мистер Сун сделался безработным, потому что китайский университет, где он читал лекции, был разрушен японцами.

За счет трех японских джентльменов в доме было установлено радио. Оно внесло поток звуков. Domei-dispatch ежедневно заявлял о блестящих японских победах. Гремела странная музыка и какое-то нечеловеческое гортанное пение хором. Кто пел и по какому поводу? Была ли это радость победы или похоронное пение? Как оно было загадочно и странно для европейского уха! Гремели речи от новых японских правительственных органов; голоса негодования и воззвание о помощи — "ко всем!" — от раненого Китая. Слышно было Гитлера, глас сверхчеловека из Берлина, и восхитительная музыка из Grand Opera и La Scala. И все это говорило о том, что нет единения в человечестве, что различны интересы классов и наций, что больше и больше дробилась прежними веками выкованная христианская и нехристианская мораль и что нет выхода, нет никому оправдания и всем грозит гибель.

И пока наслаждались японцы своим новым радио, ужасалась Бабушка: без радио она не знала, как страшен стал внешний мир.

С ревом радио в доме, с шумом аэропланов, почему-то тренировавших своих пилотов над самым городом, миссис Парриш легко теряла душевное равновесие — и сама подымала не меньший шум. Теперь Бабушка с утра до вечера находилась в комнате миссис Парриш. Бабушка придумала хитрость. Она играла с миссис Парриш в карты. Когда выигрывала Бабушка, она получала чашечку кофе. Когда выигрывала миссис Парриш, она получала немножко виски. И то и другое было заперто в шкафу миссис Парриш, и только у Бабушки были ключи. В обоих случаях Бабушка старалась растянуть приготовления: то кофе медленно варился на спиртовке, то надо было сначала причесать миссис Парриш и вымыть стаканчик, а потом уже наливать виски. Если миссис Парриш отказывалась причесываться или умываться, Бабушка уговаривала ее, как ребенка. Она имела опыт, воспитав два поколения послушных и милых детей. Вечерком они немножко гуляли около дома. Дима и Собака, шагая за ними, оберегали их безопасность. Уложив миссис Парриш в постель, Бабушка придумала начать ей рассказывать о своей жизни, с самого начала. Это была долгая жизнь. Была ли Бабушка хорошим рассказчиком, была ли жизнь ее так занимательна, только миссис Парриш глубоко заинтересовалась с самого первого вечера. Чем дальше развивалась история Бабушкиной жизни, тем глубже был интерес миссис Парриш. Бабушка же

повествовала только о фактах, не добавляя ни выводов, ни поучений. История шла, начинаясь в прекрасном доме обширного имения, под безоблачным родным небом, затем перемещалась в столицу, путешествовала по заграницам и, вдруг оставшись без крова, ютилась в тюрьме, в товарном вагоне, в китайской фанзе. Долог, долог был путь от имения "Услада" до пансиона № 11! Иногда, слушая рассказ, миссис Парриш внезапно засыпала. Проснувшись, она повторяла последнее слово, сказанное Бабушкой, и спрашивала: "Что дальше?"

Если Бабушки уже не было в комнате, она выбегала в коридор и, свесившись с лестницы, кричала:

— Хо-хо! Бабушка! А когда он сказал: "Готовьтесь!" — что дальше?

И мягкий голос Бабушки отвечал откуда-то снизу:

— Когда он сказал: "Готовьтесь!" — я начала молиться. Но в волнении я забывала слова и только повторяла "Отче наш, Отче наш".

И Бабушка появлялась на лестнице. Медленно всходя по ступеням, она продолжала рассказ.

То были тяжелые дни для миссис Парриш. Доктор Айзик оставил город на целый месяц. Он уехал в район разрушения бесплатно лечить китайцев. Бабушка одна присматривала за миссис Парриш.

— Что вы тут шьете по целым дням? — спросила как-то миссис Парриш.

— Я починяю ваше белье, миссис Парриш.

— С какой стати! Для этого есть амы[1]. Я позвоню в католический монастырь, и они нам пошлют аму. Бросьте эту работу!

Ама пришла на следующее утро. Это была приземистая женщина крестьянского типа. Лицо ее носило выражение настороженности и критического отношения к жизни. Шила она прекрасно. Бабушка хотела использовать немножко для себя опыт Амы. Обе они шили, сидя на площадке лестницы, напротив комнаты миссис Парриш. Дверь в эту комнату была открыта, и Бабушка держала, таким образом, свою пациентку под неослабным наблюдением. Работая, она вела разговор с Амой.

— Скажите, Ама, вы довольны тем, что вы — христианка?

Ама бросила исподлобья быстрый взгляд на Бабушку.

— Нет, я не довольна.

Это был неожиданный ответ.

— Почему?

Ама помолчала немного.

— Что бы мне ни понравилось, чего бы мне ни захотелось — все это грех. А Бог наказывает за грех. И он все видит. Невозможно спрятаться. Мне это не нравится.

— Но вы молитесь?

— Мне нельзя не молиться. Иначе не будут держать в монастыре.

— Но вы, значит, не любите молиться.

— Я не люблю молиться? Наоборот, я очень люблю молиться. На это время не дают работы. Очень спокойно и хорошо.

— Кому вы молитесь?

— Я молюсь Божьей Матери.

— Не Иисусу Христу?

— Редко. Есть вещи, которые не скажешь мужчине.

И это было неожиданно. Бабушка прекратила вопросы, и некоторое время она работала молча. Миссис Парриш появилась на пороге:

— Скажите, Ама, вы уже монахиня?

— Нет. Мать игуменья говорит, что я не гожусь. У меня грешные мысли. "Ты лучше выходи замуж, — так она мне говорит, — может, твои дети будут хорошими католиками". И еще она находит, что я говорю много: "У разговорчивой женщины меньше шансов сделаться святой".

— Если так, то почему же вы живете в монастыре?

— Мне нравится. Спокойно. Поработаешь и помолишься. Опять поработаешь и помолишься. И это все.

— Но молиться можно везде.

— Как-то лучше выходит в большой компании. Монахини — славный народ. Хорошая компания.

— А как случилось, что вы пришли в монастырь?

— Я не шла, меня монахини на руках несли. Мои родители продали меня за два доллара. Я была еще очень маленькая, больше двух долларов и не стоила. Был голод. Почтенным родителям надо было купить буйвола, чтобы пахать землю. Они продали меня и моих сестер.

— И у вас нет в сердце обиды?

— Я очень счастлива, что родителям от меня была польза. Они ведь купили быка.

— А вас купили монахини?

— Нет, это не так было. Очень плохие люди скупали девочек. Монахини тогда сказали: "Лучше мы купим". Дали дороже и купили.

— Бабушка, — звала миссис Парриш, — идите! Пора играть в карты!

— Извините меня на сегодня, — просила Бабушка, — мне нужно закончить платье для Лиды.

— Но я хочу играть в карты!

— Я позову дочь Таню. Она поиграет с вами.

— А она хорошо играет?

— Нет, я думаю, плохо. Без практики.

— Ну, тогда я согласна. Дайте сюда ключи от шкафа. Я буду получать награду.

— Вспомните уговор, миссис Парриш. Ключи всегда у меня. Когда вы выиграете, кликните меня. Я приду и выдам награду.

За два часа Бабушка выдавала награду пять раз. Пришлось посадить Мать за работу над Лидиным платьем, а Бабушка пошла играть в карты. Миссис Парриш не сразу согласилась. Ей нравился новый партнер.

Теперь Ама говорила уже Матери:

— Да, у меня грешные мысли. Но что тут делать! Хороший тон в монастыре — это молиться о других. А этих других очень много. Некогда думать о себе. И вот получается так: другие живут в свое удовольствие, а как только Бог захочет их наказать, тут я должна молиться, чтоб Он их простил. И так иногда зло берет на этих других. Вот и теперь я в душе говорю Богу: "Ты видишь, что делают японцы? Смотри, хорошо смотри. Не забудь ничего из того, что Ты видишь. Начнешь наказывать — хорошо их накажи". Пока что не вижу, чтоб Он начал наказывать.

[1] А м а — прислужница.

Вы знаете, у Него к грешникам много терпенья. А вот к тем, кто уже христиане, терпенья меньше.

— Да, Ама, вы странно рассуждаете о Боге.

— Я уже сказала, что у меня грешные мысли. В монастыре всем это давно известно. Мать игуменья даже хотела наложить на меня обет молчания. А потом махнула рукой. Слов не будет, мысли останутся. К тому же я хожу шить. А как шить без разговора?

— Кто научил тебя так хорошо шить? — спросила Мать, чтобы переменить тему.

— Монашки научили. И говорить по-английски научили. Немножко писать и читать то, что я написала. Я еще умею вязать. Когда сравниваю себя с другими, вижу, что я — образованная девушка.

— А книги вы не читаете?

— Пробовали меня учить, но это подымает мои грешные мысли. В монастыре читают только книги о святых. Мне очень нравится. Но когда я потом рассказываю, что я поняла, монахини сердятся и разбегаются от меня. Мать игуменья раз даже топала на меня: "Не прикасайся к книгам. У тебя грешные мысли". Мне даже запретили задавать вопросы, если я не понимаю того, что нам читают вслух. А много интересного!

— И вы сожалеете, что вам не дают читать?

— Нет, не очень. Больше читаешь, больше знаешь. Меньше знаешь — легче. Согрешишь и не знаешь, что грех. Не надо каяться. Удобно.

И голоса замолкли надолго.

"Что это Тани не слышно? — думала Бабушка. — Где она?"

Она вышла из комнаты миссис Парриш. Мать стояла в какой-то странной неподвижности у окна и сосредоточенно смотрела на что-то находящееся внизу.

Бабушка подошла к ней, но Мать не слыхала ее шагов. Она все стояла и смотрела в окно, выходившее в чужой, соседний сад. Этот сад был полон прекрасных цветов. Как неподвижное розовое облако, склонялась над домом мимоза. В ее тени молодая женщина полулежала на кресле. У ее ног, на траве, сидел господин и обмахивал ее для прохлады круглым прозрачным веером. Неподалеку стоял маленький изящный столик с чайным прибором. Китаец-слуга, весь в белом, разливал чай. От всего этого веяло счастьем.

— Посмотрите! — сказала Мать, задыхаясь от слез. — Почему мне не дано этого? Как хороша жизнь, если видеть ее оттуда!

— Не говори этого, Таня! — Бабушка положила ей руку на плечо. — Кто знает, что скрыто за этим видимым счастьем! Твоя же тяжелая жизнь — узкая тропинка к небесам. Научись любить ее.

13

— Какое странное письмо! — сказала Лида, разбирая утреннюю почту. — Оно адресовано Бабушке, и Бабушку называют "ее превосходительством"

— Подумать только, — сказала Мать, — есть кто-то на земле, кто это помнит! Мы уже и сами забыли все наши титулы.

— От кого это письмо? — продолжала Лида. — Бумага самая дешевая. По штемпелю оно из Маньчжурии.

— Прочитай мне его вслух, — сказала Бабушка. — Не могу бросить вязанье. Едва ли успею выполнить заказ к сроку, а деньги нужны. Таня, приходили за деньгами из пекарни?

— Сегодня были два раза.

— Но слушайте, слушайте! — И Лида начала читать вслух:

"Благословение Господне на вас.

Боголюбивая сестра во Христе, здравствуйте. Лично мы вас не знаем, но слыхали, что вы благочестивая христианка. Посему обращаемся к вам с покорнейшей просьбой. Помогите. Мы знаем, что вы держите пансион и принимаете постояльцев. Дорогая наша Матушка Игуменья собирается в Шанхай, задумывает там основать убежище для русских бездомных старушек и бесприютных деток-сирот. Денег, конечно, у ней нету. Просим вас покорнейше приютить ее и еще двух сестер монахинь на несколько дней под вашим кровом. Монастырь наш очень беден, уплатить никак не можем — хватило бы хотя на железнодорожные билеты, но молиться за вас будем усердно, и Господь Сам вас вознаградит. Смиренно ждем вашего утвердительного и скорого ответа. С христианской любовью и молитвами о вас, а если есть у вас семейство, — то и о вашем семействе также.

Смиренная сестра Павла (казначей).

Смиренная сестра Анна (письмоводитель).

P.S. Наша дорогая Матушка Игуменья вкушает только вареные овощи с постным маслом. Она также может пить чай с лимоном".

— С лимоном?! — вдруг сердито вскрикнула Мать. — Когда это были лимоны у нас в доме? Лимон стоит шестьдесят сентов за штуку!

— Что ты, Таня! — Бабушка остановила ее с упреком. — Каким тоном ты это говоришь? Ты удивляешь меня.

— Удивляю? Даже в а с я удивляю! А кто знает, чего мне стоит это ежедневное хождение на базар? Мы там должны всем, в каждой лавке. А я все прошу в долг. Тут откажут, там откажут, я иду дальше — и все прошу и прошу...

Она вдруг заплакала. Она стояла перед Бабушкой, жалкая-жалкая, плакала и повторяла:

— А я все прошу и прошу...

Лида кинулась к Матери, обняла ее и тоже заплакала. Бабушка крепилась, не сдавала позиции.

— И полно, Таня! У нас две свободные комнаты, а у людей нет крыши. Приедут три бедные женщины. Монашки. Ну, немножко больше работы. Ну, еще немножко попросишь в долг. Они — великие постницы, кушают мало. Поделимся тем, что будет...

Но и Мать не хотела сдаваться:

— На постном масле? Да? С лимоном?

— Таня, они не могут есть на сале, оно — скоромное. А ты подумай о другом. Дети наши никогда не были в православном монастыре, не видали монашек, не говорили с ними. Ведь это — кусочек прежней России приедет в наш дом. Лучше станем радоваться этому. Как будто что-то из прошлого, прикоснемся к чему-то родному! Что — бедность? Что — унижение? Они всегда с нами. Да и грех отказать, стыдно. Наши семьи в прошлом всегда поддерживали монастыри.

Но и Мать успокоилась, и Лида уже сияла:

— О Бабушка, дорогое наше "превосходительство"! Сейчас же им и напишу "скорый и утвердительный ответ".

— Нет, нет, Лида, это я сама напишу. Подобные приглашения пишет старший в семье. От тебя — это было бы даже не совсем вежливо.

Мать только терпеливо улыбнулась.

— Смотрите, вот и другое письмо, и тоже какое-то странное. И бумага еще хуже, — воcклик-

нула Лида. — Какие странные буквы! На каком же это языке? Неужели по-английски? Мама, это вам.

— Читай, Лида, у меня мокрые руки, я мою посуду.

Письмо, или вернее, поэма, род одиссеи, было от мадам Милицы. Написано оно было смесью четырех наиболее известных мадам Милице языков. Его невозможно было ни прочитать, ни понять сразу. Нужно было научное исследование корней слов и их морфем, приставок и окончаний, но и этого было бы недостаточно. Письмо имело высокоторжественный, архаический и запутанный стиль. К тому же у писавшей был собственный взгляд на знаки препинания и употребление заглавных букв.

Все по очереди старались читать письмо. Обсуждали, догадывались. Было очень интересно.

Мадам Милица так и не попала в Шанхай. Сначала ее остановили в Тан-Ку. Кто остановил, было неясно. Мадам Милица писала "остановили" в заглавных буквах, затем следовал странный письменный знак, и с трудом разбиралось дальше "враги". На пароходе она все же добралась до Шанхая, но ей не позволили сойти на берег. Шанхай был на военном положении, и она — мадам Милица — свидетель, что бой шел в Чапей. Пароход отчалил, и мадам Милицу повезли в Гонконг. Итак — привет всем с дороги!

Но не только факты, были и наблюдения и мысли — и мадам Милица щедро делилась ими с Семьей, хотя и знала, что это потребует двойного количества марок.

Она сообщала, что на пароходе, как и везде, только два класса людей: те, у кого есть деньги, и те, у кого их нет. Для первых есть все услуги и все удобства. Каково путешествие для вторых, спросите мадам Милицу. Она вам скажет. В таком путешествии ее утешением было, что она все знала вперед, ничему не удивлялась и сохранила полное личное достоинство.

Она просит Семью не беспокоиться: мадам Милица умрет, когда ей будет восемьдесят четыре года, чего нельзя сказать — увы! — о многих богатых пассажирах парохода. И умрет мадам Милица спокойно, в своей постели. С усмешкой она поэтому смотрит в жерла и китайских и японских пушек и сохраняет спокойствие, когда сообщают, что не то аэроплан, не то субмарина гонится за пароходом, чтобы его взорвать. Они не смогут вырвать один-единственный волос из ее прически. Слепцы цивилизации! И она шлет привет и поклон всей любимой Семье, особенно Бабушке. Пожалуй, передайте привет и миссис Парриш.

Письмо с остановками читали весь день.

Вечерняя газета принесла хорошую новость.

— Слушайте, — кричала Лида, вбегая с газетой, которую выписывала и никогда не читала миссис Парриш. — Слушайте: добровольцы отпускаются сегодня. Они получат по десять китайских долларов за каждый день службы. Боже! Значит, Петя придет и принесет — считайте, считайте! — о Бабушка! Он купит мне белые туфли! Мама, вы позволите, чтобы он купил мне белые туфли? С кусочками коричневой кожи на носке и пятке!

— Видите, — сказала Бабушка, — вот и деньги на лимоны!

А Лида все читала и перечитывала, считала долги и деньги и что кому нужно — и все выходило, что, пожалуй, купят ей туфли. И если кончена война, откроют магазин, где она служила, и она пойдет работать — зарабатывать. Как всем будет легче!

Мать не сказала ничего, но у ней встрепенулось сердце. Она хоть немножко уплатит кое-какие долги.

Лида ушла мечтать в сад. За время войны она не служила. Она отдохнула, выспалась. И вдруг стала мечтать. Там, где она плавала, стал ей встречаться американский мальчик. Славный такой! Года на два-три старше. Куда Лида ни пойдет, он как-то все там же. И все улыбается. Всегда поклонится. Скажет "здравствуйте" и "какая погода, — не правда ли?". Что бы это могло значить? Неужели? О, неужели?

Она побежала к Бабушке спросить:

— Как вы думаете, Бабушка, когда я совсем вырасту, буду я красивой?

Бабушка внимательно посмотрела на Лиду:

— Как сказать! Ты не будешь такой красивой, какою была Таня. Но ты будешь ничего себе.

— И только?

— Ну, да, довольно хорошенькая.

— А я пою хорошо?

— Хорошо, но у тебя нет школы.

Лида только вздохнула. Но и с этим — "хорошенькая, поет хорошо" еще можно жить. Ей сшили платье. Вот есть надежда на туфли. Стоит жить! Не надо огорчаться. Живут же другие и без голоса и без туфель.

— Чем мечтать, — сказала Бабушка, посмотрев на Лиду, — вычисти-ка все сковородки. Я говорила, не доверяйте посуду Кану. Потрогай, они липнут.

Только Лида вошла во вкус работы, как Мать вернулась с базара. Она была очень взволнованна и звала поскорее Бабушку.

— Послушайте только, что я узнала в лавке на базаре. Кан — мошенник. Все эти люди, что жили у нас на черном дворе и в подвале, совсем ему не родственники. Он набирал их, когда бомбардировали китайский город, и предлагал убежище здесь, у нас, на британской концессии — за деньги! Он также брал деньги за тот рис и чай, что мы давали им. Вы понимаете, как эти люди должны были смотреть на нас? Вы видите, во что превратилось наше гостеприимство...

— Действительно, — сказала Бабушка. — Лида, позови Кана. Он убирает подвал.

Но Кан не понимал ни одного слова из того, что ему говорили. Только лицо его несколько побледнело да глаза стали уже. Он показывал признаки больших усилий, чтобы понять, чего от него хочет Бабушка и о чем она спрашивает. Отвечал он ей самым почтительным тоном. Какие люди? В подвале? Там он был сейчас, но не видел никого. Там нет людей. Родственники? Да, у него есть родственники. Много родственников. Но он не знает, где они сейчас. Деньги? Он брал деньги? Он никогда не брал чужих денег. Он содрогался при одной мысли об этом. Пища? Рис? Какой рис? Он никогда не просил риса. Бабушка сама, по своей воле, раздавала пищу людям во дворе и в подвале.

— Кан, — сказала Бабушка, и в ее тоне был большой упрек, — это плохо и стыдно. Я узнаю правду. Вечером придет мистер Питер, он понимает по-китайски — и ты должен будешь ответить ему правду.

Тут раздался звонок, и Кан ринулся открывать двери. Телеграмма для миссис Парриш от ее

брата. Задержанный беспорядками военного времени, он теперь предполагал быть в Тянцзине через три дня.

И вдруг от этой новости всем стало грустно. Семья уже полюбила миссис Парриш, сжилась с ней. А сама миссис Парриш, слегка навеселе, так приветствовала телеграмму:

— Дудки! Никуда с ним не поеду. Мне и тут хорошо. Двадцать лет не видались, и вдруг давайте жить вместе. Бывают же у людей идеи! Бабушка, не сыграть ли нам в карты?

А Дима был в отчаянии от телеграммы. Конечно, если трезво посмотреть на дело, Собака законно принадлежала ему. Есть и документ на право собственности. За подписью. Тут он, в кармане штанишек, в маленькой баночке. Но ведь взрослые не уважают закона, не помнят обещаний, не держат честного слова. В его коротенькой жизни мало ли доказательств этому? Даже самые близкие, скажем Лида и Петя, пообещают и забудут. Ах, много знал Дима о ложных обещаниях и фальшивых проектах благодеяний! Строго говоря, в мире только три существа без фальши: он — Дима, Собака и Бабушка.

14

Вечером Петя вернулся домой. Это был какой-то новый, изменившийся Петя. Он был темен лицом и глядел как-то печально. Чтобы понять перемену в нем, надо побольше сказать о Пете.

Он не получил систематического образования. В беженстве его учили здесь и там, всему понемногу. Голод — физический и интеллектуальный — был постоянным спутником его молодой жизни. Они росли вместе. Влияние Семьи было благотворно для сердца, но не давало перспектив глядеть вперед и строить жизнь. Хотя он говорил, писал и читал на четырех языках, как и Лида, он ни одного не знал в совершенстве. Петя служил приказчиком в лучшем английском магазине, и хотя работал так же, как его английские коллеги, с ним обращались как с низшим и платили вдвое меньше, потому что он был русский. Он представлял дешевый труд на иностранных рынках. Таких, как он, считалось обыкновенным делом и унижать и эксплуатировать для интересов развития международной торговли. Таким, как он, некуда было уйти, и у них не было защиты.

Петя был горд. Он знал, что у него были и способности и таланты. За ним стояли многие поколения предков, честных и благородных. Он сам не сделал ничего низкого или бесчестного. При всяком унижении, часто нарочитом, он внешне ничем не выражал своих чувств. Несмотря на молодость, он был необыкновенно сдержан и молчалив. Было время, он очень искал дружбы. Как хороший футболист, он стал членом английского спортивного клуба. Его включили в лучшую команду. Но интерес и внимание к нему начинались и оканчивались на футбольном поле. Никто из членов клуба ни разу не пригласил Петю в свой дом, потому что он был русский. После удачной игры они весело прощались с Петей и катили в автомобилях в свои виллы. Петя шел один, пешком, к себе домой. Да, дом англичанина действительно крепость. И все же Петя — и с каким трудом — ежегодно платил клубный членский взнос. В душе он начинал сомневаться, что поступает правильно. Уйти бы. Пусть поищут другого, а на эти деньги купить бы что-то для Димы и Лиды. И все же он еще не решался. Эти несколько часов в обществе людей богатых, не загнанных ни нуждой, ни страхом, были ему как-то очень нужны. Хотелось видеть, что есть иная жизнь и ее как-то можно добиться. Просто посидеть на веранде клуба, в глубоком кресле, пройти в библиотеку или в сад, где дорожки посыпаны красным песочком, видеть ряд блестящих автомобилей, слышать здоровый смех — и, главное, видеть эту английскую уверенность, что все так и надо, так было, так будет. Все это как-то увлекало Петю, делалось отправной точкой его размышлений о жизни, о людях, о социальном и расовом неравенстве — и о том, что все это — современная цивилизация, и надо жить или в ней, или вне ее, подчиняться ей или ее отрицать.

Война дала ему новый и тяжелый опыт. Он видел вблизи одно из самых жестоких и беззаконных нападений. Он, как и другие волонтеры британской концессии, лежал с винтовкой за стеной, укрепленной мешками с песком. Ему ясно был виден мост над Хэй-Хо. За этот мост и шла битва. Казалось, все просто. Японские солдаты наступают и стреляют; китайские солдаты защищают мост, отступают и стреляют. Кто ранен или убит, тот падает на мосту или в воду.

И Петино военное задание было очень просто. Он должен был лежать и смотреть. При попытке японцев или китайцев проникнуть через его укрепленную стену Петя должен стрелять в них. Никто пока не пытался. Опасности не было никакой. Петя лежал и смотрел, спокойный, почти равнодушный наблюдатель. В его сердце не было ни любви к одним, ни ненависти к другим. Пусть делают что хотят.

Но медленно, как яд, впитывалась в его сердце какая-то горечь, как яд, постепенно отравляла все его существо.

Перед его глазами происходило преступление: без объявления войны пришли войска в неподготовленную страну — и убивают. Это все ему не просто казалось, тут была настоящая смерть. Настоящий живой человек вдруг делался мертвым, а Петя наблюдал этот последний момент его жизни. У Пети была винтовка, но он никого не защищал ею, по какому-то международному закону он не имел права вмешиваться. Но нападавшие нарушали этот же международный закон — и это было ничего, пока они нападали не на Петю и его мешки с песком. Нарушение закона не должно было интересовать Петю, пока оно происходило на приличном от него расстоянии. И если бы Петя подчинялся не этому закону, а естественному движению человеческого сердца, он не лежал бы с винтовкой наготове, а кинулся бы подымать раненых, пытался бы отговорить нападавших. С другой стороны, умирали и нападающие и защищавшиеся. Они умирали одинаковой, одной и той же человеческой смертью. Прежде они никогда не встречались в жизни, у них не было никаких личных обид, но вот они сошлись лицом к лицу — в первый и единственный раз, — чтобы убить друг друга. Что-то было очень страшное в той быстроте, в той простоте, с какой разрывалась человеческая жизнь. В реку падали трупы, но никто не будет отвечать за это, потому что это убийство назвали войной.

Эти мысли уже не покидали Петю. Он знал, что прежнее его существование — жизнь мальчика — окончилось. Оно было уже недостойным взрослого мужчины. Он должен был что-то найти, основаться на каком-то своем понимании жизни, чтоб иметь охоту жить.

Но когда Петя вернулся домой, он ничего не сказал обо всем этом. Он прежде всего подошел к Бабушке и, не сказав ни слова, поцеловал ее руку. У ней были маленькие ручки, приятные и мягкие, несмотря на всю ту работу, которую она выполняла. Бабушка только взглянула на Петю — и все поняла. Надо было сейчас же, немедленно вернуть его внимание и мысли к привычной, повседневной жизни.

— А какие у нас новости, Петя, — начала она, — миссис Парриш нас покидает, за нею приезжает брат. Мистер Сун ездил в Пекин и — представь — вернулся невредимым. Но самое интересное — мы сдали комнату мадам Милицы новым жильцам. Не угадаешь — кому. Старый русский профессор с женой будет жить с нами. Они — тоже беженцы, из Пекина. Оба — чудесные люди. Мы будем иметь университет у себя дома. Как это будет всем нам полезно и приятно — общение с образованнейшим человеком! И он такой доступный в обращении, тут же и предложил — и бесплатно — учить всех и всему на свете, совершенно по-русски.

Но уже Лида обнимала Петю, заговаривая о белых туфлях. Дима и Собака крутились около. Мать побежала подогреть чайник. Семья опять была вся вместе, и каждый старался выразить свою любовь вернувшемуся Пете.

15

Профессор Чернов и его жена Анна Петровна поселились в пансионе № 11.

Профессор Чернов был маленький, старый, морщинистый, но обладал какой-то неисчерпаемой, неиссякаемой, буйной энергией, которая удивила бы и в молодом человеке. Анна же Петровна была тихая, застенчивая, очень худенькая, но сияющая улыбка не сходила с ее лица. Казалось, оба они знали какой-то удивительный секрет жизнерадостности, открыли для себя какой-то эликсир жизни и питались им потихоньку от всех. Имущество их было тоже удивительное. Оно состояло из микроскопов и чемодана с манускриптами профессора. Что же касается белья, одежды и обуви, то, очевидно, на них было надето все, что они имели. Во все четыре времени года они и одевались и выглядели одинаково, напоминая собой некоторые растения, живущие, по преимуществу, в пустынях, которые заняты чем-то своим, особенным и не дают себе труда цвести или менять цвет своих листьев.

Каждый микроскоп имел имя, и с ними обращались, как с коллегами по работе, дружески, но почтительно. Старший микроскоп был Анатоль, названный так в честь Анатоля Франса, который и помог профессору купить микроскоп с большой скидкой давно когда-то, в Париже; второй был Альберт — в честь Альберта Эйнштейна; третий был Ваничка. Этот последний являлся как бы любимым ребенком Черновых. Почему он назывался Ваничкой, Черновы никогда не сказали.

Профессор Чернов был известным ученым, и имя его знали все, кто занимался геологией. Но знания его и интересы не ограничивались одной этой наукой. Казалось, он знал все и обо всем. Согласно закону, что бескорыстное служение науке никак не вознаграждается, профессор был всю свою жизнь очень беден, а к старости впал в нищету. Но он как-то не имел времени этого заметить. К тому же была в этом отчасти и его собственная вина: подобно многим русским талантам, он вдруг усумнился в своем пути, отрекся от своих трудов и стал заниматься тем, к чему не имел настоящей способности. Так, профессор Чернов вдруг забросил геологию и поставил перед собою три новых цели: искоренение человеческих предрассудков и суеверий; создание универсальной религии поклонения Абсолютному; стремление убедить человечество, что на этой планете можно жить спокойно и счастливо — все это в восьми томах.

У него были странные умственные навыки и привычки: он думал всегда по-французски, говорил по-русски, читал преимущественно по-немецки, писал всегда по-английски. Он объяснял это принципом экономии времени, пространства, энергии. Английский язык дает значительную экономию в бумаге и чернилах. Немецкие книги сообщают наибольшее количество деталей по научным вопросам. Французский язык, как французское вино, подбадривает и оживляет мысль. Русский же — единственный язык, на котором стоит еще говорить. Говоря хорошо по-русски, можно убедить кого угодно в чем угодно.

Возможно, профессор был прав, но эти привычки все же замедляли работу. К тому же суеверий и предрассудков у человечества оказывалось огромное количество. Профессор восставал на каждый предрассудок и на каждое суеверие отдельно, изучал его корни, а потом вырывал с корнем. Все это требовало времени.

Пять лет жизни в Китае оказались недостаточными, чтобы собрать и изучить одну сотую часть китайских суеверий. А тут еще появилось сомнение: что, собственно говоря, нужно назвать суеверием? Этот опасный вопрос грозил подточить самый фундамент уже сделанной работы. Одновременно профессор работал и над Абсолютом, и это было куда проще, чем суеверия. Абсолют был источником жизни. Он был вечен, всезнающ, неизменный, самодовлеющий и духовный. Характеристика Абсолюта легко вставала перед глазами профессора, строилась просто и четко, но у него появлялось смутное чувство, что он знал этот Абсолют прежде, встречал когда-то и где-то, но позабыл. Механизм третьего пункта деятельности профессора, то есть стремление убедить человечество, что на земле можно всем жить мирно, спокойно и счастливо, находился и приводился в действие руками Анны Петровны. Шесть часов ежедневно она посвящала писанию писем (у них не было денег купить пишущую машинку). Они писала их очень старательно, мелким изящным почерком, а профессор только подписывал. Она же и относила их на почту, так как профессору нельзя было поручить такую ответственную работу. Письма писались всем, кто мог бы влиять на человечество, но преимущественно к молодежи, кому и принадлежит, собственно, будущее. Писали и Муссолини, которого профессор знал когда-то как

ничем не замечательного журналиста, писали и Гитлеру, умоляя его переменить взгляды на человечество, писали в Y.M.C.A.[1] и в организации бойскаутов, лидерам комсомола, отцам пустынникам, подвизающимся на горе Афоне в православных монастырях. Ответы приходили редко. Ни Гитлер, ни Муссолини не откликнулись на призыв профессора Чернова, но молодежь все же воодушевлялась иногда, соглашаясь быть заодно с Абсолютом. Особенно приятно было читать письма скаутов, они были "всегда готовы" на все хорошее. Армия Спасения ответила, что она и так уже делает все, что может.

Большая ценность прежних работ профессора по геологии давала ему возможность обращаться к ученым всего мира. Они обычно ему отвечали. Так, недавно он получил любезное письмо от сэра Давида Парсона. Они встречались когда-то и даже работали вместе в ученых обществах. Теперь же сэр Давид Парсон, продолжая заниматься геологией, сообщал, что, разделяя взгляды профессора, к сожалению, никак не может уделить времени ни на Абсолют, ни на суеверия. Очевидно, он не понял, в какой опасности находилось человечество и что геология могла бы и подождать. Итак, единственным конкретным результатом обращений профессора к человечеству были редко получаемые письма, всегда издалека и с редкой маркой, которая приносила радость детям-коллекционерам, топтавшимся около профессора.

Восемь томов были постоянной темой разговоров профессора. Но о главном затруднении жизни Черновы никогда не говорили: это были деньги. Они совсем не умели зарабатывать. И теперь у них было достаточно только на шесть месяцев самого жалкого, самого голодного существования, а дальше темная и страшная неизвестность подстерегала их. Анна Петровна давно уже не спала по ночам. Она лежала и думала, как ужасно они бедны и как одиноки. Бедны во всем: ни здоровья, ни имущества, ни детей, ни работы, ни поддержки, ни защиты. Совсем ничего. Жизнь угасала в обоих. Под этой энергией и внешней жизнерадостностью уже не было твердого основания. Дорога сужалась. Шла уже все прямо, к одному пункту — к смерти.

За себя она не боялась. Для себя ей ничего не было нужно. Анна Петровна жила для мужа. Он жил для своей воображаемой миссии. Его энтузиазм согревал обоих. Но только если остановиться на мгновение, только спустить это нервное напряжение — и конец. Конец, так как для Анны Петровны не было ни воскресения душ, ни вечной жизни. Она потеряла веру в Бога, потому что не смирилась с жестокостью жизни. Где Он был, когда ее единственный ребенок умирал голодною смертью? Зачем эта смерть была так мучительна? Нет, мы живем под властью слепых механических сил, и поэтому люди должны любить и жалеть друг друга! Но Христа Анна Петровна любила горячей любовью. Ей казалось, что она проникновенно понимала каждое Его слово. Эта готовность страдать за всех, за других! Какою угодно ценой, но спасти человечество! Ее не занимали ни догматы, ни церкви, ни даже самая личность Христа, но только Его Слово, только то, что Он сказал, чему учил. Она чувствовала в себе нечто родственное, теплый отклик на каждое Его слово. И она не могла пройти мимо человеческого страдания, она горела страстью помочь, что-то взять на себя, быть причастной ко всякому человеческому горю. Она отдавала последний грош, делилась последним ломтиком хлеба, обливалась горячими слезами при виде чужой боли. Ее не успокаивали научные объяснения бедности, законы необходимости, принципы экономии, статистики. Пусть ее помощь более чем ничтожна, пусть ее поведение смехотворно, она не могла никогда пройти равнодушно мимо протянутой, дрожащей руки нищего. И теперь, когда она была бессильна, чтоб помогать, когда уже совсем нечего было отдать, она ночью все думала о смерти, о том, что пришло время.

Черновы приехали в Тянцзин, потрясенные тем, что они видели при взятии Пекина. Но атмосфера дома № 11 сразу же согрела их. Как только они вошли в дом, они сделались не только жильцами, но членами Семьи. Их сейчас же пригласили поужинать. Бабушка тонкими ломтиками аккуратно резала хлеб, Мать разливала жиденький чай, и интереснейшая беседа оживляла всех. Беседа шла по-русски, то есть говорили на общие и возвышенные темы, принципиально, никогда не снисходя до того, чтоб заняться вопросами и заботами настоящего дня. Говорил главным образом профессор.

Так, и в данном случае говорилось не о том, что они все беззащитны, больны и стары, что нет денег и, возможно, грозит всем голодная смерть или разные другие ужасы, нет, спорили о том, является ли война неизбежным фактором человеческой жизни, как борьба за существование в природе. И профессор обещал, что в будущем уже не будет войны, а только счастливое существование. Тут Дима прервал профессора:

— Пожалуйста, оставьте еще немного войну, я хочу сражаться.

Миссис Парриш, удивляясь, что ее так надолго оставили одну, решила спуститься вниз. Она была нетверда на ногах и знала это. Увидя в столовой незнакомых, она перешла в другую крайность и, хотя с усилием, вступила в комнату, продвигаясь по прямой линии и с гордо поднятой головой. Черновы и миссис Парриш были взаимно представлены. Разговор перешел на английский язык. С широко раскрытыми глазами внимала миссис Парриш профессору, не все понимая, но очаровываясь. "Если он пьет так, как он говорит..." — думала она и, воспользовавшись паузой, предложила виски-сода, чтоб отпраздновать новоселье. Оказалось, что Черновы совсем не пьют и никогда не пили алкогольных напитков. Миссис Парриш даже рассердилась:

— Никто не пьет в этом доме. — И она ругнулась по-английски.

Мать нахмурилась, Лида хихикнула. Петя встал и сделал шаг по направлению к англичанке. Но профессор, смекнув, мигом спас положение.

— С точки зрения филологической и того, что мы называем морфемой, и ныне модной семантики — наилучшего выражения в бранных словах достигли английские матросы торгового флота. Очевидно, посещая все, даже отдаленнейшие углы света,

[1] Христианская ассоциация молодых людей.

они изучили их с лингвистической пользой для себя. Главное, что поражает, это необычайная краткость самых сильных их выражений. В присутствии дам, — он сделал общий поклон дамам, — мы не станем углублять тему. Но эта область словесного творчества ждет своего историка и своего поэта.

— Не указывает ли развитие такой поэзии на особо грубые чувства? — спросил Петя, желая все же как-то осадить миссис Парриш.

— О нет, — протестовал профессор, — в японском языке, например, нет совсем бранных слов, а посмотрите на их чувства!

Вошел мистер Сун и попросил разрешения присоединиться к обществу в столовой. И он получил чашечку чая и пил с аппетитом, потому что профессор блестяще доказывал скорое банкротство японской политики и печальный конец ее агрессии.

— Как у вас тут хорошо и весело, — сказала миссис Парриш, — не хочется никуда уезжать.

Напоминание о ее скором отъезде вдруг заставило встрепенуться Диму, и он обратился к профессору с вопросом о том, могут ли собаки, например бульдоги, сделаться вегетарианцами, как, например, Бабушка. Профессор ответил, что могут, но только постепенно, через несколько поколений. "В чем мы — животные — нуждаемся?" — спрашивал профессор. Оказывалось, мы нуждаемся не в мясе или там масле, а в витаминах. Надо только найти их неиссякаемый и дешевый (хорошо бы бесплатный) источник — и человечество освободится от главнейшей своей заботы. Не будет войн. А в лесах и в пустынях будут миролюбиво и в дружбе пребывать ныне еще кровожадные звери. Он нарисовал очаровательную картину семьи бенгальских тигров, живущих исключительно травкой, и тигрицу, приносящую своему малютке как лакомство две-три весенних фиалки.

Миссис Парриш смеялась до слез. Она пробовала спорить с оратором, но он разбивал ее аргументы при самом их появлении, и она крикнула:

— Не верю, но сдаюсь. Больше не возражаю.

Даже Кан, который как-то порхал в отдалении с того момента, как Петя вернулся домой, маячил теперь в столовой, и его круглое лицо, как луна, всходило то здесь, то там в полуосвещенной комнате. Он тоже издавал какие-то звуки — не то протеста, не то одобрения, когда профессор вернулся к теме о войне. Единственным существом, не произнесшим ни звука и не подпавшим под очарование профессора Чернова, была Собака.

И этот мирный вечер в Семье успокоил все сердца, уврачевал раны. Опять казалось, что можно жить и что завтрашний день, несомненно, будет легче, счастливее предыдущих.

Наступила ночь. Половина обитателей дома № 11 уже спала. Профессор и Петя сидели в саду. Петя жадно слушал речи профессора, и перед ним раскрывались новые горизонты: жизнь свободной, независимой мысли, со всем ее величием, отчаянием и красотой.

Внутри обычной жизни открывалась возможность еще одной жизни, и, казалось, вполне не зависящей от внешних обстоятельств. Петя как-то вдруг понял Бабушку. Слушая профессора, он как бы твердой ногой стал на новое и твердое основание после зашатавшейся было под ним земли. Даже лицо его посветлело. Он впервые вздохнул свободно за все эти последние дни. Всходила луна. Из соседнего сада, как их в Семье называли, "счастливых людей" доносился нежный аромат цветов. "Цветут никотины", — в скобках заметил профессор, говоря, собственно, о смерти Сократа. Петя не слыхал еще о смерти Сократа и, слушая, восторгался мучительно и сладко. И голос Бабушки, доносясь из комнаты миссис Парриш, звучал для Пети по-новому, открывая какие-то сокровища человеческой души. Она говорила:

— И увидев, что у Тани начинается цинга, наш тюремщик, солдат-большевик, стал жалеть ее. Но прямо он не хотел выразить этого, потому что я и Таня были "врагами народа". Он принес чесноку и кислой капусты и крикнул: "Ешь!" Она боялась и отказывалась. Тогда он сделал страшное лицо, приставил револьвер к ее голове и крикнул: "Ешь, а то я убью тебя!"

— Кан, — доносился из кухни голос Матери, — надо развесить эти тряпки. Они высохнут за ночь.

"Боже мой! Как прекрасна жизнь!" — подумал Петя.

16

Следующий день был днем триумфа Лиды: она выиграла первенство T.A.S.A.[1] в плавании и получила приз, чайный сервиз на шесть персон и шесть серебряных чайных ложек. Но кто же помог ей унести приз домой? Тот самый американский мальчик! Он подошел, представился, поздравил Лиду и предложил свою помощь. И всю дорогу до ее дома они шли вместе. Разговаривали мало, но о чем тут было говорить! И как накануне Петя, Лида мысленно восклицала:

"Боже мой! Как прекрасна жизнь!"

Лида не была избалована ни друзьями, ни подарками. Как и Петя, она была одинока. Английские девочки, плававшие в одном с ней пруду, были так же далеки, как и Петины футбольные товарищи. Они не приглашали Лиду к себе, и Лида не решалась пригласить их в № 11, так как никогда английская девочка в Китае не войдет в русский дом. Почему? Лида чистосердечно думала, что это ее собственная вина. Те девочки были счастливее и лучше. Они так прекрасно были одеты. У них всегда было свободное время, друзья, деньги. Они устраивали прогулки в автомобилях и верхом, пикники, балы, пьесы. У них были свои клубы. Они все путешествовали много, и всегда первым классом. Что им Лида? Что она могла показать им, чем угостить в пансионе № 11? Их матери были веселы, нарядны, красивы и молоды. Их отцы были богаты. Зачем им еще Лида? Кто виноват, что она русская и у ней была революция, а они — англичане и у них революции не было?

Так смиренно Лида принимала свое унизительное общественное положение, не обижаясь и никого ни в чем не обвиняя.

И вот, и совсем неожиданно (Бабушка в таких случаях говорила: "Не из тучи гром"), идет с ней

[1] Вероятно, Спортивная ассоциация территориальной армии.

этот мальчик и, если уши не обманывают ее, приглашает ее в кинематограф. Он добавил: "по воскресеньям". "У него столько денег!" — думала Лида в радостном удивлении. До сих пор она бывала в кино только на бесплатных картинах, раз в год, для детей бедняков, на Рождество. Да, профессор прав, мир устроен разумно, и Абсолют за всем присматривает.

Лида с трудом сохраняла самообладание. Все было правда. Джим шел рядом, нес большую коробку с призом и говорил эти чудесные слова. Уж пришли, но он не спешит прощаться. Он настаивает на том, чтобы самому внести коробку в дом №11.

Все реально, все правда. Они вошли в дом. Она познакомила Джима с Бабушкой, с Матерью, с Димой. И Джим улыбался и говорил, что очень рад всех видеть. Бабушка предложила выпить чайку из нового сервиза. Лида кинулась и поцеловала Бабушку за это. Гость принял приглашение и сказал, что очень любит чай. Черновы спустились в столовую и также приняли приглашение отпраздновать чаем Лидины триумфы. Дима уронил одну из новых чашек, она разбилась. Лида вдруг разрыдалась, и Дима тоже громко заплакал. Джим кинулся к Лиде и сказал, что знает магазин, где можно купить точно такую чашечку, и их опять будет шесть, и что завтра же, если ему разрешит Лида, он придет и принесет новую чашечку. Лида сразу успокоилась и поцеловала Диму. Собака, не любившая человеческой непоследовательности в чувствах, медленно покинула комнату.

Вдруг наступила минута покоя, и Лида неожиданно громко заявила, что она не знала раньше, какие хорошие люди американцы, и что они куда лучше англичан. Профессор сейчас же и объяснил, что причина этого — демократическое воспитание. Обращаясь исключительно к Джиму, он полушепотом сообщил свои опасения, что стали шаткими прекрасные традиции Америки, и просил его восстановить их в первоначальной силе и возможно скорее. Джим чистосердечно признался, что ничто подобное не приходило ему в голову, но на горячие просьбы профессора обещал обо всем этом серьезно подумать.

Затем, за четвертой чашечкой чаю, профессор объяснил всей компании теорию определения длительности времени. Чем дольше живет человек, тем короче его дни. Один и тот же день в четыре раза длиннее для Димы, чем для Матери. По его словам, измеряя жизнь этим мерилом полученных впечатлений, Лида, например, и Джим уже прожили половину своей жизни. На это они оба ахнули и переглянулись.

Даже Дима понял что-то, потому что он спросил:

— А как наша бедная Бабушка успевает жить с нами, если у ней такой маленький день?

И вдруг все почувствовали, что очень устали. Чай был закончен. Все разошлись.

Подумав о чем-то, Лида поднялась к миссис Парриш.

— Миссис Парриш, нет ли у вас немного пудры?

— Была где-то когда-то, но сейчас уже не найти.

День, как обычно, закончился приготовлением постелей. Счастливо улыбаясь, Лида засыпала на шести стульях. Постель была уже для нее коротка, но восьми стульев у Семьи не было. Не важно. Засыпая, она видела, как блестели ее чайные ложечки на буфете, как белели новые белые туфли. Это были ее собственные вещи. Лицо Джима улыбалось, и звучали слова: "кинематограф... по воскресеньям".

— Нет, если такие случаются дни в жизни, стоит жить!

Она заснула и сейчас же увидела прекрасный сон. Она шла по поляне, покрытой травой и цветами. Над нею сияло веселое утреннее солнце. Роса сверкала на листьях, на лепестках цветов. Она шла одна. Она шла и пела, легко и радостно, как соловей, сама радуясь своему пению. Потом она поднялась от земли и шла уже по воздуху, все выше и выше, все легче — к сияющей голубизне неба. Прохладные перламутровые облака тоже шли или плыли с ней вместе, далеко от земли, по направлению к солнцу.

Мать спала на полу, на матрасе, и в это же время видела просто кошмар. Перед тем как заснуть, ее последней мыслью был каменный уголь. Цены на уголь поднялись страшно. Подходило время делать запасы на зиму. Подвал был пуст. Ни денег не было, ни угля. И вот во сне она увидела себя стоящей посреди огромной равнины. Почвой ее был уголь. И больше не было нигде ничего — ни неба, ни солнца, ни света, — все уголь. Он лежал, черный и страшный, где ровно, где холмиками. От него исходило какое-то зловещее мерцание, и оно одно освещало — тускло и скупо — равнину. Мать украдкою оглянулась и, убедившись, что она совсем одна, стала торопливо собирать уголь. "Наберу немножко на зиму", — шептала она, и ей было страшно. В руках у ней оказался грубый мешок, каким покрываются рикши, и туда она складывала собранный уголь. Кусочки поменьше она собирала в карманы. И все время в страхе она оглядывалась по сторонам, потому что знала, что уголь — чужой и она крадет его. Она торопилась. Она знала, что может быть поймана кем-то и кем-то наказана. Но ей хотелось набрать побольше. "Еще кусочек, — шептала она, — вот этот и этот, и нам хватит на зиму". И она все нагибалась за углем и все собирала, задыхаясь от поспешности и от страха.

Бабушка проводила бессонную ночь. Она старалась освоиться с фактом, что профессор Чернов — атеист. Возможно, и не совсем атеист, но уж никак и не преданный сын Православной Церкви. Не сказал ли он ей, и с улыбкой, об одном святом, отдавшем жизнь за обличение людских пороков и которого Бабушка особенно чтила: "Возможно, он был святым, но он не был джентльменом". Прекрасные качества профессорского Абсолюта были ей ни к чему. Нечему радоваться! При всех удивительных качествах ума и сердца, профессор мог оказать даже гибельное влияние на Семью. А с другой стороны — отказать Черновым, куда они пойдут? Утомленные, одинокие, старые. Вопрос был трудный. Бабушка начала молиться. Но она не могла молиться, лежа в постели. Тихонько, чтобы не поднять шума, она встала с дивана, прошла мимо спящей на стульях Лиды к иконе и опустилась на колени.

— Владычица, Взыскующая погибших, к Тебе прибегаю за советом и помощью. Всего мы лишены, всех житейских благ, на то Его Святая воля, не ропщем. Но сохрани нас от духовного падения, от

ожесточения сердца, от безбожной мысли — не допускай, Владычица, не допускай!

И вдруг профессор сделался ей совсем не страшен. Она встала с колен успокоенная, улыбаясь. "Профессор... славный, забавный такой старикан! Да от него ли учиться худу? Мало ли в мире других людей и зрелищ!" Судьба Черновых решилась: они остались в Семье.

И профессор в эту ночь не спал. Он сидел за столом и составлял письмо. Это было еще одно обращение к Гитлеру. Утром Анна Петровна переведет его с английского на немецкий и итальянский и последнюю копию пошлет Муссолини. Он писал сосредоточенно и старательно:

"Друг мой, не умножайте человеческих страданий! Не призывайте к войне. Вы никого не сделаете счастливее. Подумайте и о себе: "Взявший меч от меча погибнет". Посмотрите, сколько на свете прекрасной мирной работы, дающей душевный покой желающему. Присоединитесь к миротворцам. Я обращаюсь к Вам как член человеческой семьи: "Воин! Дайте нам отдых. Вы довольно уже воевали".

17

Наконец появился и мистер Стоун, брат миссис Парриш.

Это был небольшой господин, на вид до того утомленный, что жизнь, казалось, была для него непосильной. Его пальто было слишком для него тяжелым и длинным, шляпа слишком высока. Очки закрывали почти все его лицо. Он шел медленно, усталым, запинающимся шагом и, когда говорил, задыхался.

Семья впервые видела усталого англичанина, и он казался ей не англичанином вовсе, а самозванцем. Казалось невероятным, что человек, имеющий подданство, паспорт и деньги, сын страны, владеющей полумиром, вдруг может сделаться таким печальным и усталым. Чего еще он мог хотеть? Чего еще ему недоставало?

Он появился в неудачный для Семьи момент. После бессонной ночи Бабушка плохо играла в карты. Миссис Парриш выиграла несколько раз и каждый раз выпивала свою награду. Она была возбуждена успехом. Приезд брата прервал игру, и с первого же слова они стали ссориться. Точнее сказать, ссорилась только миссис Парриш. Мистер Стоун терпеливо и устало выжидал пауз, когда она умолкала в изнеможении, и тогда он повторял неизменную одну и ту же фразу, что она должна немедленно переехать в отель, а затем вместе с ним ехать в Англию. После нескольких часов такой беседы миссис Парриш наконец согласилась немедленно переехать в отель.

Отъезд ее был поспешным и сумбурным. Она взяла только один чемодан, обещая вскоре прислать слугу из отеля за остальными вещами. Она была как-то потрясена разлукой с Семьей, целовала Бабушку, чему-то смеялась, отчего-то плакала. В прихожей она взяла пальто Анны Петровны и большой синий зонтик мистера Суна и уверяла, что эти вещи принадлежали ей. У самого автомобиля она вдруг стала кричать, что нашла выход: пусть вся Семья сейчас же едет с ней, и они все вместе будут жить в отеле. Мистер Стоун, очевидно, не подозревал, как далеко зашла "болезнь" сестры. Он был совершенно подавлен беспокойными часами, проведенными в ее комнате, и казалось, что конец его близок. Все же он нашел силы втолкнуть ее в угол автомобиля — когда она стала приглашать всех в отель, — захлопнуть дверцу и крикнуть шоферу, чтобы он поскорее отъехал от пансиона № 11. За все это время он только раз обратился к членам Семьи. У самого же автомобиля он глянул в сторону, где стояли Мать, Бабушка, Лида и Дима, и сказал кратко, чтобы счет послали на его имя в отель. Он не добавил ни "спасибо", ни "до свидания", как не сказал и "здравствуйте" при своем появлении. Все, кто мог, принимали участие в проводах миссис Парриш. Профессор Чернов галантно держал открытой дверцу автомобиля и так стоял, вероятно, минут десять. Мистер Сун старался получить свой зонтик и, получив, кланялся и выражал твердую уверенность, что благоденствие и радость будут постоянными спутниками жизни отъезжавших. Японцы здесь и там поднимали упавшие и уроненные вещи и подавали их кому попало с поклоном и вопросом о здоровье. Кан крутился около мистера Стоуна, смахивая с него пыль и стараясь получить на чай. Анна Петровна прижимала к груди отвоеванное пальто, и на лице ее сияла кроткая улыбка. Лида, не уступая никаким приказаниям миссис Парриш, отказывалась спеть дуэтом на прощание. Дима с испуганными круглыми глазами особенно старательно помогал миссис Парриш поскорее уехать, он даже тихонько подталкивал ее сзади. Пети не было дома.

Когда отбыл автомобиль с кричащей миссис Парриш внутри, все провожавшие шатались от усталости и у всех была жажда. Чей-то слабый голос произнес: "Чай". Именно в эту минуту почтальон принес доплатное письмо от мадам Милицы. Нужны были 20 сентов. При слове "деньги" японцы исчезли, не спросив о здоровье. Только у мистера Суна можно было подозревать наличные 20 сентов. К нему и обратилась с просьбой Бабушка. Мистер Сун с поклоном вручил их Бабушке. Письмо было получено. Все были приглашены пить чай, и началось чтение письма мадам Милицы.

Письмо было из Гонконга. Казалось, судьба оставила в стороне все другое и сосредоточила весь свой интерес на Милице и ее путешествии. Пароход перенес необычайный тайфун. Он не мог войти в гавань. По словам присутствовавших, это был величайший тайфун за целое столетие. Мадам Милица была единственным пассажиром, не ожидавшим смерти. Вышли вся пища и вся вода для путешествующих третьим классом. Наконец пароход все же вошел в гавань. Тут оказалось, что в городе совершенно не было места для пассажиров. В китайском городе свирепствовала холера. Власти Гонконга запретили всем русским — и белым и красным — сходить на землю. Решено было отвезти их обратно в Шанхай. Но поскольку в Шанхае шла война и пароход туда не шел, власти парохода секретно выпустили русских на берег, и пароход отчалил. И здесь мадам Милица нашла клиента. Это была русская девушка, молодая, одинокая, бедная. И карты показали, что ее ждет богатство, почет и слава, что она выйдет замуж за очень пожилого джентльмена, имеющего очень высокое положение в обществе. У ней будет шесть человек прекрасных детей.

Плача от радости, девушка уплатила мадам Милице пятьдесят гонконговских центов. Следовало получить доллар, но у девушки не было доллара. Мадам

же Милица сообщает о факте недополучения гонорара без упрека. Великодушие человека и заключается в том, чтобы время от времени погадать ближнему подешевле или и совсем даром.

Что же касается личной судьбы мадам Милицы, то, согласно картам, ее следующее письмо придет уже из другого города. Она шлет всем поклон и просит вспоминать ее как преданного друга Семьи.

Письмо читал вслух профессор Чернов. Он выказал необычайную способность понимать, что писала Милица. Часто требуются обширные знания, чтобы понять невежество, и глубокая мудрость всегда имеет что-то общее с детской наивностью. Если Милица часто и не подозревала, из какого языка она заимствовала то или другое слово, профессор, как лингвист, сейчас же устанавливал его происхождение и значение. Если в своих рассуждениях она опускала знаки препинания, а в доказательстве — главный довод, профессор угадывал его. Письмо мадам Милицы произвело наибольшее впечатление именно на профессора.

С отъездом миссис Парриш дом № 11 потерял половину своего голоса. Он затих. Бабушка поспешно занялась давно замышляемой работой. Как-то раз миссис Парриш отдала ей несколько мотков страшно спутанной шерсти для вязания. С неиссякаемым терпением Бабушка аккуратно размотала всю шерсть в клубочки. Получился фунт с четвертью, а может быть, и полтора фунта, прекрасной английской шерсти для вязания, — не какой-нибудь японской, которая садится и теряет цвет после первой же стирки; не китайской, колючей и грубой, — нет, это был лучший сорт чистой английской шерсти благородного темно-синего цвета. Какое богатство! Бабушка предвкушала долгие и спокойные часы вязания. Монотонные движения рук и сидение на месте всегда как-то успокаивали ее, помогали продумать все, что ее тревожило в то время. Сейчас Бабушка нуждалась в этом. Ее душа была полна смущения: как все неудачно сложилось в день отъезда миссис Парриш! Какое зрелище представилось мистеру Стоуну, когда в сопровождении Кана он вошел в комнату! Миссис Парриш, растрепанная, красная лицом, была сильно навеселе. На столе в беспорядке валялись карты и стояла бутылка виски. За выигрыш Бабушка наливала ей стаканчик. Она — старая женщина — в такой обстановке! Что подумал, и имел право подумать, мистер Стоун о ней, о Семье и вообще о пансионе № 11. И не было возможности все это объяснить — и почему играли в карты, и почему именно она наливала виски. Мистер Стоун ничего и не спрашивал. Он ни разу не обратился ни одним словом к Бабушке. После первого взгляда, по хорошей английской манере, он уже не замечал безобразия. Оно перестало существовать для мистера Стоуна, не допускалось в поле его зрения. Для Бабушки, любившей во всем благообразие, происшедшее в тот день было тяжким унижением. Она хотела продумать все снова за вязанием, смириться и успокоиться, надеясь, что когда-то и где-то миссис Парриш сама объяснит брату истинное положение вещей, если, конечно, он станет слушать.

Вид клубков шерсти успокаивал ее. Темно-синяя! Почти полтора фунта! Но что начать, как использовать это неожиданное богатство? Если связать кофточку для Лиды, останется на безрукавку для Димы. Она уже видела Лиду в белых туфлях, в новом платье, и сверху — благородная синяя кофточка; а рядом шел Дима в безрукавке. Какой хороший тон! Двое детей семьи одеты одинаково. Так бывает только в богатых семьях. А с другой стороны, вышел бы хороший светр[1] для Пети. Петя высокий, красивый, а в чем он ходит в свой футбольный клуб? И какой богатый цвет для блондина! Но Таня, Таня! Сколько лет она не имела ни одной новой вещи! В чем она ходит! Она купила себе чьи-то обноски на Rummage Sale американского клуба, всего на доллар — и это было три года тому назад. Зимой как она дрожит, когда приходит с базара! Но вот и еще двое сирот, Черновы! Вот это бедность! Все, что на них, было куплено в Германии — подумать только! — до мировой войны! Этот его жилет, которым он гордится, и шляпа. А Анна Петровна? У ней просто странное платье, как будто бы сделанное из мха. Мох этот как будто даже растет и завивается на ней. Приехав, она его выстирала и ходила в пальто, пока оно сохло. Пожилая, образованная дама, а у ней единственное платье! Нет, недопустимо! — и, отсчитав 84 петли, Бабушка начала светр для Анны Петровны. Она вязала — две направо, две налево, накид — и старалась оправдать логически, практическим доводом, движение своего сердца.

"Что ж, профессор начал уроки с Димой. Он предполагает учить Лиду, Он развивает и Петин ум. Все это даром. Мало ли что он говорит, будто учить — его первое удовольствие. Что мы сделали для них? А светр будет роскошный. И фасон такой общий, что при случае и профессор наденет. Две направо, две налево, накид".

— Да, о чем это я хотела подумать? — спросила себя Бабушка и вдруг почувствовала, что никакого беспокойства на душе у нее уже нет. Что же касается мистера Стоуна, пусть думает о ней что хочет.

И она сидела спокойно, отдыхая душой и наслаждаясь вязанием.

Но вскоре какие-то осторожные звуки, как бы глубокие вздохи, отвлекли ее внимание. Это был Кан. Он, очевидно, собирался мыть именно то окно, у которого сидела Бабушка. Всякий раз, когда Кан начинал какую-либо работу по собственной инициативе, за его усердием скрывался тонкий практический расчет.

— Что тебе нужно? — задала Бабушка прямой вопрос.

— Хочу знать ваше благосклонное мнение. Собираюсь жениться.

— Жениться? Как? Ведь ты же женат!

— Это дело прошлое. Давно было.

— Но у тебя же есть жена и дети.

— Один мальчик, две девочки.

— Чего же тебе еще?

— Хочу вторую жену. — Кан оставил ведро и, сделав шаг к Бабушке, заговорил вкрадчиво. — Невесты очень подешевели. Очень. Война. Пищи

[1] Светр — свитер (*англ.*). Вариант произношения.

нету, жилища нету... Невеста дешево. Лучшего времени жениться не будет.

— Две жены в доме? Какой стыд!

— Нет, миссис, по-китайски две жены — хорошо. Три — лучше. Четыре — самый богатый фасон.

— Четыре! — воскликнула в негодовании Бабушка.

Кан сделал еще шаг и заговорил умиротворяюще:

— Четыре жены хорошо, потому что Север, Восток, Запад и Юг. Очень старый закон.

— Кан, это плохо. Я читаю книги и знаю, хороший китаец в настоящее время имеет только одну жену.

— Миссис, — Кан пустил в ход самые убедительные интонации голоса, — до этой войны за хорошую невесту — городское воспитание — вы бы заплатили ее почтенным родителям сто серебряных долларов. И еще трехдневное угощение всем родственникам и друзьям семьи. Музыка для всей улицы. И невеста сказала бы: теплое пальто с меховым воротником, золотое кольцо и серьги, часы на руку — городское воспитание. После войны: почтенные родители — шестьдесят серебряных долларов, совсем мало осталось в живых почтенных родственников, музыканты теперь совсем дешево. Невеста — пальто без мехового воротника, серебряное кольцо и серьги и без часов. Видите?

— Ничего не вижу. Ты спросил совета, я говорю: "Нет!" Шестьдесят долларов истрать на свою старую жену и ей купи пальто.

— Мое семейство — деревенский народ. Очень простые люди. Моя жена только и умеет работать то в фанзе, то на поле. Я — городской джентльмен уже давно. Городское воспитание. Я хожу в театр. Хочу купить хорошенькую вторую жену, сидеть около меня в театре.

— Что же, твоя первая жена не могла бы сидеть в театре?

— Не умеет. Деревенское воспитание. Боится. И она некрасивая. Потом, у ней много работы. Некогда ходить в театр.

— Вот что я тебе скажу, Кан. Мой совет: возьми свою жену и детей сюда в город. И живите согласно и мирно. И не упоминай больше о второй жене.

— Но это так дешево, миссис. Она сказала, что вышла бы за меня и без серебряного кольца и сережек, но боится, ее сестры станут смеяться над ней. У них были золотые кольца и сережки. Городское воспитание. Без серебра она потеряет лицо. Семья ее будет унижена, сестры станут смеяться.

— Кан; я — старая женщина. Слушай моего совета. Не хочешь, спроси своих, кто постарше. Живы ли твои родители?

— Только достопочтенная матушка.

— Спроси ее совета.

— Письма идут долго. Война. А цены тем временем могут подняться. Опасно.

— Если ты решил, зачем ты меня спрашиваешь?

— Миссис... кладовка около подвала пуста. Вторая жена жила бы в ней. И вторая жена кушает очень мало...

— Довольно! — сказала Бабушка и даже отложила вязанье. — Последнее слово: отдам кладовку первой жене; второй — нет кладовки. Не согласен — уходи. Получим деньги с брата миссис Парриш и сейчас же тебя рассчитаем. Понял?

Кан как будто передумал мыть окна. Он взял ведро, тряпки и ушел.

18

С приездом Черновых дом № 11 зажил интенсивной умственной жизнью. Все начали чему-нибудь учиться. Но Дима, как проявивший наибольший энтузиазм, сделался любимым учеником профессора. Этому ребенку он отдавал все свое свободное время. С того момента, как Дима впервые взглянул в микроскоп, он стал интеллектуальным рабом профессора. Он смотрел в микроскоп на все: волос Собаки, засохший лист, кусочек червяка, кусочек собственной кожи, каплю воды, крупицу земли. И на каждый вопрос он имел обстоятельный ответ от своего учителя.

Все сделалось объектом научного анализа и эксперимента. Как-то раз Анна Петровна купила курочку, чтобы сварить суп. Но профессор тотчас же завладел покупкой и дал Диме блестящий урок анатомии. Дима вооружился Петиным перочинным ножом и тоже научно работал. Анна Петровна терпеливо ожидала своей очереди заняться курицей. Ей очень хотелось супа. Она долго колебалась перед тем, как решиться на подобную трату. Как давно они не видели супа! Куриный бульон будет лучшим лекарством для старых и отощавших желудков. Он смягчит все внутри, напитает, согреет.

Наконец она получила курицу, разрезанную по всем правилам аутопсии, которые — увы! — не совпадают с правилами кулинарного подхода к птице, предназначенной для бульона. Но куриная голова и внутренности ей не были выданы. Они хранились на льду для следующего урока.

Жизнь, бывшая раньше для Димы только поверхностным процессом, стала раскрываться вглубь. В нем проснулась жажда знания. Он жил теперь в постоянном удивлении и восторге перед раскрывающимся на его глазах новым миром.

И Петя также стал прилежным учеником профессора. Поздние вечерние часы они проводили в оживленной беседе. Впрочем, говорил учитель, ученик же лишь время от времени задавал вопросы.

Перед умственным взором Пети разрушалось обычное представление о времени и о пространстве. Они провозглашались единым в Абсолюте. Человечество стояло перед величайшим открытием — научным доказательством духовного бессмертия. В какой форме? Это — не важно. Форма — это жалкая человеческая попытка остановить вечное движение, отделить что-то от неделимого, уловить и зажать в кулаке неуловимое, заковать в цепи невещественное. Забудем о форме! Уйдем мыслью в то, что все мы бессмертны. Поняв это, мы свободны от страха. Мы отбрасываем наши ложные идеи, основанные на ошибочном определении мира как лишь материального, управляемого механическими законами, как думает, например, Анна Петровна. Человечество попало в ловушку своих собственных ошибочных идей. Ловушка захлопнулась. Человек задыхается в ней, бьется, теряет разум. Давайте выпустим человечество на волю! Пусть оно дышит радостно в знании о бессмертии. Люди будут любить друг друга, потому что идея бессмертия необходима для любви, она же исключа-

ет ненависть. Вы понимаете, Петя, как и откуда надо вести борьбу со злом в человечестве?

Если Анна Петровна была поблизости, она никогда ни одним словом не вмешивалась в такие беседы. Она только слегка вздрагивала при особо восторженных восклицаниях профессора, как будто бы ей было холодно от его идеи бессмертия. Неужели опять — холод, пространство, движение? Она надеялась наконец на отдых и покой: умереть — так совсем, совсем умереть. Навсегда и окончательно.

Энтузиазм профессора наполнял весь пансион № 11. Его хватало на всех. Какой-то интеллектуальный восторг сделался атмосферой дома. Никто не собирался умирать. Все чему-нибудь учились. Даже японцы были потрясены, когда убедились, что профессор знает санскрит, так как он быстро и правильно перевел им текст о Будде. Кан завел тетрадь и тщательно вписывал наименования каких-то товаров на тех восьми европейских языках, на которых говорили иностранцы в Тянцзине. Лида уже знала и происхождение и историю всех музыкальных инструментов. Бабушка сверила даты Вселенских соборов. Мать узнала все о развитии вкусовых ощущений у человечества.

Чай и ужин Семья и Черновы имели вместе, и издержки так спутались, что уже нельзя было понять, чье — чье и кто кого кормит. Так как наличных денег ни у кого не было и пища добывалась в долг, — то и расчеты были отложены до момента, когда станут платить долги на базаре.

Дом наполнялся книгами. Профессор получал отовсюду разрешения пользоваться библиотеками. Казалось, Черновы не могли переносить вида неграмотного человека, и Анна Петровна уже учила английскому языку каких-то трех китайских мальчиков, сыновей чьего-то повара. Конечно, все это делалось совершенно бесплатно. Все были заняты, и все же профессор сумел установить еще час ежедневного вечернего чтения вслух и читал обыкновенно сам. У него была редкая способность найти нужную ему книгу. Все в доме имели книги по интересовавшим их вопросам, и Анна Петровна следила, чтобы книги возвращались в библиотеки вовремя. Черновы никогда не платили штрафа. С нетерпением ожидалось появление Анны Петровны из библиотек с запасом нового чтения. Короче говоря, все они вместе уже превратились в то, что называется "русской интеллигенцией". Более того, "интеллигенция" становилась уже интернациональной, так как мистер Сун, хотя и не говорил ничего, всегда присутствовал и внимательно слушал. Японцы же не слушали, но при всяком удобном случае о чем-либо спрашивали. И тут же вертелся Кан, подбирая крошки мудрости.

Разговор с мистером Суном профессору никогда не удавался, он переходил в монолог. Этот китайский профессор со всем соглашался, не произнеся ни слова, одним наклонением головы. Может быть, он и не соглашался даже, а просто наклонял голову. Он выглядел странно, этот мистер Сун. Одетый всегда в безукоризненный европейский костюм, в больших темных очках, он казался как бы сидящим в западне — за костюмом и очками. Казалось, он принимал даже тот цвет — и он, и очки, и костюм, — который доминировал в комнате. Он сливался с атмосферой и с обстановкой. Трудно представить, чтобы он на кого-либо когда-либо нападал или с кем боролся или воевал, и все же его мирное появление и присутствие создавали глухое чувство настороженности. Сразу же за ним появлялись два-три японца, то есть появлялись так: сколько их было в данный момент дома минус один. Эту странность заметил профессор и тут же громко всем сообщил свое наблюдение, чему японцы очень смеялись, объясняя, что их товарищ спит, так как у него плохое здоровье. Этот "спящий" товарищ всегда был иное лицо, так что казалось, что японцы спят по очереди. Войдя, они кланялись, спрашивали о здоровье, крутились по комнате, задавали вопросы, просили профессора записать для них ответ, от чего последний всегда отказывался. Они не замечали совсем мистера Суна, уже слившегося в одно с обстановкой.

Дима уходил первый. Бабушка сопровождала его в незанятую жильцами комнату, где он спал. Помолившись вместе, уложив его, впустив Собаку, выходившую перед сном на минутку в сад, Бабушка усаживалась у постели с вязаньем. Она гасила лампу и из экономии вязала в темноте. Это был поздний вечерний час ее внутренней молитвы и размышлений.

19

Как-то вечером странная сцена произошла в пансионе № 11.

В доме было тихо. И столовая и прихожая были пусты. Вдруг дверь комнаты мистера Суна отворилась, и он вышел в переднюю. Убедившись, что там нет никого, он сделал знак кому-то в комнате, и высокая стройная китаянка появилась на пороге. Она была одета в простое темное китайское платье и, хотя очень молодая, выглядела печальной и строгой. Бесшумно она скользила к выходной двери и уже была у порога, как вдруг дверь широко распахнулась снаружи, и профессор Чернов вошел в переднюю. Увидев китайскую леди, он было галантно отступил в сторону, чтобы дать ей дорогу, но вдруг лицо его озарилось широкой улыбкой.

— О миссис Ван! — воскликнул он. — Какая встреча! Приятнейшая неожиданность!

В прихожей было почти темно. Китаянка посмотрела на профессора быстрым неприветливым взглядом и не ответила на поклон.

— Помилуйте, миссис Ван! Вы не можете не помнить меня! — настаивал профессор. — Мы вместе бежали из Пекина!

Китаянка потрясла головой, как бы давая понять, что она не говорит по-английски. Профессор был обижен. Старательно вспоминая слова (он мало знал по-китайски), он пытался еще раз объяснить, где и как они встретились. Но мистер Сун уже открыл выходную дверь, китаянка вышла, за ней мистер Сун, и профессор закончил свою вежливую фразу уже перед закрытой дверью. Он был оскорблен. Но мысли его приняли другое течение, и он забыл о происшествии.

Он вспомнил о нем на следующий вечер, когда семья и Черновы собрались к чаю, который считался за ужин.

— Аня, — вскричал вдруг профессор, — ты помнишь миссис Ван, с которой мы ехали из Пекина?

— Да, конечно, я ее помню.

— Вчера вечером она была здесь у мистера Суна и не ответила ни на мое приветствие, ни на поклон.

— Это на нее не похоже. Она казалась хорошо воспитанной и приветливой.

— Вчера она была чрезвычайно, оскорбительно невежлива со мной.

— Кто эта миссис Ван? — спросила Бабушка в удивлении. Казалось невероятным, чтобы кто-либо не ответил на приветствие и поклон такого любезного и очаровательного в манерах профессора.

— О, это длинная история, — ответила Анна Петровна.

— Это интересная история, — сказал профессор, — Аня, ты расскажи, а я тем временем пойду набросаю черновик письма к президенту Рузвельту. Потом я вернусь и начнем и чай и чтение.

— Мы оставили Пекин, когда город был взят японцами, — начала Анна Петровна. — Мы ехали во втором классе. Вагон был битком набит японскими солдатами, офицерами и беженцами. Было невероятно душно, тесно и жарко. Японцы вели себя победоносно и шумно. Остальные все были подавлены происшедшим, истощены физически и духовно. Как ни горьки были чувства китайцев, все они держались спокойно и молчаливо.

Около нас, совершенно неподвижная, как мертвая, ютилась семья китайцев. Они сидели совершенно беззвучно: старый господин с закрытыми глазами, слепой или не хотевший больше ничего видеть, две женщины с детьми на их коленях и ама с крошечным ребенком на руках. Все они были, конечно, утомлены и голодны — в вагоне никто, кроме японцев, не имел ни пищи, ни питья за последние двенадцать часов, но об этом можно было только догадываться, так как они ничем не выражали своих чувств. Даже дети были как-то не по-человечески спокойны. Только ребенок у амы вдруг начинал плакать, тогда она качала его на руках, и он замолкал.

Напротив нас сидели тоже китайцы, муж с женою. Он был средних лет, полный, с большим лицом, на котором — в противоречие всему окружающему — покоилось выражение полного спокойствия и какой-то буддийской душевной ясности. Жена его была замечательна. Высокая, тонкая, элегантная, и она сидела неподвижно, но по лицу ее, как молнии, проходили выражения гнева, отчаяния, ненависти.

Поездка, вместо обычных трех часов, длилась уже двадцать, так как наш поезд то и дело останавливался, уступая дорогу встречным поездам, подвозившим к Пекину японскую армию и амуницию. Огромные пушки с поднятыми к небу жерлами, гигантские танки, покрытые парусиной, появлялись и исчезали с левой стороны вагона; справа было печальное зрелище разрушенных деревень, сцена недавних боев.

Китайская леди начала считать вслух проезжавшие мимо вагоны и записывать их число в книжечку. Это было запрещено недавним японским военным распоряжением.

Вдруг она обратилась ко мне, говоря по-английски и намеренно громко:

— Не странно ли? В Китае, по китайской дороге, в китайских вагонах, обслуживаемых китайцами — враги везут всевозможные орудия для истребления китайского населения? Война не объявлена, но города разрушаются бомбардировкой. И все это называется "местным инцидентом".

Мой муж сейчас же вступил с ней в разговор, объясняя, что перед нашими глазами происходит один из парадоксов истории. Я стала беспокоиться, так как безусловно кто-либо из присутствовавших японских офицеров понимал по-английски. Чтобы переменить тему, я сказала поспешно:

— Будем лучше любоваться ландшафтом!

— Вы это называете ландшафтом? — вскрикнула китаянка. — Три дня в этих местах японцы демонстрировали свои дружеские чувства к Китаю. Посмотрите на эти развалины!

Ее речь делалась опасной. Я посмотрела вокруг. К нам прислушивались, хотя и не показывая этого, все японцы.

— Куда вы едете? — спросила меня китаянка.

— В Тянцзин.

— А, — вздохнула она, — десять тысяч гражданского населения было убито японцами в Тянцзине.

Я заметила, что какое-то движение происходило в группе японских офицеров. Ясно, что они и слышали и поняли, что говорила китаянка, и готовились предпринять какие-то меры. Напрасно я старалась изменить тему разговора.

— Но что же является причиной этих жестоких действий? — продолжала китаянка. — "Япония хочет получить даром китайский хлопок", — сказал откровенно один из японских государственных деятелей. Но, может быть, и Китаю нужен его собственный хлопок? Может ли жажда беззаконного захвата чужой собственности оправдать такие средства к ней, как вот эти убийства? Мало того, Япония хочет еще и китайских дружеских чувств. Для этого ли она бомбардирует китайские больницы, университеты и школы? Затем Япония хотела бы еще получить и китайский уголь, железо, китайскую торговлю и китайскую землю. Это все — для Японии. Китаю же — мир, время от времени карательные экспедиции, как вот эта, чтобы держать крепко взаимное понимание и дружбу.

Говоря это, она уже вся дрожала от гнева и негодования.

Я не могла понять ее бравады. И ей тоже было ясно, что ее слушали все японцы в вагоне. Китайские же пассажиры сидели безмолвно и безучастно, как и прежде. На кого она надеялась, на чью защиту? Зачем она подвергала себя опасности? В вагоне уже создалась напряженная атмосфера. Казалось, вот-вот произойдет какое-то ужасное несчастье. А она все продолжала говорить:

— Посмотрите на разбитые вагоны! Китайские беженцы в этих вагонах были бомбардированы с воздуха. Пятьсот человек было убито. Они бежали из Пекина. Японцы сначала взяли их дома, имущество, убили здоровых и молодых мужчин в семьях. А когда старики, женщины и дети пытались скрыться от убийц, их бомбардировали и убили с воздуха.

Она задохнулась и остановилась. Зловещая тишина царила в вагоне. Один из японских офицеров встал и тяжелой походкой направился к китаянке.

Я все не могла понять, на что она надеялась, подвергая себя опасности. Было ли у нее оружие? Станет ли она защищаться или же кинется с кинжалом и убьет приближающегося японца? Где ее

оружие? На ней был берет и очень плотно прилегающее платье. Не только револьвер, но и кинжал едва ли мог быть спрятан в ее одежде.

Японский офицер стоял уже в проходе около нас.

— Ах, — сказала китаянка, глядя ему в лицо. — Япония так восхваляет свою армию. Но все, на что она способна, это — слепая жестокость.

Японский офицер одним тяжелым движением руки сдвинул аму с ребенком и тяжело сел на ее место. Неподвижным взглядом, с какой-то ледяной жестокостью он смотрел в лицо китаянки.

— Студентка?

— Да. Я — студентка.

— Куда едете?

— В Тянцзин.

— Одна?

— Нет, с мужем. — И она показала на спокойного господина с лицом, напоминающим Будду.

— Зачем вы едете в Тянцзин?

— О, просто посмотреть кругом, что там происходит.

— Где вы обычно живете?

Ее глаза засверкали.

— Я живу в свободной стране, где Япония ничего не значит, где Японии никто не боится, и где ее действия обсуждаются открыто.

— Фамилия?

— Миссис Ван Сунлин.

— В какой провинции Китая вы живете?

— Провинции Китая? — Ее голос шипел от ненависти. — О какой "провинции" вы говорите? Я родилась в штате. В Калифорнии. Я — американка по рождению и подданству.

Теперь стало ясным, какое у нее было оружие и почему она не боялась. "Американка по рождению" — она была вне сферы японских посягательств.

Теперь она смотрела на японца с торжествующей злобой. Под натянувшеюся кожей лица ясно выступали кости, легкая дрожь волной проходила по ее телу. Глаза выступили из орбит. Казалось, она, как змея, бросится на врага и смертельно его ужалит.

Японец, встретив этот взгляд, откинулся назад, как перед настоящей змеей. Каковы бы ни были его личные чувства, японский офицер — человек дисциплины. Военный приказ обязывал его быть предупредительным и вежливым с гражданами сильных нейтральных держав.

— К сожалению... — начал он.

Она накинулась с потоком слов:

— Вы сожалеете? Да? О чем? О том, что я — американка? Вы думаете — это большое несчастье? Вы думаете, я была бы счастливее, если бы...

— Вы так похожи на китаянку.

— Да, моя глубокая симпатия и любовь к Китаю делают меня похожей на китаянку!

Он больше не желал говорить. Он тяжело встал и затопал к своему месту. Вдруг он остановился. Еще раз злоба сверкнула в его глазах:

— Но ваш муж?

Джентльмен, похожий на Будду, встал, широко открыл глаза, вежливо поклонился японцу:

— Мистер Ван Сунлин. К вашим услугам. Американский подданный. Родился в штате Мичиган.

— Какой счастливый конец, — сказала Бабушка. — Право, это — тяжелая история, и как приятен хороший конец.

— Погодите, это еще не конец, — возразила Анна Петровна и продолжала: — Мы приехали в Тянцзин поздно ночью. Японская полиция сейчас же занялась китайскими беженцами. Их выталкивали из вагонов, обыскивали тут же и иных арестовывали, других отпускали. Мы потеряли из вида китайскую леди и ее спутников. Мы двигались пешком. Наконец мы перешли через мост и были на французской концессии, наконец в безопасности от японцев!

Вдруг мы услыхали громкий смех. Китайская леди миссис Ван стояла у входа в отель и желала нам доброй ночи. Мы были рады ее видеть, но муж сказал ей все же с упреком:

— Миссис Ван, стоило ли подымать всю эту историю и пугать ваших же китайских беженцев в вагоне, и это только для того, чтобы подразнить японцев? Это недостойно серьезного человека, и вас извиняет только ваша молодость.

Миссис Ван вдруг сделалась серьезной. Она перестала смеяться.

— Друзья, — сказала она, — я делала это не для насмешки над японцами. В вагоне ехал дорогой для Китая человек, который должен был попасть в Тянцзин. Я оберегала его. Я должна была отвлечь внимание от него, я заинтересовала их своей особой. Не правда ли?

— Но тот человек?

— Он уже в безопасности.

— Кто же он был? Где он сидел?

— Он был ама с ребенком.

В этот самый момент раздался какой-то звук. Все взглянули на дверь. На пороге стоял мистер Сун. Что он слышал? Когда он вошел? Увлеченные рассказом, его не заметили раньше.

Он поклонился компании и сказал своим обычным тоном:

— Я попрошу вас, миссис Чернова, об одном личном одолжении. Пожалуйста, забудьте эту историю, и пусть ни одно ее слово не будет повторено. — И он опять поклонился.

Анна Петровна вздрогнула: в спокойном лице мистера Суна она вдруг узнала аму с ребенком на руках.

20

Финансовое положение Семьи делалось все хуже. Как и вся страна, и они в своей скромной мере пострадали от разрушенной экономики, явившейся следствием "дружеских" японских экспедиций в Китай. Покорение Китая было дорогостоящим предприятием, и, по японским расчетам, само китайское население должно было оплачивать свое порабощение.

Лида потеряла работу, потому что магазины сократили штаты служащих. В европейских предприятиях прежде всего увольняли русских. И Петя получил предупреждение о возможном скором увольнении. В пансионе были незанятые комнаты. Счет миссис Парриш все еще не был оплачен. Никто не приходил за ее вещами. Они оставались в ее комнате, и Семья не знала, как решить: свободна ли эта комната или же занята. Петины "волонтер-

ские" деньги (Дима называл их "военной добычей") помогли мало, так как цены подымались с каждым днем. Так война сделала свое дело: она пожрала всю, казалось бы, явную прибыль — и никто не нажился, и все пострадали. Единственным видимым трофеем в Семье были Лидины белые туфли.

Лида плакала несколько дней после того, как ее рассчитали. Она горевала, так как не было надежды найти другую службу. Но затем наступила внезапная перемена в ее настроении, она успокоилась, более того, стала очень веселой. Она помогала Матери на кухне, и лицо ее выражало счастье. Нос ее был напудрен. Миссис Парриш перед самым отъездом нашла залежи пудры и отдала все Лиде, и Лида радостно думала, что пудры ей хватит до старости. Но Бабушка уже грозила отнять пудру и запереть на ключ.

Великий момент в жизни Лиды произошел недавно.

Однажды, с лицом распухшим от слез, она сидела на скамье в парке. Вот уже три дня как она ходила по концессиям, ища работы. Только что она просилась в гувернантки, и ей отказали из-за ее молодости. Она сидела печально на скамье. Вдруг она увидела Джима. Он шел по направлению к ней. Неожиданно для себя самой Лида вдруг разрыдалась. Джим бросился к ней. Два часа сидели они уже вместе на той же скамейке. О чем они говорили, никто не слышал. Но с того часа Лиду уже не видели плачущей. Радостная улыбка появилась и не покидала ее лица.

На следующий день Джим снова пил чай вместе с Семьей. Он сообщил, что уезжает в Америку, так как должен поступить в университет. На память он просил карточку и всей Семьи и Лиды отдельно, но ни у Семьи, ни у Лиды карточек не было. На следующий день он опять пришел, уже с фотографическим аппаратом, снял дом и Семью, но для Лиды испросил позволения сняться в студии, чтобы иметь ее хороший большой портрет. Портрет был большой, но не хороший. Лида была горько разочарована, увидев себя с так широко улыбающимся ртом, что ее глаза сузились в щелки, а щеки сморщились. Она уверяла всех, что не похожа на свой портрет. Но Джим казался довольным, получив его. Его прощальным подарком были часы-браслет, и этот подарок был так изумительно прекрасен, что невозможно описать словами.

На следующий день Джим опять пил чай с Семьей. Потом он долго сидел с Лидой в саду, и Бабушка приняла меры, чтобы ни Дима, ни Собака им не мешали. Лида и Джим обсуждали то драгоценное, что есть только у молодости: будущее.

— Вы не будете бояться бедности? — спросил Джим.

— Я всегда была бедной, — ответила Лида. — Я и не знаю, как живут иначе.

Их план на будущее был скоро обдуман, решен и принят. Джим уедет в Америку, поступит в университет и будет усердно и много работать. Он постарается зарабатывать и откладывать деньги. При первой финансовой возможности он выписывает Лиду, она приезжает, и они венчаются.

— Возможно, нам будет иногда очень трудно.

— Когда нам будет трудно или печально на душе, я стану петь для вас, — сказала Лида.

— У вас есть голос?

— Голос есть, но у меня плохая интерпретация. Слушайте, я спою сейчас.

И Лида запела пастораль "Мой миленький дружок" из "Пиковой дамы". На этот раз нельзя было сказать, чтоб ее интерпретация была плоха. Она пела, а Джим смотрел на нее, любовался ею и думал, что нет прекраснее зрелища в мире, чем счастливая поющая Лида.

Итак, Лида влюбилась.

Бабушка первая заметила и поняла истинное положение вещей. Она призадумалась. Любовь в Семье была решающим фактором жизни. Женщины этой Семьи любили раз и на всю жизнь. В Семье не знали ни измен, ни разводов. Не была ли бедная Таня примером? Бабушка знала, что Лидин выбор, раз совершенный, был навек, на всю жизнь. Но Джим — иностранец, и судьба Лиды начала тревожить и даже пугать Бабушку.

От всех печалей, болезней, тревог у ней было одно лекарство — молитва. Теперь, когда Лида, потеряв службу, помогала дома, Бабушка имела больше свободного времени и ежедневно ходила в церковь.

Обычно она покидала дом утомленной, усталой, а возвращалась спокойной и радостной. Она ходила в маленькую миссионерскую церковь, где священником был китаец. Церковь эта была очень бедная, прихожане — почти нищие. Священник, потомок мучеников за православную веру в Китае, был человеком ангельской душевной чистоты и такого же смирения. Молились там усердно и смиренно. Калеки, старики, бедняки. С каким трудом опускались на колени! Не было видно ни одного цветущего здоровьем лица, ни богатых одежд, ни самодовольных улыбок. Свечей ставили мало, и то самые тоненькие, по 10 сентов. Эта паства не имела земных материальных благ, из которых могла уделить Богу. У них не было ни золота, ни ладана, ни смирны. Они приходили молиться с переполненным сердцем, но с пустыми руками. Священник вел полуголодное существование.

Церковь! Последнее убежище страдающего человека! В разных городах и селах, на двух континентах, удрученная горем, нуждой и заботами, — приходила Бабушка в церковь — и все тот же Христос встречал ее теми же словами: "Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз успокою вы". И она, помолясь, всегда получала желанное и обещанное: "И обрящете покой душам вашим". В этом все изменяющем и изменяющемся мире Христос был неизменяем. В золотой ли ризе, покрытой сапфирами, как было когда-то раньше, или здесь — на деревянной дощечке — Он был Один и все тот же — Учитель человека. И Бабушка выходила из церкви, зная по долгому опыту, что "иго Мое благо, и бремя Мое легко есть". И легким шагом она спешила в Семью помогать нести это бремя, так как тяжести собственной ноши она уже не чувствовала.

21

Письма мадам Милицы имели то странное свойство, что за ними следовала какая-нибудь перемена в жизни Семьи.

Ее третье письмо пришло наконец из Шанхая, куда она была депортирована из Гонконга как "не-

желательный элемент". Было ли это уколом ее самолюбию? Мадам Милица не поделилась своими чувствами и соображениями по этому поводу.

Профессор со вкусом читал письмо вслух группе заинтересованных обитателей дома № 11. Милица сообщала удивительные новости.

Король Англии вдруг заитересовался положением русских беженцев в Шанхае. По его распоряжению начата была их регистрация, и самые невероятные, неслыханные вопросы задавались беженцам: куда бы вы хотели поехать? каким путем — морем, сушей, по воздуху? сколько багажа вы хотели бы взять? есть ли долговые обязательства, которые вы хотели бы погасить до отъезда?

Ответы записывались на казенную английскую бумагу, с заголовком и печатью. Привыкши профессионально говорить правду, мадам Милица была честно откровенна и с посланцем английского короля. Она ответила, что если король действительно ею заинтересован и хочет помочь, она, со своей стороны, пойдет навстречу и с поклоном примет его любезность, но только при одном условии, что его помощь будет бесплатной. Ибо, простите за откровенность, мадам Милица заявляет всем королям и всем управляющим без королевского титула, что она устала платить налоги, штрафы, почтовые расходы и авансы за паспорта, визы, анкеты. Перед властями такой факт: она — мадам Милица, она существует, и она все та же, в Бессарабии и в Китае, по-английски и по-японски. Ее удивляет этот постоянный интерес интернациональных властей к факту ее скромного существования. Нельзя ли оставить ее в покое? Если желание короля искренне и он — великодушно, по-королевски — протягивает ей свою благородную руку, прекрасно, она склоняет голову в благоговении, но нельзя ли это сделать без предварительного взноса шестидесяти сентов, которые посланник ожидает от нее за регистрацию. Более того (поддерживаемая знанием, что она умрет 84-х лет), мадам Милица выразила подозрение, что у английской короны и у других корон и казначейств найдутся деньги и без ее членского взноса.

Вдруг Петя, всегда сдержанный, почти закричал:

— Помогать русским беженцам? Не поздно ли? После двадцати лет скитаний что осталось от русских беженцев? Почему помогатели не позаботились о нас раньше? Русские эмигранты кончены как общественная группа. История закончила процесс: они добиты. Мы имеем право громко заявить о бесчеловечности отношения к нам. Нам никто не помог — и это пусть останется историческим фактом.

— Что ты говоришь, Петя? — даже испугалась Бабушка. —Не помогли, но ведь никто и не был обязан нам помогать.

— Обязан? — уже кричал Петя. — Разве уже нет христиан на земле? Не нашлось места в огромном мире для одного миллиона людей, часто высококультурных и способных работать? В большинстве мужчин из той армии, которая была с ними в мировой войне, и кто им нужен для новых войн? Нет, они слепо сыграли в пользу большевиков. Нам некуда было укрыться, а где мы жили — там нас обращали в "дешевый труд" и эксплуатировали, потому что у нас нет защиты.

— Дорогой мой, дорогой, успокойся, — просила Бабушка. — Послушай лучше, скажу о себе. В юности жила я в большой роскоши в родительском доме. Бывало, прочту в газете о голоде в Индии, и станет мне жалко индусов. Из уроков географии знала, что в среднем один миллион индусов умирает от голода ежегодно. И все я жалела их и хотела помочь. Деньги, конечно, были. И не помогала. Адреса не знала, куда посылать, спросить некого было. А в газету сделать запрос не догадалась. Теперь имею ли я право сама ждать помощи или упрекать кого?

— Бабушка, вы...

Но в этот момент случилось неожиданное: открылась дверь, и мистер Стоун вошел в столовую.

За время отсутствия он стал еще меньше; его одежда казалась уже совсем не по его фигуре, и выглядел он еще более сгорбленным и усталым. Только помня его пальто, шляпу и очки, Семья знала, что это — мистер Стоун.

Ясно, это был только деловой визит. Что же еще могло привести его в пансион № 11? Разумно было предположить, что он пришел уплатить следовавшие с миссис Парриш кое-какие деньги.

Компания сейчас же разошлась, оставив в столовой только Мать и Бабушку. К стыду Семьи, приходится добавить, что Дима ринулся вон первый, что он потащил с собой и Собаку, что он запер ее в подвале, сам же спрятался под окном в столовой с намерением подслушивать, и что он решил бороться за обладание Собакой всеми средствами, и честными и бесчестными.

Но, к его радости, Собака совсем не была упомянута в последовавшем разговоре.

Мистер Стоун повел речь издалека. Начав с рассуждения о силе привычки, он закончил тем, что миссис Парриш требует немедленного возвращения в пансион № 11. Она настаивает также на том, чтобы Бабушка закончила начатую рассказывать какую-то историю жизни. Сам же он, мистер Стоун, был и еще некоторое время будет чрезвычайно занят ликвидацией коммерческих дел покойного мужа сестры, что требует поездки в Мукден и Шанхай.

Отбытие в Англию, таким образом, откладывалось на неопределенное время, и на этот срок он просил пансион № 11 взять обратно к себе миссис Парриш.

Он покашлял немного и очень тихим голосом продолжал, что, принимая в соображение особенности характера и поведения сестры, он вынужден выбирать между пансионом № 11 и больницей. Миссис Парриш и он предпочли бы пансион. Из рассказов сестры он узнал, как Семья внимательна к своим жильцам и как Бабушка посвящала целые дни уходу и развлечению миссис Парриш. Он считает приятным долгом компенсировать Бабушке и предлагает ей как плату сто долларов, прося ее в то же время и в дальнейшем продолжать заботу о миссис Парриш, пока она будет жить в пансионе. Он предлагает ей жалованье в размере шестидесяти долларов в месяц. Доктор приглашен посещать пациентку регулярно. И мистер Стоун крепко надеется, что совместными усилиями они помогут миссис Парриш "встать на ноги", так как иначе она едва ли будет в состоянии ехать в Англию на пароходе, как обыкновенный пассажир. Короче, он сей-

час заплатит по счету, затем за месяц вперед за миссис Парриш плюс то, что идет за дороговизну и поднятие цен на все продукты, плюс Бабушкино жалованье и плюс бабушкин стол, так как он просит Бабушку кушать вместе с миссис Парриш, иначе последняя угрожает больше ничего и никогда не есть.

"Боже мой! — про себя думала Мать, и даже ноги у ней подкашивались. —Ведь он, пожалуй, сейчас же и даст: сто плюс шестьдесят плюс сто плюс... о Боже! — сто плюс шестьдесят, то есть старые шестьдесят плюс новые шестьдесят... Бабушкин стол! Дима будет это кушать, Бабушка постничает..."

И все светлело и светлело в комнате. Делалось весело. Становилось замечательно легко жить. И лица и Матери и Бабушки, как цветы подсолнечника к солнцу, потянулись, улыбаясь, сияя, к мистеру Стоуну.

А он в это время вдруг снял очки. И они увидели, что у него чудные-чудные голубые глаза, лучше, голубее, чем у миссис Парриш, и что эти глаза полны какой-то особенной, им неизвестной, английской печали.

Они согласны. Они благодарят и берут миссис Парриш в пансион № 11.

Мистер Стоун вынул бумажник и положил кучу денег на стол. Хохолок Димы вдруг поднялся за подоконником. Блеснули круглые глазки, и все исчезло. Он еще прятался, ожидая, не будет ли чего сказано о Собаке, но мистер Стоун уже прощался. Собака не была упомянута в разговоре.

Вечером миссис Парриш совершила свой триумфальный въезд. Она выпрыгнула из автомобиля растрепанная, красная, в разорванном платье и бегом побежала к крыльцу, где ее ожидала Семья.

— Скотина! — кричала она, поворачивая голову назад и обращаясь к мистеру Стоуну. — Тоже выдумал: Англия! Меня не возьмут на пароход! И не надо! Очень благодарна. А тебя, конечно, возьмут! Ну, и поезжай на пароходе!

Она протянула руки к Бабушке и Матери, и на лице ее засветилась улыбка. Она узнала их, все вспомнила. Она возвращалась домой.

— А вот и я! Вы меня ждали? Что это был за отель! Жить невозможно. Все пьяны, шум, крики! И этот братец около меня. Подумайте, в заговоре с прислугой. Разъединил телефон. Как увидит рюмку коньяку — у него судороги!

Она уже была на крыльце. Она обнимала Бабушку:

— Но Бабушка, Бабушка! Когда вы увидели дым и подумали: "В доме что-то горит", — что было дальше?

И Бабушка, сейчас же входя в свои обязанности, взяла за руку миссис Парриш и повела ее потихоньку вверх, повествуя:

— Когда я увидела это, я поняла, что дом подожгли, и я сказала детям: "Дети, у нас больше нет крова!"

Дверь за ними закрылась. Кан уже летел наверх с теплой водой, мылом и полотенцем. Миссис Парриш подвергалась приготовлениям к ужину.

Между тем мистер Стоун попал во власть профессора и не мог подняться наверх к сестре. Он сидел в столовой, и перед ним стоял стакан чаю. Это был не тот английский чай, к которому он привык и который единственно он мог пить: молоко, два куска сахару, крепкий чай. Только в таком порядке и только такой чай. А здесь и в помине не было молока. Сахар был, но не кусковой, а дешевый серый сахарный песок. Чай был слегка желтоватого цвета, не тот густо-черно-коричневый, что мистер Стоун называл чаем. Речь профессора была еще менее приемлема, чем чай. Он говорил о том, что не надо верить своим глазам, что они нас обманывают и что все видимое изменяется в зависимости от пункта, с которого ведется наблюдение.

— Вообразим, — говорил он с увлечением, — что здесь, вот в этой комнате, японский солдат убивает вас. Он стоит вот в том углу, вы стоите здесь. Он стреляет в вас из винтовки. Пуля попадает в сердце. Вы убиты. Я — наблюдаю. Откуда я веду это наблюдение? Предположим, я стою где-нибудь на Солнце, — и он сделал широкий, величественный жест рукой, — и наблюдаю оттуда. Что я вижу? Глазам стоящего на Солнце Земля кажется неподвижной. Пуля видна как спокойно висящая в воздухе. Но вы, сэр! — вас я вижу кидающимся навстречу японской пуле, чтобы принять ее в сердце. Могу ли я назвать видимый мною факт убийством? Вы следуете за мной мыслью? Вы видите, насколько различны впечатления в зависимости от того, стою ли я здесь, в этой комнате, то есть на этой планете, или же на Солнце? Вы понимаете, как меняется наблюдаемая ситуация, а с ней и понимание происходящего? Теперь, сэр, разрешите мне посмотреть на эту же сцену с Марса...

Но мистер Стоун и чаю не пил, и профессора больше не слушал. Он вспомнил о той пуле, которая ранила его печень в мировой войне. Эта ситуация произошла на Земле, она изувечила его тело и испортила его жизнь. Земной точки зрения для мистера Стоуна было достаточно, и его не интересовало, что казалось наблюдателю, стоящему на Марсе.

22

— Миссис Парриш, я хорошо выгляжу? — спросила Лида. — Я примеряю все новое.

Она стояла "нарядная" посреди комнаты, в новом бумажном платье — белая и зеленая клетка, — в новых туфлях и с бантом в волосах.

Миссис Парриш посмотрела на нее тусклыми глазами, без всякого интереса.

— Выглядишь, как обыкновенно.

— О, — воскликнула Лида с огорчением. — Я нарядилась в новое. Я собираюсь на вечер.

— На вечер? Куда это?

— Это — американское семейство. Джим Беннет, знакомый молодой человек, уезжает. Его родители дают вечер. Ужин и танцы для молодежи. Я приглашена.

— В этом платье на вечер с танцами? Но это смешно! Это совершенно невозможно!

— Невозможно? — с испугом спросила Лида. — Боже мой! Что же мне делать?

— Танцевать в парусиновых туфлях без каблуков! В этих?!

Лида вдруг громко заплакала.

Миссис Парриш сразу как будто проснулась. Она уже говорила по телефону.

— Салон Софи? Да. Сейчас же. Сию минуту. Бросьте салон. Оставьте клиентку. Возьмите такси.

Да, вечернее платье. Привезите несколько. Нет, нет, не мне. Барышне. Как выглядит? Очень молодая. Нет, среднего роста. Тоненькая. — Она посмотрела на Лиду. —Да, хорошенькая, изящная. Глаза? Серо-голубые. Очень хорошенькая. Блондинка.

"Боже мой! — вдруг догадалась Лида. — Она говорит обо мне".

Миссис Парриш между тем продолжала:

— Нет, не то, просто очень милая. И пошлите кого-нибудь к Фу-чану, чтоб захватил несколько пар туфель. Нога маленькая. И поскорее. Вы сами ее и оденете.

— Теперь, — обратилась она к Лиде, — сними твое платье и надень вот этот халат. Парикмахера тебе не нужно. Причешись сама. Парикмахерская прическа только старит девушку.

Она выглядела какой-то новой миссис Парриш — живой и энергичной, даже двигалась как-то иначе, с порывом.

— Пойти на вечер в носках? Вот, выбирай чулки. Они будут тебе велики, но тут ничем не поможешь.

Вскоре прибыла и Софи с платьями. Она привезла четыре, и все были необыкновенно прекрасны: длинные, воланом, как опрокинутые цветы колокольчики. Те, кто их кроил и шил, не думали об экономии материала, как будто бы на свете не было дороговизны. Одно из этих платьев Лида видела в окне салона, на выставке. Оно лежало там, раскинувшись широко, пленительно и нежно, и над всем его сложным великолепием, для которого не находилось названия, над его свежестью и нежностью был только маленький билетик с лаконичным $75... Думала ли она тогда?.. Могла ли она думать?!

Платья были предложены Лиде на выбор. Вся Семья принимала участие: белое, розовое, светло-голубое, светло-зеленое. Лида не могла ничего сказать, ничего решить. Бабушка выбрала за нее белое. Про себя подумала: "И к Причастию наденет, и к заутрене на Пасху, а то и к венцу в нем пойдет, если другого не будет". А Лиде сказала кратко:

— Смотри береги. Не запачкай!

Когда Лида стояла в этом платье перед миссис Парриш, та решила, что чем-нибудь ярким надо оживить туалет. Она достала ожерелье и браслет из бирюзы и отдала их Лиде. На протесты Матери она коротко ответила:

— Пусть берет. Я сама не ношу. Заваляется где-нибудь, или Кан украдет.

Туфли подошли прекрасно. Лида была готова, и Софи уравнивала длину.

У Софи было два лица: одно — темное, пренебрежительное, не умевшее ни слышать вопросов, ни произносить слов — это было ее лицо, обращенное к Семье; другое — светлое, с блестящими зубами, льстивой улыбкой, словоохотливое и понимающее всякое слово миссис Парриш, прежде чем та произносила его. Миссис Парриш всегда покупала у Софи и тут же платила наличными.

И вот Лида готова. Она подошла к зеркалу, взглянула на себя и с удивлением воскликнула:

— Ах, какая я красивая! Смотрите все, какая я красивая!

— Как королева! — сказал Дима. Он сидел на полу с Собакой и старался заинтересовать ее видом Лидиного великолепия. Он даже приподнимал Собакину голову и держал ее крепко, направляя взгляд на Лиду. Глаза Собаки, однако, не выражали восхищения, и как только Дима отпустил ее, голова эта удобно поместилась на полу между лапами и уже не поворачивалась в Лидину сторону. Очевидно, подверженная общему закону собачьей породы, она не развила еще эстетических чувств.

Джим должен был приехать за Лидой. Его ждали с минуты на минуту. Лида была взволнована, не могла успокоиться. Уже почти все в доме № 11 ее видели, и все восхищались. Анна Петровна засмеялась от радости. Профессор галантно поцеловал руку Лиды (это был первый поцелуй Лидиной руки) и, кланяясь, сказал:

— В знак восхищения пред молодостью и красотой!

Японцев не было дома. Лида постучала в дверь комнаты мистера Суна.

— Я хочу, чтобы вы на меня посмотрели!

Он открыл дверь и спокойно-спокойно смотрел на Лиду. Очевидно, он не понял, в чем дело, и не замечал в ней никакой перемены. Лида встретила эти печальные и странные, какие-то пустые глаза, и сердце ее похолодело: "Я беспокою его такими пустяками!" Он ей показался вдруг старым. Его черные, коротко подстриженные волосы были седыми, на лице были прежде невидимые морщины. "Когда это он успел постареть?" — испугалась Лида. Смущенная, она не знала, что сказать.

— Благодарю вас, — прошептала она.

— Пожалуйста! — ответил мистер Сун и закрыл дверь. Уже за закрытой дверью Лида сказала громко:

— Мистер Сун, мы все, все надеемся... мы все уверены, что Япония никогда не победит Китай...

Дверь приоткрылась, и, улыбаясь, совсем как прежний мистер Сун, он ответил:

— Ваши ласточки прилетают из Африки! — И дверь опять закрылась.

— Боже мой! Что он сказал? Какие ласточки? — Она не знала, что в тот момент, когда она пыталась выразить мистеру Суну свое сочувствие, она на мгновение вдруг стала похожей на Бабушку, и мистер Сун вспомнил вечерний разговор в саду.

— Лида, —сказала Мать, —я не хочу портить твоего настроения, но, право, сядь и успокойся. Закрой рот. Посиди спокойно.

Лида села. Но раздался звонок, и это, конечно, был Джим. Никто другой не умел так приятно звонить. Она встала. Хотела пойти навстречу с достоинством, медленным шагом, но не выдержала и ринулась белым облаком вниз по коридору.

Джим был одет в вечерний костюм: в белом и черном, чернейшем черном и белейшем белом. И Лида, созерцая его и вспомнив о себе, воскликнула:

— О, как мы оба красивы!

Она выпорхнула из двери, пролетела бабочкой по двору и, как пчела в улей, влетела в дверь автомобиля.

Лида уехала, и все почувствовали, что устали и надо отдохнуть. Бабушка еще постояла у окна.

"Жених! Нет сомнения!" — думала она и пошла помолиться о Лидином счастье. Но молилась она не долго. Миссис Парриш с отъездом Лиды както вдруг угасла, стала брюзжать и требовать виски. Сели играть в карты.

Заметив, как оживлена была миссис Парриш, собирая Лиду на вечер, и как сразу она изменилась, когда не о чем было уже хлопотать, Бабушка решила, что надо поскорее заинтересовать ее чем-нибудь дельным.

— Вот уже скоро вы уезжаете в Англию, — начала она. — Пора бы взяться за приготовления.

— Какие приготовления? — брюзжала миссис Парриш. — Здесь все выброшу, там все куплю.

— О, — только и сказала Бабушка, вздохнув, и начала подходить с другой стороны. — Вот приходит Ама. Она артистически делает стеганые одеяла. Почему бы вам не поучиться?

— Да, почему бы и мне не поучиться? — повторила безучастно миссис Парриш и пошла бубновой десяткой.

— И я бы поучилась, и вам бы помогла. И мы сделали бы несколько одеял.

— Зачем? — вдруг поняла миссис Парриш. — Кому нужны одеяла? Мне не нужны.

—В Англии у вас есть родные, тетки, кузины. Вы видели, какой счастливой вы сегодня сделали Лиду, да и всю семью. И там ваши родные обрадуются, получив одеяла. И всем будет приятно.

Миссис Парриш на минутку задумалась, размахивая, как веером, трефовым королем:

— Одеяла? Мои родные в Англии все богаты. У них есть одеяла.

— Ну, сделаем для вас только. Как будете укрываться им всякий вечер, вспомните нас, как мы жили дружно здесь.

На этот раз миссис Парриш согласилась, и решено было начать одеяла завтра же.

Потом, когда все уже спали, Бабушка ожидала возвращения Лиды. Она все молилась о Лидином счастье. Конечно, пройдут еще годы до свадьбы, но выбор был сделан, Лидина судьба решилась.

Лида вернулась в два часа утра. Она сияла в полутемной комнате, как утренняя звезда на синем небосклоне.

— О, Бабушка! Все было чудно!

— Сначала сними платье и туфли. Сложи аккуратно, не мни. Потом расскажешь.

— Бабушка, — шептала Лида, раздевшись, — я его очень люблю. Хотите, расскажу, как я его люблю?

— Не надо, не рассказывай. Я и так вижу. И помни, Лида, поменьше говори о любви. Слово унижает чувство.

— Он уезжает, и мы расстаемся. Через неделю. И мы не увидимся скоро. Год, два, три, а может быть, даже четыре. Бабушка, вы слышите это? Четыре!

— И хорошо. С любовью всегда лучше не спешить.

— Мы будем писать друг другу. Часто, Бабушка, часто!

И она заплакала. И у Бабушки в глазах появились вдруг слезы.

— Мы будем писать часто, — говорила Лида и плакала.

Горячие слезы брызнули, сверкая, из ее сияющих глаз; но тихие и медленные они катились из бесцветных глаз Бабушки.

— Он уезжает через неделю! — воскликнула Лида, и ее голова упала на Бабушкину подушку.

— Через неделю? Так ты его увидишь еще, по крайней мере, семь раз. Погоди плакать. Ложись и спи. Завтра вставай красавицей.

Особенной чертой Лидиной любви было то, что она с самого начала не имела никаких сомнений в прочности этого чувства. Ни на минуту она не сомневалась ни в себе, ни в Джиме. Для ее любви могли существовать, она думала, только внешние препятствия: пространство, время, деньги. Что, расставшись, они могут измениться, — такая мысль не приходила ей в голову.

Бабушка не утерпела:

— А какая у него семья? Как они тебя приняли?

— О, Бабушка, я забыла сказать! Они все — чудные! Когда я вошла, его мама сказала: “А вот и симпатия нашего Джима”, а его папа сказал: “Рад вас видеть. Делайтесь королевой вечера!” И все мне улыбались. Папа, Джим и его старший брат танцевали со мной. Были и другие, много гостей. Я им пела, и всем понравилось. Знаете, Бабушка, я вспоминаю этот вечер, и я ужасно счастлива!

— Теперь спи. Если не сразу заснешь, то повторяй молитвы. Благодари Бога, Лида. Ты видела счастье в жизни.

23

На другой день Ама, чьи мысли были все грешнее и все хуже, пришла работать для миссис Парриш. Она сидела на полу, на циновке, и, углубленная в свои мысли и работу, против обыкновения не разговаривала, а как-то зло молчала. Иголка, нитки, ножницы, наперсток — все металось и сверкало в ее руках. Лицо ее было склонено над работой.

Бабушка сидела около, подготавливая работу для себя и для миссис Парриш. На ее вопросы Ама отвечала кратко. Во время завтрака она отказалась от пищи.

— Ты сердита сегодня, Ама?

— Что ж, когда я сержусь, я работаю лучше.

— Но что с тобой?

— Я огорчаюсь. — Она ниже наклонила голову и стала шить с такой быстротой, что ее игла сломалась надвое.

— Постой, Ама, — уговаривала Бабушка, — отдохни немного. Поешь. Отложи работу. Посиди спокойно.

— Я не могу сидеть спокойно. Я огорчаюсь.

— О чем ты так волнуешься?

— Об одной монашке. О той самой, которую я больше всех не люблю.

— Но это нехорошо. Как это так — вдруг не любить сестру монашку.

— А вот и не люблю. Эта сестра Агата как увидит меня, то и начинает размышлять вслух — христианка я или нет. Она посмотрит на меня кротко и скажет обязательно что-нибудь неприятное, и чем неприятнее, тем лучше у ней голос: “Сестра Таисия, — она скажет, — помнишь ли ты, что имеешь бессмертную душу? Старайся ее спасти”. Потом вздохнет глубоко и скажет: “Работай с миром! Я помолюсь о тебе!” — “Что ж, — я как-то ответила ей, — давай вместе читать “Отче наш” наперегонки. Я прочитаю три раза, пока ты успеешь прочитать один раз”. А она закачала головой: “Вот, вот... Это я и имею в виду”.

Ама стала сердито почесывать в голове тупым концом иголки. Потом спохватилась:

— Я не должна этого делать. "Оставь голову в покое. Забудь, что у тебя есть голова", — сказала бы сестра Агата.

Ама вздохнула и продолжала рассказ о своем огорчении.

— Вот что случилось. Сестра Агата была послана в деревню, в миссию, с поручением. И вот она исчезла — и туда не пришла, и сюда не вернулась. Ходят слухи, что она и еще другие католики захвачены хунхузами в плен. Может, их мучили, может, уже убили. Мать игуменья распорядилась: для всех нас добавочные молитвы о спасении сестры Агаты и о ее благополучном возвращении в монастырь.

— А тебе не хочется об этом молиться, — пыталась угадать "грешные мысли" Бабушка.

— Мне не хочется об этом молиться? — воскликнула Ама. Она даже подскочила на циновке. В ее взгляде появилось даже презрение к подобной недогадливости: — Я молюсь вдвое больше, чем приказано, я постничаю: да вернется сестра Агата! Разве я ела завтрак? А ведь были китайские пельмени. Я ем теперь раз в день. Мои колени болят от молитвы. "Иисус, — я прошу, — да вернется сестра Агата. Верни ее невредимой. Пусть ни один волос не упадет с ее головы. Пусть вернется в прекрасном здоровье!" Я и сейчас молюсь. Шью и молюсь. Видели — сломала иголку.

— Но чем же ты огорчаешься, если так молишься?

— Чем? Если ее убьют, она — мученица и святая. Для нее не будет чистилища. Сейчас же на небо! И она там станет рассказывать обо мне. Хуже еще, — Ама даже закачалась от огорчения, — как только она станет святой, я должна молиться ей, игуменья прикажет. Я буду стоять на коленях и молить: "О, святая сестра Агата"... А она будет поучать меня сверху: "Сестра Таисия, не так молишься! Ну как тебя взять на небо!"

Она стала мрачно и быстро шить. Но, начав говорить, не могла остановиться.

— Всю мою жизнь, — зашептала она горьким шепотом, — всю мою жизнь я мечтала попасть туда прежде сестры Агаты. Пусть бы она жила сто лет. Я бы встретила ее у Небесных Ворот: "Это ты, сестра Агата? Долго же ты зарабатывала вход в Небесное Жилище! Что ты такое сделала? Тайный грех?"

Бабушка уже и не знала, как на это ответить.

— Ама, Ама! — сказала миссис Парриш, появляясь в дверях. — Как твои мысли? Лучше?

— Хуже, — мрачно ответила Ама. — Недавно я спросила одну сестру китаянку, которая мне очень нравится: "Что мне делать, если у меня грешные мысли?" Она ответила: "Молчи, и никто не будет знать. Тут тебя будут любить, и там (Ама показала иглою на потолок) у тебя нет свидетелей".

— А почему, Ама, ты просто не выйдешь замуж? — спросила миссис Парриш. — Ты говорила, что игуменья тебе советовала это же самое.

— А за кого я выйду? За язычника? — Нельзя. За протестанта? — Нельзя. За белого? — Не возьмет. А как вы думаете, сколько в Китае молодых китайцев, холостых и католиков? Я еще не встретила ни одного. Если он хороший католик, то он — монах. Значит, не жених. Но я тем утешаюсь: редко замужние женщины делались святыми. Девство ценится очень. Были святые, о которых только и известно: молчали и не вышли замуж. Но молчать мне труднее, чем не выходить замуж.

— Кто выходит замуж? — спросила Лида, входя. — Ама, это вы выходите замуж? Вы очень любите своего жениха?

— Шт... Шт... —зашипела Ама в страхе и даже отшатнулась, как будто бы ад с его дымом и пламенем раскрылся у ее ног. — Мне запрещено думать о любви. Мне сказано: попробуй начать думать о любви — и ты уже не сможешь остановиться.

— Довольно, — сказала Бабушка. — Мы достаточно наговорились на сегодня.

— Из-за Амы у нас у всех появились дурные мысли, — смеялась миссис Парриш.

24

— Миссис, — обратился Кан к Бабушке, — у калитки стоят три черные дамы. Они спрашивают, можно ли им войти.

Бабушка быстро поднялась со стула:

— Таня, это, наверное, игуменья приехала. Скорее постели белую скатерть. Кан, вскипяти чайник. Дима, уведи собаку из дома. Лида, не ходи в халате, оденься. Петя, ты — старший в семье. Пойдем со мной встречать игуменью. — И торопливо, но с достоинством она направилась приветствовать прибывших.

Три черных фигуры стояли в рамке раскрытой калитки. Впереди — игуменья, несколько позади — две монахини

В наружности игуменьи не замечалось ничего величественного. Очевидно, крестьянского происхождения, она была приземиста, с круглым и добродушным лицом, суетливая, любопытная, как бы постоянно взирающая на интересное и забавное зрелище. За ней, как тонкая черная свеча, возвышалась сестра Марионилла. Ее молодое еще лицо было поразительно, незабываемо. Бледное и тонкое, оно было классических очертаний, и на нем застыло выражение подавленного горького страдания. Глаза ее были опущены долу. Если изредка она подымала их, они обжигали, как пламя. Казалось, что огонь горел внутри ее тела, и от этого она и страдала. За три дня, что она провела в пансионе № 11, никто не слышал ее голоса. Другая монахиня, мать Анастасия, была старая, полная, брюзгливая, и глаза ее выражали подозрение и недовольство.

При виде выходящих из дома Бабушки и Пети она только чуть сузила глаза, и стало ясно: где бы ни была мать Анастасия, что бы ни увидела, ничто никогда не заслужило и не заслужит ее одобрения.

Когда Бабушка подошла к калитке, три черные фигуры склонились в низком, безмолвном поклоне. И Бабушка поклонилась также низко и безмолвно. Прошло две-три секунды.

— Добро пожаловать, матушка игуменья! Милости просим, дорогие сестры! — И, снова кланяясь, она пригласила их в дом.

Медленно и торжественно все направились к крыльцу, где на ступенях ожидала их Мать с поклоном. И тут сразу же обнаружилось, что игуменья не умела долго сохранять спокойствие и церемониальное обращение, слишком для этого она была молода сердцем, жива и любопытна. За короткий промежуток — от калитки до крыльца — она несколько раз нарушила этикет, и всякий раз это

вызывало выражение искреннего и интенсивного страдания на лице матери Анастасии. Казалось, они были связаны какими-то для глаза невидимыми узами, и все, что делала игуменья, сейчас же отзывалось тяжкой реакцией в сердце матери Анастасии.

— Упадет горшок-то! — воскликнула игуменья, показывая пальцем вверх, где на перилах балкона действительно в опасном положении стоял горшок с геранью. Миссис Парриш дремала около, и локоть ее чуть-чуть касался герани.

— Да, как на голову кому горшок упадет-то, беда! — продолжала игуменья и посоветовала: — Убрать бы!

Из-за угла дома вдруг сверкнула пара кругленьких глаз. Высунулась собачья морда. Это Дима хотел хотя бы мельком показать Собаке гостей. Надо бы пройти мимо, но игуменья остановилась и защелкала языком:

— Иди сюда, собака. Да какая страшная! Ну, урод! А то, может, такая порода?

Собака вышла на зов и отплатила игуменье таким же комплиментом: понюхав ее одежду, пропитанную ладаном, она гавкнула и поспешила в сторону. Игуменья засмеялась. На лице матери Анастасии выразилась такая мука, как бы ее обожгли кипятком. Она была знатоком монастырских этикетов: игуменьи не замечают собак. И, уже подымаясь на крыльцо, вместо того чтоб поклониться Матери, игуменья обернулась и сделала высунувшемуся из-за угла Диме такую гримасу, что он фыркнул. Мать Анастасия заметила и это. На ее лице появилось даже какое-то угрюмое удовлетворение человека, который знает, что и как случится, не имеет ни иллюзий, ни надежды, что неисправимое вдруг исправится. Она была мизантропом, и сознание, что она всегда права, ожидая худшего, было ее единственным удовлетворением в жизни.

Войдя в дом, гостьи помолились на образа и еще раз всем поклонились:

— Господнее благословение дому сему.

Когда игуменья в первый раз и всякий раз впоследствии смотрела на икону Богоматери, ее лицо озарялось чудесной улыбкой: это была радость встречи; она как бы видела кого-то дорогого-дорогого, близкого сердцу. Казалось, икона оживала от этого теплого взгляда и тоже отвечала улыбкой. Они обе как бы неописуемо рады были вновь и вновь встречаться в разных местах земного шара.

Игуменья была необыкновенным человеком. Она не получила почти никакого образования и совсем не знала иностранных языков. Даже в Священном писании она не была начетчицей и, случалось, путала, что, где, когда и кем сказано. В дореволюционной России ей бы никогда не быть игуменьей, она бы осталась в монастыре на тяжелой физической работе. Никакой епископ не утвердил бы ее на посту игуменьи, если бы подольше поговорил с ней на религиозные темы. Она не сильна была в догматах, и ее слова иногда отдавали чуть-чуть не то ересью, не то прямо язычеством. Что-то было в ней стихийно-человеческое, что не укладывалось в рамку правил, в одну какую-либо систему мысли, а отзывалось, как эхо на звук, на все, что был человек. Чувствуя такое родство, она всех любила и не умела ненавидеть. Она как-то жила в человечестве и с человечеством, как бы не отделенная от него никакой индивидуальной, отрезанной формой. Ее отличительным качеством было удивительное понимание человеческого сердца, оправдание его в падении и глубокая к нему любовная жалость. Это, за неимением точного слова, называли в ней добротой. Накормить голодного ей было так же необходимо, как есть самой, и если бы она голодных не кормила, то сама бы давно умерла, как птица без воздуха. С озябшим ей было холодно, и согреться она могла, лишь согрев его. Эти качества фатально притягивали ее в среду бедных и нищих, а для сильных мира сего у нее не было времени, к горькому сожалению матушки казначеи монастыря. Короче, она имела — в высшем развитии — то качество, которое отличает именно русскую душу и которое является причиной многих русских исторических успехов и неудач: слепая, нерассуждающая человечность.

Может быть, за это ее и выбрали в игумены. В бурю революции тридцать монахинь, беззащитных, испуганных, голодных, остались в одном монастыре. Нужен был кто-то, чтоб их согреть, накормить, поднять в них бодрость — и кто же это мог сделать веселей и лучше, чем эта игуменья?

За пятнадцать лет игуменья уже основала и поставила на ноги еще три монастыря. Не имея никакого регулярного дохода, она кормила триста женщин-монахинь, послушниц, сирот и бездомных, всеми покинутых старушек. Ее единственным доходом было то, что она получала при личных обращениях к людям, и то, что молящиеся сами приносили в монастырь. Главное, чем она держала в постоянном изумлении лиц как светских, так и духовных, было то, что в ее монастырях совершались чудеса, — и в этом невозможно было сомневаться. Ее чудеса происходили именно тогда, когда свидетелями были неверующие, или когда вокруг было много разных людей, часто и язычников. Чудеса, как, например, исцеление, приводили в трепет верующих и в ужас — неверующих. Игуменья же к ним относилась как к чему-то естественному, вроде хорошей погоды после бури.

Но была и другая сторона этих чудесных событий. Получивший Божию милость в монастыре должен был, по мнению игуменьи, честно расплатиться. Тут же она цитировала из Евангелия: "Не десять ли очистилось? А девять где? Почему они не пришли воздать хвалу Богу?" И она рисовала ужасы, ожидавшие девять не пришедших. Ее условия были таковы: во-первых, испытавший милость чуда обязывался молиться, как требуют правила церкви, и, во-вторых, сообразуясь со средствами, вносить посильную дань на содержание бедняков в монастыре. Она, бывало, долго обсуждала, какая дань на монастырь являлась посильной, входила в детали в отношении и дающего и получающего и затем сама всем охотно рассказывала, насколько увеличился доход монастыря. Это приводило в смущение духовенство. Это не вязалось с духом христианства — но что было поделать с игуменьей? Она была единственным духовным лицом, творящим чудеса. К ней они и отсылали всех, нуждающихся и в чуде и в хлебе. Она же никогда никому не отказывала, по крайней мере в хлебе, и о чуде тут же начинала молиться.

Иногда случалось, что, например, пятьдесят две сиротки играют во дворе монастыря. Возвращаются в помещение их пятьдесят четыре. После расследования оказалось, что какие-то две неизвестные женщи-

ны открыли калитку монастыря и втолкнули во двор еще чьих-то двух сирот. Такие неизвестные лица никогда не возвращались за детьми. Сиротки оставались в монастыре: еще два рта и два пустых желудка. Возрастали расходы, возрастала и нужда в чуде.

Сила ее веры, простой и радостной, была поразительна. Сомнение в существовании Бога было единственным человеческим состоянием, неизвестным игуменье. Она говорила, что все люди верят в Бога, хотя многие и не догадываются об этом, и что без веры никто не мог бы жить даже и минуты — до того бы ему, неверующему, страшен стал мир. Отрицание веры и Бога она рассматривала как одну из злых детских шуток, злейшую из всех, правда, но все же шутку. Сама же была полна какой-то неиссякаемой энергии и радости, и это притягивало к ней людей, как магнитом. Ее трудно было увидеть одну, все она была окружена людьми.

Семья долго вспоминала с удовольствием те три дня, что монахини провели в пансионе № 11. Матушка игуменья сделалась душой общества и центром интереса. Во всем она вдруг находила радостную сторону, не замеченную другими. Она и профессор особенно наслаждались взаимной беседой. Ее поражали чудовищно обширные познания профессора; его поражала ее полнейшая неосведомленность обо всем, что сделала для мира наука. Он — своей логикой, она — отсутствием логики приводили друг друга к неожиданным заключениям, и потом сердечно смеялись оба.

— Прекрасно, — говорил профессор, — значит, вы, матушка игуменья, полагаете, что в рай войдут все хорошие люди: и православные, и католики, и протестанты, и даже язычники.

— Конечно. Милосердный Бог не отвергнет человека, доброго сердцем.

— Знаете ли, — уже кричал профессор в восторге, — за такие речи вас сожгли бы на костре, живи вы в Европе в средние века!

— Европа может ошибаться, — возражала игуменья. — Ну, и я не сразу бы пошла на костер, я бы еще поспорила. Сжечь монахиню — дело нетрудное. Но будет ли это доказательством, что доброта человеческого сердца ничего не значит у Бога?

Мать Анастасия, всегда присутствовавшая там, где была игуменья, вдруг завозилась на стуле. Этими звуками она старалась дать понять, что игуменья говорит лишнее: у них был такой уговор. Игуменья жила интенсивной духовной жизнью, мать Анастасия следила за этикетом.

На второй день пребывания в Тянцзине игуменья возвратилась от ранней обедни больной. С трудом, со стонами взошла она на крыльцо и опустилась на первый попавшийся стул. Бабушка окружила ее заботами: помогла пройти в столовую, снять мантию, дала выпить воды. Через пять минут игуменья уже опять улыбалась. Она тут же встала на колени перед иконой Богоматери:

— Еще потерпишь меня на земле, Богоматерь? Еще отложишь Твой суд надо мной? — спрашивала она, ласково Ей улыбаясь.

И вскоре повествовала за чаем:

— Болезней у меня много. И разные болезни, то есть болит везде. Приходит минута — не могу терпеть, стону, жалуюсь, а то и поропщу. Как подходит минута ропота, я сначала прочитаю псалом, а потом скажу Богородице: "А теперь Ты меня пока не слушай, буду роптать. Помни, не по безверию, а по телесному моему малодушию".

Бабушка только вздыхала.

— Налейте, пожалуйста, мне еще чашечку чайку с лимоном. Очень люблю. Знаю, скоро умру. Что там буду пить — неизвестно. Но уж не будет там чайку с лимоном.

— А какие болезни у вас? — участливо спросила Бабушка.

— И сказать страшно, — улыбалась игуменья. — Первое — рак желудка.

— Боже мой! — воскликнула Бабушка. — Но это... это...

— Да, очень больно. Потом камни в печени. Тоже не радость. Ревматизм, конечно. Ну и как полагается в монастырях от долгих стояний на молитве, ноги мои — ах! ноги мои — мученье.

— Здесь у нас есть замечательный доктор. Еврей, по фамилии Айзик. Очень хороший и денег не берет, так лечит.

— Люблю я еврейских докторов, — сказала игуменья. — И полечит и пожалеет. Ну, просто жалко ему пациента. Тоже редкость у докторов.

— Сегодня он приедет навестить англичанку. Вы бы поговорили с ним, матушка игуменья. Может, и облегчит ваши болезни, хоть немного.

— Пусть облегчит, — соглашалась игуменья. — Я и то буду рада.

Доктор Айзик появился в пансионе вместе с Розой. Бабушка сразу же почуяла опасность и приняла меры, чтоб оградить монахинь от Розы и ее реплик. Профессор и Анна Петровна были откомандированы удерживать Розу в саду на скамейке, пока доктор навещал пациентов.

Сначала Роза была очарована галантностью и вниманием профессора, но это длилось недолго. Она слушала его речь, и отношение к нему быстро менялось. Когда он блестяще доказывал иллюзорность видимого мира — и этих двух деревьев, и их самих, и даже их встречи, Роза, не дослушав конца фразы, вдруг круто повернулась к Анне Петровне:

— Поздравляю! Еще один сумасшедший. Вы слышите, что он говорит?

Профессор, несколько озадаченный ее резкостью, пробовал объяснить:

— Женский ум, как правило, мало способен к научным сомнениям. Когда женщина, например, наряжается на бал, может ли ей прийти в голову: "А вдруг ни я, ни этот бал, ни это бальное платье не существуют?"

— Вот что я вам на это скажу, — возразила Роза гневно, вставая со скамейки. — Допустим, я не сомневаюсь, и я одеваюсь. Но если вы сомневаетесь, что этот ваш костюм существует, то зачем вы вообще по утрам одеваетесь?!

И она ушла в дом. С тех пор, если ей случалось говорить об Анне Петровне, она ее называла "эта несчастная женщина".

Доктору не понадобилось много времени для пациентов. Миссис Парриш он знал хорошо. Игуменья же как монахиня могла только говорить с доктором-мужчиной. Она с удовольствием показала ему рентгеновские снимки, химические анализы и рецепты. Перед удивленным взором доктора развернулся, можно сказать, единственный

случай. И эта женщина еще могла сидеть спокойно и весело повествовать о своих фатальных болезнях.

— Ну что вы мне теперь скажете? — спрашивала она с интересом. — Чем поможете?

— И сказать ничего не скажу, и помочь ничем не могу.

— Жалко, — сказала игуменья таким тоном, как бы речь шла о ком-то другом, — я уж было подумала: "А ну, как"... Ну и не будем говорить о болезнях. И вам они надоели и мне. Как дойдет до настоящей минуты, то и вера и наука уже не спорят, говорят одно: "Терпи!" — И она засмеялась. — Спросим, не дадут ли нам чайку. Попьем и поговорим о чем-нибудь хорошем.

На следующий день монахини готовились к отъезду. Игуменья восхищалась тем, как она хорошо отдохнула. Укладывая для них корзиночку с провизией, Мать положила туда два лимона. От нее это была почти евангельская "лепта вдовы".

Монахини уехали, и дом вдруг показался печальным. Решено было в этот день не читать, а всем лечь пораньше и хорошо отдохнуть. У всех появились какие-то свои новые мысли, которыми не хотелось делиться.

Когда все разошлись, Мать вышла на крыльцо. Там стояла Ама, работавшая для миссис Парриш.

— Ама, ты все еще здесь? Так поздно?

— Хочу вам что-то сказать!

Ее голос звучал торжественно, лицо выражало триумф. В углах ее косых глаз, в складках рта, в ямочках на щеках и подбородке — везде светилась радость мести, которая, по словам знающих, слаще меда. Она стояла, осиянная луной, и, казалось, сама сияла.

— Сестра Агата вернулась! — сказала она и засмеялась каким-то внутренним беззвучным смехом. — Жива, здорова. С ней ничего не случилось. Ее не очень-то торопятся взять туда! — И своим темным пальцем она показала высоко, в сияющее лунное небо.

25

Под опытным руководством профессора Дима вступал в фантастический мир точной науки. Даже в сказках Бабушки не было ничего такого чудесного. Какое счастье быть человеком! Какая радость жить в этом интереснейшем мире! Какая чудная эпоха — человечество начинает освобождаться от суеверий и предрассудков.

С повышением мнения о человеке у Димы понижалось мнение о Собаке. Она ничего не понимала. Она пыталась лизать микроскоп, не умея смотреть в него. Занятый с профессором, Дима часто забывал о Собаке. Она чувствовала это и тихо уходила из дома. Она становилась на то место, где стояла впервые, прибыв в дом № 11, и повесив голову грустно размышляла о чем-то. Мало того, увлеченный теорией полезности, Дима начал учить Собаку подымать и приносить вещи, помогать в хозяйстве. Лишенная дара речи, как она могла возразить? Да и умея говорить, смогла ли бы она разрушить очарование профессорских теорий и вернуть Диму к прежним детским занятиям и радостям? С другой стороны, Собака не могла разлюбить Диму, так как сердце Собаки не знает измен. Оставалось — молчание. Собака страдала. Она худела. А все говорили, что она больна от жары.

И Лида как-то отдалилась от профессора. У ней была своя полная жизнь, и теории прошедшего и будущего ей совсем не были нужны. В день, когда Джим уехал из города, что ей был закон Архимеда? В час, когда пришло его первое письмо, к чему ей объем цилиндра? Из всего обширного мироздания ее интересовала исключительно планета Земля. Из всех таинственных форм жизни ее интересовала только ее собственная жизнь. Из всех мировых событий — приход почтальона. Профессор понимал это и, встретив Лидин взор, говорил:

— Лида, я объясню вам о магнетизме когда-нибудь после. Этот урок будет только для Димы.

Да, Джим уехал. Час отъезда прошел в каком-то тумане. Не то чтоб туман повис над городом, но что-то стояло в глазах и мешало видеть. Но слез не было пролито.

Когда подошел последний момент расставанья, они поцеловались. Затем она его видела у окна. Затем состав поезда задрожал, зашевелился, что-то стало цокать, раздался пронзительный свисток — и поезд тронулся. Лида сначала шла, а потом бежала за ним. Окно с Джимом катилось все быстрее, все дальше. Закат пламенел, и поезд плыл в это пламя и свет, к далекому горизонту. Тень ложилась на платформу. Провожавшие разошлись, и только Лида стояла и смотрела в ту сторону, куда уехал Джим. Поезда давно не было видно. Ничто даже не напоминало о нем. И закат, как бы сделав свое дело, то есть осветив путь Джиму, отпраздновав его отъезд, начал гаснуть. Лида стояла одна и шептала:

Как солнце, скрылись вы в дали заката,
И сумерки на сердце залегли.
Тревогой вновь душа моя объята, —
Как солнце, скрылись вы вдали.

С этого дня Лида мало интересовалась окружающим. Она создавала для себя мир, в котором возможно было бы ей продержаться три-четыре года. До тех пор, когда... Но это "когда" было так далеко, так нереально, что приходилось искусственными мерами питать веру в него. Когда становилось вдруг очень грустно, она бежала в столовую и открывала книгу наугад, и первые слова, попавшие ей на глаза, должны были означать, о чем думает Джим в данный момент. Для этого употребления она избрала два тома — Пушкина и Лермонтова, от них легче было добиться толку, чем, например, от "Истории цивилизации" или "Единообразия религиозного опыта". С бьющимся сердцем она раскрывала книгу, и Пушкин умел мигом успокоить ее:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты...

И Лида понимала, о чем шла речь. Это было у пруда. Я выходила из воды...

...Как мимолетное виденье!

— Милый! — говорила Лида не то Джиму, не то Пушкину и целовала стихотворение.

Но Лермонтов иногда не скрывал пессимизма:

Он далеко. Он не узнает.
Не оценит тоски твоей...

— Что такое? — вскрикивала Лида. — Нет, я перейду на одного Пушкина.

И Лермонтов вернулся в библиотеку.

Первое письмо Джима пришло через неделю. Это было длинное письмо с двойным количеством почтовых марок. Жизнь сердца расцветала, расширялась. Были воспоминания, карточка, часы. Теперь прибавилось еще письмо. И уже Лида нежно просила у Пети коробочку или, еще лучше, ящичек из магазина, и хорошо бы с замочком, если есть такие дешевые, — и это был бы подарок ей вперед за Рождество.

Пока молодое поколение дома № 11 проходило через новые фазы жизни, старое менялось также, но в другом направлении. Глубокая, хотя вначале и мало заметная перемена происходила в Бабушке. Возможно, она началась, когда Бабушка стала рассказывать миссис Парриш историю своей жизни. Воспоминания, как громадные волны, смыли ее с твердой почвы настоящего и унесли в море прошлого. Она уже больше не могла вернуться к настоящему со всем своим полным вниманием. Прошлое не отпускало ее. На нее стали находить моменты забывчивости, когда она, вдруг как бы очнувшись, растерянно смотрела вокруг: “Где я? Что это? Что со мной?” Или, внезапно проснувшись среди ночи, она испытывала ощущение необычайной радости. Ее сердце трепетно билось. Ей казалось, что она в родительском доме, — только там она просыпалась такою счастливою когда-то. “Расцвела ли сирень? — думала она. — Но почему не поет соловей? Почему закрыто окно в сад? Но это не то окно. Там нет сада. Где я? Эта дверь, куда она? Там детская? Дети? Какие дети? Сколько их там? Кто?”

И как бы по ступенькам она спускалась вниз, от света и счастья, от цветущей сирени в отцовском саду, во тьму и в могилу — к своей настоящей жизни: “Дети? Но Павел убит. Я видела тело. И Костя... и Лена... Боже мой! Но Таня, Таня! Таню я не видела мертвой. Таня жива. Я живу с Таней. Сколько мне лет? Пятьдесят? Шестьдесят? Семьдесят?”

Ее сердце глухо стучало, она пугалась его ударов. Наконец, она приходила в себя: “Семьдесят, семьдесят”, — и покорно никла головою. Она чувствовала себя такой утомленной, такой усталой, такой уже невещественной, нереальной. “Пора, пора! Господи!” — и она начинала молиться.

Как-то, сидя с миссис Парриш в саду, она случайно взглянула на дерево. Оно ей показалось странным. Сначала она не могла понять, что она видит. “Дерево, дерево”, — но вдруг из него выступили контуры другого дерева. “Ах, это тот дуб, что посадил дедушка. Мама любила сидеть под этим дубом”. Но дальше ведь были деревья, посаженные ее отцом, мужем и каждым из сыновей. Этих деревьев она не видела.

— Где они? Где другие деревья? — спросила она испуганно, но вдруг поняла все и тихо заплакала.

Иногда она вдруг забывала, что надо делать с той или другой вещью. “Почему я держу эту ложку? Что с ней делать?” — и опять она пугалась, не зная, что для нее реальность, что ее прошлое, что — настоящее. И только молитва еще связывала распадающуюся жизнь в одно целое, приводила в порядок мысли, помогла до конца остаться всем дорогой Бабушкой.

26

Бабушка умерла в конце ноября. Строго говоря, для смерти Бабушки не было непосредственной причины. Слепо действует закон: кто рожден, тот должен умереть, и, возможно, этот ноябрь был самым подходящим временем для ее смерти.

Осень была холодная. Городу угрожало наводнение. Те же мешки с песком, что служили летом для укрепления границ концессий, были перенесены на берег и употреблялись для поднятия берегов Хэй-Хо. Река же эта, как бы ужасно чем-то рассерженная, отрывала мешки по одному и злорадно выкидывала их в море.

Зима не может быть любимым временем года для бедняка. Тянцзин встречал ее хмурым взглядом. Настроение у всех было тревожное. Нищие ходили толпами. Ревело радио, поставленное на перекрестках японской резиденции. Оно сообщало о каких-то баснословных успехах японской армии. Началось систематическое преследование неугодных новой власти и затем их исчезновение. Цены росли, а пищевые продукты были такого низкого качества, что, казалось, их можно было есть лишь с опасностью для жизни. Все это понижало жизнеспособность людей, а у Бабушки ее и так оставалось немного. С нее было достаточно жизни.

Почувствовав это, она стала готовиться к смерти. Как и все для себя, она сделала и это спокойно и незаметно. Она постилась и причастилась за ранней обедней. Придя из церкви, она медленно обошла весь дом и двор, посидела, согнувшись, одна “в саду” на скамейке, рукою погладила каждое дерево. Она подолгу и как-то особенно нежно глядела на каждого члена семьи и нашла время с каждым поговорить наедине и подолгу. И все-таки Семья не догадывалась. Бабушка казалась им вечной, неразрушимой, как жизнь. Никто из них еще не жил в мире, где не было Бабушки, она сплеталась с жизнью, как свет, как воздух.

Бабушка закончила рассказывать историю своей жизни и попросила у миссис Парриш недельный отпуск. “А то и надольше, дорогая моя...” Сто рублей — жалованье — она положила в конверт, надписав: “На мои похороны”. Еще оставались кое-какие деньги, она положила их в сумочку и спрятала у себя под подушкой. Когда Таня ушла на базар, она достала заветный узелок, где были рубашка, платье, чулки и плоские черные туфли — “для гроба”. Она все пересмотрела, все было чистое, в порядке, правда, смято.

— Но Таня разгладит, — прошептала Бабушка и спрятала узелок обратно. — Не напугать бы Таню раньше времени.

Двадцать третьего ноября Бабушка сказала:

— Дорогая Таня, я не встану сегодня, полежу в постели. Чувствую себя очень усталой.

Эти простые и, казалось бы, обыкновенные слова испугали Мать. От Бабушки она слышала их в первый раз. Все равно что солнце сказало бы ей:

— Таня, сегодня я не буду светить. Чувствую себя утомленным.

От страха Мать сразу ослабела и опустилась на стул. Они были наедине. Что делать? Она кинулась в кухню и приготовила кофе. С какой улыбкой, с какою надеждой она внесла в столовую эту чашеч-

ку кофе! Можно было подумать, что в этой чашечке предлагается эликсир жизни.

Бабушка посмотрела на чашечку и закрыла глаза. Опять посмотрела и сказала:

— Знаешь, Танечка, выпей сама. Я устала.

Больше не было у Матери ни лекарств, ни возможностей. Оставался один доктор Айзик.

— Не уходи от меня сегодня, — сказала Бабушка через полчаса. — Устройся, Таня, чтоб быть от всего свободной на несколько дней. И Лиду хочу видеть. Ты найми кого-нибудь на недельку. Деньги у меня тут, под подушкой.

К вечеру перемена в Бабушке была уже всем заметна. Диагноз доктора Айзика был краток и прост: это была смерть, конец. Он сказал это Семье в более мягких выражениях, но смысл был тот же и всем ясен. Бабушка умирала. Тот таинственный источник, откуда почерпается организмом его энергия, иссяк, для Бабушки не осталось ни капли. От этого нет лекарства.

Слова доктора повергли Мать в отчаяние, но они же вытрезвили миссис Парриш. Она пошла на кухню, приказала Кану нанять еще одну прислугу и сказала, что теперь она сама займется хозяйством и, кроме нее, чтоб никого и ничем не беспокоили. Кан сначала обрадовался, но, встретив взгляд миссис Парриш, понял новую ситуацию и несколько испугался. Затем она велела устроить Лидину постель у себя в комнате, а Димину — у Черновых. У японцев она выключила радио, а мистера Суна просила проверить бумаги новой прислуги. Провизию она заказала по телефону — и в первый раз те из членов семьи, кто мог есть, имели ужин из трех блюд.

Рано утром, на заре, Бабушка позвала:

— Таня, посиди около меня, я на тебя посмотрю.

И после некоторого молчания попросила виноватым голосом, как бы прося извинения за доставляемое беспокойство:

— Пригласите священника. Пора совершить миропомазание.

Это был конец. После этого уже не оставалось надежды. Матери показалось, что и она умрет с Бабушкой. Разве не прожили они всю жизнь вместе? Они никогда не разлучались. Даже в тюрьме они были в одной камере. Можно ли их разлучить? Что останется, если от Матери отнять Бабушку? Сможет ли эта часть их обоюдного существа жить? Отделима ли она? Будет ли она жизнеспособна?

И все же Мать жила и двигалась, приготовляя Бабушку к таинству миропомазания. Она одела ее в белое и накрыла белым. Бабушке уже было не тепло и не холодно. Она уже не знала, удобно ли ей лежать или неудобно. Она не была голодна и не хотела пить.

Пришел священник, зажгли восковые свечи, кадили ладаном. Сняли икону и поставили на стол, покрытый белой скатертью. Там же батюшка положил Евангелие и крест. Вся Семья, кроме Димы, собралась у постели. Анна Петровна и миссис Парриш тоже присутствовали. Было тихо-тихо, только где-то далеко вверху жужжали японские аэропланы.

Священник, старый, бедный и жалкий, покашляв немного, начал молитвы.

Тихим, проникновенным голосом он благословлял Бабушку умереть, отпускал ее из этой жизни. Он обещал ей другой и лучший мир и прекрасную жизнь без печали.

Обряд миропомазания начался. Миро благоухало розами, и казалось, что где-то близко расцвел розовый сад. Священник коснулся глаз Бабушки, глаз, созданных для света, но уходящих во тьму; ее ушей, что слышали и не услышат больше; ее рук, которые много работали и отныне не будут трудиться; подошв ее ног, которые прошли по всем тропинкам людской печали и больше уже никуда не пойдут. Миро очистило ее от житейской пыли, что покрыла ее на пути. Теперь она была от всего очищена, освобождена от всех земных уз; она переплыла свое “житейское море”.

Бабушка, со святой покорностью на лице, внимательно следила за обрядом, слушала — и все понимала. Это была ее смерть, это она умирала, и это были ее последние часы на земле.

Священник начал читать последние молитвы, в которых еще нуждалась Бабушка: “Канон на исход души”.

“Каплям подобно дождевным” прошли и ее дни. Это ее родных от ее имени призывали: “Плачите, воздохните, сетуйте: се бо от вас ныне разлучаюся”.

Мать, Лида и Анна Петровна тихо плакали. Миссис Парриш не понимала читаемого, но и она была глубоко тронута.

— Душе моя, душе моя, восстани, что спиши? Конец приближается.

Всем стало тяжело и страшно, всем, кроме Бабушки. Ее лицо оставалось ясным и спокойным, и только глаза выражали смущение оттого, что она является причиной таких переживаний.

Когда обряд был закончен, священник поздравил Бабушку: она умирает как христианка, благочестиво и с полной покорностью Божьей воле. Подняв высоко крест, он благословил ее торжественным и величественным жестом и именем Христа, пострадавшего за нее, отпустил ей все грехи.

Теперь все было кончено. Больше ничего нельзя было для нее сделать. Ничто не было опущено или забыто. Бабушка была приготовлена. Ей оставалось благословить каждого члена Семьи и уйти с миром. Прежде всего она хотела видеть Диму.

Все это время Дима, профессор и Собака были в комнате Черновых. Перед микроскопом, рассматривая то живую, то мертвую клетку, профессор объяснял Диме, как в сущности проста смерть. Научно никакой смерти и не было и не могло быть, есть только видоизменение, переход материи из одного состояния в другое. Так и с Бабушкой. Все ее атомы были в порядке, но разрушались клетки, разлагалось то, что было для них цементом. Бабушка разрушалась, распадалась. Временная конгрегация клеток, что и составляло Бабушку, не могла более существовать в целом — не цементируемая. Она распадется, начнутся уже другие, новые конгрегации, но ни одна из них не сможет быть Бабушкой, потому что ни в одну из них не войдут все и исключительно только Бабушкины атомы. Ясно: Бабушка неповторима.

Сначала Диму все это и увлекло и развлекло, но к концу все же стало жутко и неутешно.

Тут Диму позвали в столовую.

И все же он шел без страха. Смерти боятся только трусы. Он подошел тихонько (“Не стучи ногами”, — сказала Мать) и стал у дивана. С какой

нежностью. Бабушка смотрела на него! Бледный, слабый ребенок. Сиротка. Сначала мать, потом отец, а теперь и она, бабушка, покидала его. Дима храбро, не мигая, смотрел на нее. И вдруг, внезапно, они друг другу улыбнулись светлой веселой улыбкой. Была еще какая-то связь между ними, которая не разрывалась ничем, даже смертью. Так улыбалась Бабушка, бывало, в трудный для Димы час, и за такой улыбкой следовали слова: "Знаешь, Дима, у меня есть для тебя что-то вкусное!" Но уже Мать отводила Диму в сторону, и Лида стояла на коленях под Бабушкиным благословением "на долгую, счастливую и христианскую жизнь", и "не забудь, когда увидишь Джима, поклонись от меня". Она погладила по голове и коленопреклоненного Петю, а затем благословила Мать, передав ей фамильную икону: "Сбереги" — и дав ей последнее наставление на остаток жизни: "Молись и терпи". Миссис Парриш, в эти дни совершенно трезвая, тоже стала на колени получить Бабушкино благословение — и этот момент заключил для нее рассказ — историю Бабушкиной жизни. Анна Петровна не благословлялась, она просто поцеловала руку умирающей и уронила на нее несколько капель горячих слез. Но уже входил профессор, и в самом обычном своем настроении — энергичный и бодрый — он желал Бабушке "счастливого пути". Он имел сообщить новость: неизвестная еще планета появилась в поле зрения телескопов, и уже было начал высказывать свои соображения по этому поводу, но Анна Петровна взяла его за руку и повела из столовой. На пороге он приостановился и еще успел сказать, что если Бабушка продержится дня 3—4, то сможет увидеть эту планету на небосклоне невооруженным глазом.

Бабушка просила позвать Кана. Лунообразное лицо его выражало смущение. Он не знал, о чем будет речь, и, помня за собой не одну погрешность, побаивался. Но она дала ему три доллара и просила передать ее привет всем его родственникам.

Тут Кан осмелел:

— Умирать — это ничего, достопочтенная леди. Мы все это делаем. Немножко отдохнете, а потом опять будете жить в новом теле. Будет хорошо.

Затем Бабушка просила передать привет мистеру Суну и всем японцам, живущим в доме. И, утомленная напряжением последних часов, она приступила к смерти. Она более не сопротивлялась ей. Она погружалась постепенно в тот покой, что открывался перед нею. Она умерла в ту же ночь. На груди у нее лежала маленькая икона Богоматери, в сложенных, холодеющих руках была зажженная восковая свеча, и Мать, стоя на коленях, поддерживала эту свечу. Царила полная тишина. Открытые глаза Бабушки затуманивались все больше и больше, они теряли свой цвет и блеск, они уже не видели. Она дышала все реже. Слабое движение было заметно только на шее, где одна вена еще продолжала биться, как пульс, все остальное тело было неподвижно. Но и эта вена вздрагивала все реже, и когда она остановилась, Бабушка была мертва.

Торжественно и спокойно, с сухими глазами, без звука, Мать встала с колен и своим дыханием погасила свечу. И это пламя и Бабушкина жизнь ушли куда-то вместе. Наступил день для Матери занять оставленное в Семье место.

А Бабушка? Через все ужасы жизни — через войны, огонь, кровь, дым и смерть — она пронесла свою веру и возвратила Творцу свою душу такой же чистой, какой получила ее от Него.

27

Когда мистер Стоун, возвратясь из Мукдена, подъезжал к дому № 11, ему навстречу выходила похоронная процессия. Мать в трауре (ее одежда была наспех перекрашена в черный цвет) шла за гробом, Лида и Петя шли за нею, чуть позади. Петя вел за руку Диму. Небольшая группа друзей шествовала за ними. Профессор оживленно поглядывал по сторонам, предвкушая аудиторию. Новая планета не давала ему покоя, ибо в ее составе предполагались неизвестные на Земле элементы. Анна Петровна в новом синем светре (Бабушка все-таки успела его довязать) несла венок из хризантем (самые дешевые цветы в это время года). И, возглавляя все, впереди всех, перед гробом Бабушки священнослужитель нес большой крест, символ того, что жизнь христианина есть крестная ноша.

Мистер Стоун посторонился, отошел подальше, уступая дорогу процессии. Он снял свою шляпу. Но он не спросил, кого это хоронят. Гроб был мал, и миссис Парриш никак не вместилась бы в него. Пропустив процессию, он вошел в дом. Дом казался пустым. Кан совершенно бесшумно прибирал столовую. Мистер Сун жег ароматные похоронные свечи в своей комнате. По его религиозной традиции, это ароматное облако дыма поможет Бабушкиному восхождению ввысь.

Мистер Стоун нашел сестру в кухне. Чистая и опрятная, в фартуке, она готовила Семье обед. Увидев брата, она вдруг улыбнулась ему той прежней, давно забытой, юной улыбкой, которой он уже не надеялся больше увидеть, и поцеловала его. На мгновение они вернулись в прошлое, в Англию, в сад, полный роз, и она сказала ему тогда: "Дэви, как я счастлива! Я обручилась сегодня!" Но сейчас она сказала только: "Дэви, пойди наверх, я принесу тебе чаю!"

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Шестого января по новому стилю, в холодный, ветреный и хмурый день Семья готовилась встречать рождественский сочельник.

У них не было денег на елку, а без елки какой же сочельник для Димы? — и профессор предложил нарисовать елку на стене столовой.

— Дайте волю воображению, — поучал профессор, рисуя, — и ваша жизнь станет полней и прекрасней. Идея вещи всегда более привлекательна, чем вещь сама по себе. Начать с того, что идея бессмертна и неуязвима, вещь же портится, гниет, разрушается. То же можно сказать и о чувствах. Воображаемые чувства и их воображаемый источник сильней настоящих. Самый бедный человек — это тот, кто живет настоящим. Он — нищий. Он жалок. Его жизнь скучна в математически точном ходе деталей. Им управляет неумолимый закон механики. А мечтатель? Он парит высоко. Он неуяз-

вим. И помни, Дима, только человек с воображением может быть творцом; без него — он раб четырех арифметических действий. Итак, смотри: вот наша рождественская елка!

На стене были приколоты кнопками листы белой бумаги. На них профессор начертал в коричневых и темно-зеленых тонах мощное дерево. Затем была очередь Анны Петровны "развешивать игрушки". У каждого из членов Семьи она спросила, что им подарить, и с пачкой цветных карандашей в руках приступила к делу.

В четыре часа автомобиль подъехал к калитке, и вся Семья с миссис Парриш отправилась на кладбище навестить Бабушкину могилку. Дима нес небольшой пучок хризантем, завернутый в вощеную бумагу — его подарок Бабушке на Рождество. Он истратил на это все свои деньги: 20 сентов, оставшиеся от покупки оружия, и доллар, данный ему доктором Айзиком как аванс — подарок на Рождество. Миссис Парриш платила за автомобиль на кладбище и обратно, и это был немалый подарок от нее Семье, так как русское кладбище находилось далеко за городом.

Удивительная вещь произошла с миссис Парриш: она перестала пить. Со дня смерти Бабушки она не выпила ни капли алкоголя. Почему? Возможно, что какой-то цикл в ее внутренней жизни был завершен, и начался новый. Возможно, что подействовало лечение, — только она не чувствовала больше надобности в вине. Ей казалось, что заполнилась какая-то зияющая мучительная пустота в ней самой. Она проснулась однажды утром с чувством, что этой пустоты больше нет, нет мучительных тоскливых часов дня и ночи, нет беспредметной тревоги, неопределенного страха, нет одиночества. Все изменилось. Появилась не нервная, а какая-то здоровая молодая энергия. Миссис Парриш стала аккуратной и сдержанной. Голос из крикливого перешел в мягкий и неспешный говор хорошо воспитанной англичанки. Ее манеры теперь были безукоризненны. И вот эта новая миссис Парриш меньше подходила к жизни в Семье, чем прежняя. Ее стали стесняться. Теперь в ее присутствии все как-то тоже подтягивались, и уже не было прежней непосредственности в отношении к ней. Миссис Парриш замечала это, ей было неприятно, но она не подавала вида.

Рождественский сочельник был постным днем, но вечером ожидался ужин. Загадочно улыбаясь, профессор сообщил, что у него в кармане спрятан десерт. Когда появилась на небе первая звезда, сели за ужин, и в должный момент профессор вынул из кармана десерт — это было письмо от мадам Милицы. Надев очки, он просил всеобщего внимания. Здесь миссис Парриш встала и просила разрешения уйти, так как у ней не было свободного времени. Но все поняли, она уходила потому, что судьба Милицы была ей неинтересна. Это казалось обидным. Это подчеркивало, как далека была эта новая миссис Парриш от той старой, которую они сердечно любили. Мало того, она просила разрешения у Матери увести с собой Диму, так как ему приготовлен подарок. И когда она ушла и Дима ринулся наверх, всем показалось, что миссис Парриш разрушает что-то для них дорогое. Общую мысль выразил профессор, удивляясь, что его ученик, уже поняв, что идея вещи выше, чем сама вещь — все же побежал к миссис Парриш, которая — увы! — могла дарить только вещи, но не их идеи.

Чтение письма заняло два часа.

Наконец мадам Милица была в Шанхае. Едва она успела поместить свое объявление в газете, как получила платную должность. Она определилась компаньонкой к англичанке, чье имя — леди Доротея. Они живут теперь вместе, в лучшем отеле Шанхая, занимая три комнаты. Хотя леди Доротея заполняет положительно весь день мадам Милицы, она платит ей хорошее жалованье в добавление к полному содержанию. Причиной всему несчастная любовь в жизни леди Доротеи. Четверть века тому назад, перед мировой войной, она была в России, отдавая визит друзьям. Там она встретила молодого прекрасного гусара, чья фамилия была Булат. Она влюбилась. Он был тогда вдвое моложе леди Доротеи — веселый, беззаботный, страстный игрок. Как ни пыталась она объяснить ему свою любовь, он не принимал ее всерьез. Тогда она сделала ему предложение. Хотя и очень мягко, он решительно отказался от ее руки и сердца. Подождав немного и выбрав день, когда он сильно проигрался, она повторила предложение. Поручик Булат позвал своего денщика и спросил:

— Иван, как ты думаешь, не жениться ли нам?

И Иван твердо ответил:

— Никак нет, ваше благородие.

— Почему?

— Во-первых, мы, ваше благородие, молодые, а во-вторых, мы играем в карты.

— Видите! — сказал Булат Доротее. — Это есть голос рассудка. Я всегда прошу Ивана думать за меня.

Но она держалась твердо.

— Я очень богата, — сказала она, — и хотя, выйдя за вас, я потеряю титул и родовой замок в Шотландии, у меня останется на что вам играть. Что же касается вашей молодости, она пройдет.

— Видишь! — сказал Булат Ивану. — Что ты на это ответишь?

Но Иван стоял на своем твердо:

— У нас, ваше благородие, долги. И не похоже, чтоб мы исправили наше поведение после женитьбы.

— Этим последним займусь я сама, — произнесла внушительно леди Доротея. — Все меняется, изменится и характер гусара.

— Что ж, Иван, — опять спросил поручик Булат, — уж не жениться ли? Может, исправимся, а?

— Никак нет! — твердо промолвил Иван. — Не стоит.

— Как видите, миледи, — обратился Булат к Доротее, — это — решение Ивана, а он — мыслящая сила в нашем хозяйстве. Итак, благодарим вас за честь и смиренно отказываемся.

Леди Доротея не привыкла, чтоб ей отказывали. В ней поднялось упорство многих поколений спортивных предков — охотников. Ее дичь убегала. Оставалось упорно преследовать. Она обязана быть достойным потомком великих предков.

Она объяснила Булату, что по молодости он еще не понимает, что для него хорошо и что плохо. Она старше, ей виднее. Она возьмет в свои руки обе их жизни и будет управлять ладьей. Таким же молодым, как поручик, не должно давать даже права решать вопросов подобной важности. Пусть он успокоится, она сама все устроит. Она уедет на время в Англию, приведет там в порядок свои фамильные

дела. Затем она приедет, и они немедленно вернутся к интересующему ее вопросу для более полного и детального его обсуждения.

Пока она ездила, началась мировая война. Затем последовала в России революция и гражданская война. Леди Доротея потеряла из вида любимого человека, но его образ жил в ее сердце. Как только мир был подписан, она начала поиски поручика Булата. Она проследила все движения его гусарского полка через войну и революцию. Ей удалось найти кое-кого из офицеров полка, но что касается поручика Булата, было мало вероятно, что он еще жив. Возможно, конечно, он где-либо за границей, с беженцами из России. Леди Доротея предпринимала одну за другой поездки в те страны, где были группы русских эмигрантов. Она начала поездки методически, по алфавиту, начав с Абиссинии, чтоб закончить Эквадором. Только после пятнадцати лет, проведенных в самых энергичных поисках, она попала на следы и смутные слухи о Булате. Говорили, что с отступающей Белой армией он прошел через Сибирь в Монголию, и тут следы его терялись. Леди Доротея поселилась в Маньчжурии и оттуда организовывала экспедиции в малоизвестную и труднопроходимую Монголию. Уже были совершены две больших экспедиции по границам и одна через всю Монголию, с севера на юг. Леди Доротея сама была главой этих экспедиций, не доверяя добросовестности нанятых людей. Монголия видела ее путевую палатку и дым ее костра на каждом своем холме и у берега каждого озера. Даже вид этих печальных озер с соляным раствором вместо воды не понизил энергии леди Доротеи. Но — увы! — поручика Булата там не было. Он ушел куда-то дальше. Не одну одинокую могилу его боевых товарищей встретила леди Доротея в пустынных степях Монголии, и перед каждой она останавливала свой караван и внимательно глядела на крест, выложенный из камней на холмике. Сердце подсказывало ей, что Булата там нет. Он не стал бы лежать в таком унылом месте. Это было не в его характере, а значит, и не в его судьбе. Могилы лишь указывали ей, в каком направлении следовала Белая армия и куда с нею шел веселый гусарский поручик Булат. Она же, имея с собой переводчика, спрашивала каждого встречного монгола, и хотя давалось самое детальное описание наружности поручика, ни один монгол его не помнил. Монголы — честные люди. Они не только не просили вознаграждения за информацию, но еще одаривали путешественницу. Их подарком был обычно баран. С небольшим стадом баранов, но без гусарского поручика вернулась леди Доротея в Хайлар — и здесь внезапно встретила другого поручика того же гусарского полка, который знал наверное, что Булат — в Китае. Леди Доротея подарила ему золотые часы за данные сведения и сказала, что хотела бы знать больше. Другие офицеры стали появляться, чтобы получить золотые часы и сообщить сведения. Кое-кто из них были даже не джентльмены: они убеждали ее позабыть про Булата и выйти замуж за одного из его друзей. Леди Доротея покинула Маньчжурию и прибыла в Китай. Но Китай — велик, и население его многочисленно. Перед ней стояла трудная задача: найти Булата среди четырехсот миллионов населения.

Но любовь творит чудеса. Случайно она прочла объявление мадам Милицы, и ее уже усталый ум подсказал: почему бы не попробовать? Когда мадам Милица раскинула карты, оказалось, что червонный король (то есть гусарский поручик Булат) жив и здравствует, но живет среди больших забот, окруженный исключительно пиками. Однако же не падает духом: на сердце у него собственный интерес: червонный туз и девятка.

— Женат? — вскричала леди Доротея.

— Не совсем, — отвечала Милица. — Есть около женщина, но другой масти.

Сообщение о присутствии этой интриганки около поручика взволновало миледи. Надо было спешить.

— Где он сейчас? — вскрикнула она.

— Карты не дают точного адреса искомого лица, — отвечала Милица. Но ясен факт, что Булат близко; он лежал у самых ног Доротеи, на картах — дамы треф.

Этот гадальный сеанс потряс леди Доротею. Ее поразил уверенный тон, которым давались ответы. После долгих лет, когда ей отвечали только неопределенными предположениями, где чувствовалась или ложь, или сомнение, — этот жест Милицы, когда она пальцем придавила червонного короля, сказав: "Тут он. Близко. У ваших ног". Этот жест был целительным бальзамом для утомленного сердца. Леди Доротея знала людей, ее не так легко было обмануть, и вот в этом "Он — тут!" звучала истинная правда. Как она пожалела об экспедициях. Она напрасно потратила пятнадцать лет. Надо было начать с Милицы. И вот теперь, встретив ее на своем пути, леди Доротея уже не могла с нею расстаться. Тут же она заставила Милицу взять свой сундук и свой мешок и перевезла ее к себе в отель.

Этим заканчивалось изложение событий, и мадам Милица с обычными поклонами и изъяснениями своей любви к Семье давала адрес одного из лучших отелей Шанхая.

— Что вы скажете на это? — спросил профессор, закончив чтение. — Давайте выскажем наши мнения по очереди.

— Глубокая преданность всегда трогает меня, — сказала Мать.

— Если б поручик Булат имел хотя бы половину тех чувств, какие привязывают к нему леди Доротею, они никогда бы не потеряли друг друга из вида, — сказал Петя.

— Аня?

— Я, — начала, заикаясь, Анна Петровна, — я думаю, что это — печальная история, но что в ней нет ничего необыкновенного.

— Лида?

— О, эта любовь прекрасна! Она чудесная, эта любовь! Они обязательно встретятся и будут счастливы.

— Хм, — сказал профессор, и этими звуками он выразил свое мнение, не добавив ничего более.

А вверху, в комнате миссис Парриш, Дима занимался своими подарками. На руке у него тикали настоящие часы. Он ел бисквиты из коробки, выбирая их разного сорта, чтоб все перепробовать, потому что остальные он решил поделить между Матерью и Лидой. В промежутках между бисквитами он предлагал Собаке послушать, как тикают часы.

За последнее время миссис Парриш выказывала какую-то необычайную привязанность к Диме, почти не отпуская его от себя. Это началось со дня Бабушкиных похорон.

Он вернулся тогда дрожащий и заплаканный. Как он был жалок — маленький, с траурной повязкой повыше локтя правой руки. Он был очень утомлен и голоден. Тогда она прежде всего решила дать ему теплую ванну, потом накормить и уложить спать.

Когда он сидел в ванне, а она с намыленной губкой прикоснулась к этому худенькому и костлявому плечику — в ней произошло что-то почти страшное. Как долго, какие долгие пустые годы она не прикасалась к ребенку! В ней вдруг стихийно поднялась какая-то грозная атавистическая, доселе дремавшая сила. Человеческий детеныш! Животная сила — мать и дитя, — на которой основан мир, от которой зависит вся жизнь в мире, вдруг связала миссис Парриш с Димой. Она почувствовала вдруг, что он должен жить с ней, что он каким-то образом единственный для нее ребенок и что она готова жить для него и умереть, а врагов его грызть зубами, рвать ногтями, топтать. Все, что было в ней, принадлежало теперь Диме. И только после этого физического потрясения, когда она стояла, застыв неподвижно, а ее рука лежала на Димином плече, — вдруг теплой, сияющей, мягкой волной хлынула в ее сердце нежность. Ее сердце не дало и не получило подобной нежности в жизни, потому что эта нежность была полна отречения от себя, своих интересов, своего покоя — и стремила ее к Диме — укрыть, сохранить, защитить. Это человеческое чувство утопило в себе животный инстинкт, но смысл был тот же: ей нужен был Дима, и только он, чтобы жить, — и она была готова на все, чтоб его получить.

Наконец она могла выпрямиться, вздохнуть. Дима смотрел на нее удивленными и по-детски испуганными глазами. На плече его были красные следы ее пальцев. И вдруг миссис Парриш залилась счастливыми, все уносящими и омывающими слезами. Она обновлялась к жизни. И Дима, думая о Бабушке, вдруг тоже заплакал, но горькими слезами несчастного ребенка. И слезы его и ее, и вода, и мыло, — все это смешалось на губке, и миссис Парриш все мыла и мыла Диму этим составом.

В последующие дни она все старалась держать его около себя, приучая к своему обществу и сама ближе знакомясь с ним.

— Расскажи-ка мне о себе, Дима.

— О себе? Что рассказать?

— Как ты поживаешь?

— Я так себе поживаю. Ничего.

— Хотел бы поехать далеко-далеко? Путешествовать.

Он быстро поднял голову и весь как-то осветился интересом и радостью.

— Я очень, очень хочу далеко путешествовать. — И грустно добавил: — Только мы никуда не путешествуем.

— Хочешь поехать в Англию?

— Я хочу везде, где далеко.

— Тогда поедем вместе со мною в Англию. У меня там есть дом. В саду цветут розы. У тебя будут разные игрушки. Потом ты пойдешь в школу и начнешь заниматься спортом.

— Как Петя?

— Еще лучше.

— Кто купит мне спортивные туфли?

— Я куплю тебе все, что будет нужно.

— О, миссис Парриш! Тогда я очень хочу в Англию!

— Мы будем жить вместе...

— Возьмем Собаку?

— Возьмем. Мы будем жить вместе, вдвоем...

— Но, миссис Парриш, — вдруг сообразил Дима, — а все? Мы все поедем путешествовать с вами.

Миссис Парриш помолчала немного.

— Для этого у меня недостаточно денег.

— Билеты подорожали теперь?

— Да, билеты стоят дорого.

— А если будем торговаться? Мы займем немного места. И мы будем кушать поменьше. И мы все будем любить ваши розы и дом.

— Дима, это невозможно. Но если ты поедешь со мной, ты получишь хорошее образование, потом службу, и ты выпишешь — по одному — всю Семью.

— Сначала кого?

— Мать.

— А она не умрет до тех пор? Она говорит, что она уже старая. О, миссис Парриш, я так боюсь, так боюсь, что мы все умрем. Раньше я не боялся. Профессор говорит, смерть — ничего. Но как жалко Бабушку!

Он встал и подошел близко-близко к миссис Парриш.

— Я все немножко боюсь, — прошептал Дима, — что я сам умру. Атомы мои возьмут и распадутся. А вы знаете, как они похоронили Бабушку? Яма была глубокая и грязная, вся из земли, и на дне — грязная вода. Бабушку положили в холодную, грязную яму.

— Дима, забудь. Бабушка ничего не видела и не чувствовала.

— Но я видел, миссис Парриш. Бабушка любила, чтоб все было чистое, а гроб положили прямо в грязь. А она была добрая. Всегда у ней было спрятано немножко вкусного, чтобы дать мне, когда я плачу. Я такой худенький. Посмотрите, какая тонкая рука!

— Я буду тебя хорошо кормить. Ты не печалься, а подумай — поедешь ли со мной? Ты меня не боишься?

— Вас?! О, миссис Парриш, вы очень-очень хорошая. Я думаю, можно поехать с вами в Англию.

В начале января в пансионе № 11 появилась новая жилица мадам Климова.

Она была одной из тех русских дам-эмигранток, которые никак не могут привыкнуть к ужасам жизни на чужой стороне.

Она не могла готовить обед, потому что от плиты у нее болели глаза. Она не могла стирать свое белье, потому что от этого болела спина. Она не могла долго ходить — вынуждена взять рикшу, — так как от хождения по ужасным китайским улицам распухали ноги. Но главным уязвимым местом было — "это бедное, несчастное сердце". По ее мнению, оно так нестерпимо страдало, потому что было слишком благородно для низкого существования. Оно также было слишком деликатно, чтобы переносить грубость людей, и чувствительно ко

всему, что не стояло "на высоте" ее прежнего существования. Она хотела немного: мира, покоя, здоровья и, конечно, достаточно денег, чтобы жить, как повелевало это сердце. В тяжкой эмигрантской жизни чего можно требовать от нее? Живя с усилием, она могла еще навестить знакомых, поболтать немного, сходить в кино или провести ночь за маджаном[1] — не больше.

Жила она на те деньги, которые ей посылала дочь Алла, балерина, которая, по словам мадам Климовой, стояла "на пороге славы". И если Алла еще не имела мирового имени, то причиной тому темная зависть и интриги других балерин, не стоящих и подошвы Аллы, но которые нагло "топчутся" там же. И вот Алла уже десять лет как "стояла на пороге", но в самый храм славы ей все не удавалось войти. Эти же десять лет мадам Климова проводила в лихорадочном ожидании письма, телеграммы — известия о том, что Алла "вошла", что она вышла замуж за одного из тех восточных миллионеров, о коих мир имеет только скудные сведения из газет, или — еще лучше — за одного из тех индийских принцев, у которых все еще "не счесть алмазов"... Почему бы и нет? Алла с балетной труппой путешествовала именно по Индийскому океану, это как раз в тех местах. И мадам Климова заранее примерялась к будущему триумфу, принимая решения, с кем она тут же перестанет раскланиваться, кому и как "даст понять", что она долго "терпела" подобные знакомства, но и ее терпению есть конец. Она обдумывала прощальный банкет в Тянцзине и приветственный там, во дворце Аллы. Титул "королева-мать" несколько старит, но пусть! Мадам Климова соглашалась с этим и уже в уме кому-то очаровательно рассказывала, что в ее семье женщины влюбляются и выходят замуж "ранней весной", и повинуясь этому "закону сердца", и она вышла, едва ей "стукнуло" 16. То же сделала и Алла, так что ей, "королеве-матери", всего-то навсего 33 года, и если она и выглядит несколько старше, всему виною жестокие "испытания жизни". "Я падала с большой высоты", — добавляла она, намекая на свое аристократическое происхождение и на последовавшее "житье" в Китае.

Портреты Аллы во всех возможных вариациях почти полной балетной наготы украшали стены комнаты мадам Климовой. Мать показывала их с гордостью, но глядящему на Аллу было ясно, что ей за тридцать, и что она — не больше как третьестепенная балерина, в третьестепенной труппе, кочующей по Азии, и, главное, что Алла некрасива, чахоточна и несчастна. Последних обстоятельств ее мать никак не замечала. Упрямо она "творила легенду".

Другая легенда творилась уже самой Аллой, там, на островах. "Моя святая мученица мать" было содержанием этой легенды. За неимением иного Алла обожала мать. Она уже очень давно не жила с ней. Для легенды требуется приличное расстояние. Пространство и время окружили "страдалицу мать" ореолом святости. Для нее она танцевала. Это была великая жертва, так как в душе Алла была скромной и застенчивой женщиной, и если бы ее спросили, из всех профессий она выбрала бы быть няней или сестрой милосердия. Но мать сделала ее балериной, так как "розы разбросаны на этом пути". Алла стеснялась своих партнеров, своих портретов и танцев, но "святая мать" нуждалась в сотне долларов в месяц, чтобы "влачить" существование, и Алле приходилось их вытанцовывать. Конечно, с самого начала не было для нее никакой надежды отличиться на этом поприще, а с годами Алла опускалась все ниже. В минуты тоски она открывала медальон с портретом матери и нежно целовала его: "Все для тебя, дорогая!"

Мадам Климова внесла новую струю в жизнь дома № 11. Прежде всего она решила отпраздновать новоселье, пригласив весь "цвет русской эмиграции" Тянцзина. Лист приглашенных составить было ей нелегко. Одни уже не были достойны, чтоб она подала им руку. В лояльности других к русскому трону возможно было сомневаться. Кое-кто огрубел, иные обнаглели, а со многими просто невозможно было встречаться. Для чая она потребовала столовую, "не привыкши давать чаи по спальням". В своей комнате она устроила "гнездышко" и полумрак — и вышел "будуар". "Свет делает все таким грубым", — и лампа покрыта розовым абажуром. Она надушила мебель японским одеколоном Сада-Яко. Недоставало цветов, — ах, они так дороги в январе! Она собрала букет, откалывая цветы от шляп, пальто и платьев — и этот букет был поставлен на столе "в будуаре". Всем распределены были роли: Дима будет открывать входную дверь ("это сделает его похожим на пажа"); профессор будет принимать пальто и шляпы. Мать будет разливать чай (как компаньонка в хорошем доме). Лида будет разносить чай и печенье (за это ей было в будущем обещано знакомство с Аллой). Анна Петровна будет на кухне мыть чашки и следить за посудой. Кан будет кипятить воду для чая ("все на местах, не будет ни суеты, ни сутолоки"). Миссис Парриш была приглашена как гостья, но она холодно отклонила приглашение, без извинений и объяснений причин. Японцам было приказано не показываться на глаза и пользоваться черным ходом. Мистер Сун исчез сам собой.

Мадам Климова открыла прием, начав беседу о загадочной славянской или, точнее, русской душе, совершенно никому непонятной. Всем другим народам, нациям и расам оставалось только смотреть и удивляться. Но ей не дали полностью развить тему, так как цвет эмиграции любил и сам поговорить, и обычно во вдохновенных монологах. Уже раздавался "глас" старика генерала, большого знатока военной стратегии. Он был не столько ее знатоком, сколько ее мучеником.

— Не сплю ночей, — плакался он горько, говоря о текущей войне. Он вынимал карты из кармана и раскладывал их на чайном столе. — Вы посмотрите только, что они делают! Какая стратегическая безграмотность!

Профессор крикнул ему из коридора, что стратегия вообще не есть наука, так как в ее приложении к делу играют роль не столько фактические данные — число верст, пушек, солдат, — сколько глупость главнокомандующего. Когда генерал услышал это "кощунство" от штатского, он осунулся и побледнел.

[1] Маджан (мадзян) — старинная китайская игра типа шахмат.

— Идите сюда! — кричал он в коридор. — Смотрите на карту: вот тут стоят японцы. Тут китайцы. Что надо сделать?

Никто не знал, что надо сделать, и не интересовался этим.

Тогда генерал начал объяснять, низко наклонив свою старую седую голову над картой, мешая всем пить чай. Эта голова и это лицо казались бы детскими, жалкими, если бы не пара усов. Они грозной горизонтальной линией расходились от лица и вдруг под прямым углом подымались вверх, оканчиваясь остро, как колючки. Усы спасали репутацию генерала как воинственного и даже жестокого человека.

— Лида, петь! — приказала мадам Климова, желая прервать "скучные" разговоры о войне.

Лида не знала ее любимого романса "Дышала ночь восторгом сладострастья" и на новый окрик мадам Климовой смутилась и убежала из столовой, вызвав замечание о том, как дурно воспитана современная молодежь. "Это — не мы, нет". Разговор разбился на группы, и только один Дима, выпучив круглые глазки, внимал генералу. И когда изложение ошибок и японских и китайских войск было закончено, Дима произнес с чувством:

— Ах, как жаль, что они вас не спросили!

Чай был выпит, и хозяйка продвигалась с гостями наверх в "будуар", давая понять, что она занимает две комнаты, для удобства — в разных этажах. Вообще большая часть того, что говорила мадам Климова, не имела отношения к истине. Ложь являлась второй натурой этой дамы.

Начать с "благородного происхождения" из родительского дома с колоннами, который теперь она могла видеть только как бы в "тумане", вплоть до того, что не смогла бы ответить на прямой вопрос, где этот дом находился. В действительности ее отец был зубным врачом в уездном городе, где люди вообще избегали лечить зубы. Семья бедствовала. Пять дочерей, все пять большие сплетницы, ссорились от скуки между собою, когда не было новостей в городке. В доме всегда кто-нибудь с кем-нибудь не разговаривал: всегда были секреты от всех, интриги против родителей и право мести между собой. Женихов не было. И вдруг она, средняя, по имени Додо (Дарья), вышла замуж за капитана Климова. Хотя он не был ничем замечателен, к тому же беден, для Додо это был триумф. Четыре сестры заболели от зависти. Мать не верила своим ушам; отец предрекал, что капитан Климов еще откажется, на что четыре сестры хором отвечали, что и у них такое же предчувствие. Но Климов был бравый малый и, даже поняв, в какое осиное гнездо попал, от слова не отступился, настаивая лишь на том, что, поженившись, они уедут. И тут же начал хлопоты о переводе. У Додо кружилась голова. Она казалась себе сверхъестественным существом, всех лучше, кому все позволено, кто всегда прав. Это чувство уже больше ее не покидало. Оставив родительский дом, она оставила и реальность. Она вступила в фантастическую жизнь, сочиняемую ею самой. Ее мечтой был аристократизм. До революции невозможно было развернуть эту фантазию, но после нее, когда все сословия смешались в бегстве, она дала волю и воображению своему, и языку. Чего только она не рассказывала об этой прошлой "такой блестящей, такой прекрасной, теперь — увы! — разбитой жизни". Кое-кто верил, но преимущественно те, кто был того же класса и воспитания, что и мадам Климова. С каждым рассказом она повышала покойного капитана в чинах, пока он не стал генерал-губернатором. Дальше она боялась идти. Чудеса его храбрости, его остроумие в гражданской войне действительно превосходили всякое воображение. Она говорила все это с увлечением. В какой-то мере она была художником и испытывала всю радость творчества. Но прекрасной правды, что Климов был простой честный человек и умер как солдат, на посту и без блеска — этого она не догадалась рассказать даже дочери Алле. А между тем Алла была вся в отца.

Покончив с мужем, мадам Климова за последние годы перешла на рассказы о дочери.

И сейчас, сидя в полутемном "будуаре", она повествовала:

— И вот индусский принц Рама-Джан умоляет Аллу: "Будьте моей женой, и вам будут принадлежать лучшие драгоценности Азии. Фактически все подвалы под этим моим дворцом полны драгоценных камней. Они ждут вас. По понедельникам вы будете носить изумруды, по вторникам — рубины, по средам — сапфиры. Затем следует постный день недели — вы будете носить только опалы".

Глаза дам, слушавших предложение принца, сверкали не хуже драгоценностей Азии.

— Но Алла ответила: "Я равнодушна — увы! — к драгоценным камням. Для меня — только две драгоценности в этом мире. Одной я владею, другую пытаюсь приобрести". — "Что это? — вскричал принц Рама-Джан. — Скажите, и я положу эту драгоценность к вашим ногам. Пусть это стоит мне жизни!" — "Любовь и искусство, — ответила Алла. — Искусство — со мной, но любовь? Я еще не любила. Возможно, близок час. Но предмет — не вы, принц Рама-Джан!"

И мадам Климова остановилась на этом эффектном месте, чтобы вытереть слезу умиления.

Конечно, никто из слушавших не верил ни одному слову этой истории. И все же все дамы слушали Климову, и слушали жадно, потому что бедные любят слушать о богатстве, как нелюбимые — о любви.

3

Профессор Чернов сидел за столом и сосредоточенно писал. На низеньком стульчике Анна Петровна сидела около и штопала носки. Они всегда работали так, вместе. Переезжая часто из страны в страну, из города в город, с одной квартиры на другую, они не могли иметь или возить с собою книг. Анна Петровна служила мужу записной книжкой. Вместо того чтоб записывать нужные ему факты и справки, он просил жену запомнить их наизусть. Она все помнила. Возможно, это удавалось ей потому, что у нее не было своей отдельной жизни, и ей не требовалось ничего помнить для себя. Если в глубине ее сердца и жили отдельные чувства, ум ее всецело принадлежал мужу. Возможно, что это было даже и полезно для Анны Петровны: запоминая научный материал для профессора, она тем самым вытесняла из своей памяти многое, что было горько помнить.

Она штопала носок. Он был связан давно-давно, когда Черновы еще могли покупать шерсть. Носок этот так выцвел, что трудно было бы угадать его первоначальный цвет. Пятка и подошва были штопаны много раз, то нитками, то шерстью разного цвета. Верх был надвязан. И то, что Анна Петровна штопала его, да еще с таким старанием, показывало как нельзя яснее, в каком финансовом положении они находились.

— Что сказал граф Альмавива о жизни? — вдруг деловито спросил профессор.

— Альмавива? — Она была так глубоко в своей работе, что не сразу поняла вопрос. — Какой Альмавива? Не помню.

— Аня! — сказал профессор с упреком. — Ты забыла Бомарше!

— О, Бомарше! Альмавива сказал: "Chacun court apres son bonheur"...

Профессор не имел привычки благодарить жену. За ее ответом следовало молчание.

"Chacun court apres son bonheur", — думала Анна Петровна. Каждый гонится за счастьем. Разве это правильно? Кто теперь думает о счастье? Правильно было бы сказать: "Каждый старается убежать от своего несчастья". И она вернулась к той заботе, к тому подозрению, к тому беспокойству, которое отравляло ей жизнь последнее время.

Это случилось в ноябре. Профессор вбежал в комнату, задыхаясь, захлопнул дверь и заградил ее своим телом.

— Убежал! На этот раз я спасся, — прошептал он с усилием.

Захлебываясь от волнения, он рассказал ей, что какая-то женщина следила за ним в городе. Она то появлялась, то исчезала. В библиотеке она спряталась за шкафом. Когда он вошел в булочную, она заглядывала в окно с улицы. Если он шел — и она шла, он останавливался — она останавливалась. Когда он хотел хорошо ее рассмотреть, она пряталась куда-то. Но все же он запомнил ее и узнает, если увидит еще раз. У ней одна только рука. Другая отрезана где-то выше локтя, и ветер развевал ее пустой рукав. Это к лучшему: он сумеет с ней справиться, если дело дойдет до схватки с ней и ему придется защищаться. Будь у ней обе руки целы — исход был бы сомнителен.

Этот странный рассказ встревожил Анну Петровну непомерно. С того дня она не имела покоя. Ей не с кем было поделиться, сама же она не знала ничего о нервных и психических болезнях. А болезнь, очевидно, развивалась.

В другой раз, рано утром, профессор вдруг соскочил с постели: "Ты слышишь? Ты слышишь шорох?" Он на цыпочках побежал к окну, но не стал глядеть в него прямо, а, став в углу и завернувшись в штору, выглядывал оттуда на то, что происходило в его воображении во дворе.

— Аня, Аня, — шептал он, — осторожно подойди ко мне. Держись стенки, чтобы она тебя не увидела. Стань тут. Смотри вниз. Видишь?

Они жили на втором этаже. Глядя вниз, Анна Петровна видела только двор, сад и два голых дерева.

— Там, там, смотри. Она прячется за дерево. Она ухватилась за ствол рукой и прильнула к дереву. Видишь?

Он взял руку Анны Петровны и, скользя вдоль стены, увел ее в противоположный угол.

— Мы открыты, — прошептал он с отчаянием. — За нами следят. Они забыли о нас, но теперь вспомнили. Нам не уйти. О, Аня, Аня!

Она обняла его и утешала, как ребенка:

— Мы живем среди друзей. Поверь, дорогой, поверь: ничего с нами не случится.

И он уже начал храбриться:

— Ты права. Если пойдет на хитрость, где им сравниться со мной! За мной стоит молодежь всего мира. Я не боюсь. Я поведу всех уличить ее!

Но он все еще дрожал, как испуганное дитя.

Она не знала, что делать. Противоречить — но она не привыкла противоречить мужу и уже упустила момент. Надо было это сделать при первом его рассказе. Соглашаться? Но не укрепит ли это его мании? Она старалась его прежде всего успокоить.

— Послушай, чего нам бояться? Мы же бежали из Советской России, мы убежали от японцев из Маньчжурии. Мы уехали из Пекина. Ну, уедем в Шанхай, если это тебя успокоит. Там уж никак нас не найдут.

— Правда! — воскликнул профессор. — Уедем! — И он сразу повеселел и успокоился. — Меня не поймают! Напишу президенту Рузвельту, и уедем в Америку. Еще лучше. Шпионам не дают виз в Америку. О, мы еще поживем спокойно. Аня! Я закончу мой труд, а потом мы заведем кур и будем жить на доходы. Я всегда любил слушать петуха на заре. Мы нашего петушка назовем Карузо. Правда, Аня? Ты согласна?

Для болезни профессора были причины, как и для того, что преследователь в его воображении принимал образ женщины. Он, собственно, не совершил никакого преступления. Но против него всегда было то, что он говорил. Свободная мысль ставит человека в положение преступника при всяком режиме, и у профессора уже были тяжелые дни в прошлом. Всякий раз его обвинителем была женщина. В революцию на него донесла одна из его студенток, три другие женщины были его судьями. Пока он был в тюрьме и Анна Петровна изнемогала от голода, женщина-санитар унесла их единственного ребенка в детдом, где он и умер. Японцам на него донесла сотрудница по геологии, японка. Впрочем, она точно повторила тайной полиции слова профессора, но от этого ему было не легче. Все его преследовательницы слились наконец в образ той, которая пряталась за деревом.

Теперь, ложась в постель, он просил Аню посмотреть под кровать и потрясти штору:

— Мы знаем, что это за публика! Заберутся!

Но страхи были мимолетны, проходили и забывались. И профессор опять был тот же — умный, веселый, живой, галантный. Но он начал как-то перебрасываться с предмета на предмет в своих речах — и это казалось странным при его обычной логике. Он стал вдруг впадать в негодование и гнев по пустячному или даже несуществующему поводу. И, хотя на короткие мгновения, приступы подозрения и негодования повторялись все чаще.

Вот он стоял посреди комнаты взъерошенный, взволнованный и говорил:

— Аня, президент Рузвельт — моя последняя надежда. Америка — здоровая и благополучная страна. Движение юношества должно начаться оттуда. Но, Аня, Аня, он не отвечает на мои письма. Неужели я должен отказаться от надежды на него?

Больше никого не осталось. Что ж? Предоставим вождей их ошибкам. Я отрясаю прах с моих ног. Отныне я буду обращаться только к самым простым людям. Я выйду на площадь и там буду говорить. Это — мой долг. Как я могу молчать? Как я могу быть спокойным свидетелем зрелища, как одна часть человечества пожирает другую? Сильные съедают слабых. Каин ежеминутно убивает Авеля. Я вижу и понимаю, что человечество гибнет — я ответственен. Я не должен молчать. Аня, Аня, простая человеческая доброта могла бы спасти мир. Как я могу спокойно видеть все эти приготовления к войнам, эти армии и пушки, когда выход только в том, чтобы каждый из нас был просто честным и добрым человеком.

Он ходил по комнате в большом возбуждении.

— Я выйду на площадь. Я подойду к первому встречному, положу мою руку на его плечо и скажу: "Слушай, человек, брат мой..."

И вдруг его осенила опять какая-то идея. Он кинулся к столу и начал писать сосредоточенно и быстро. Он написал:

"Брат мой Каин! Я все еще жив, и прежде чем ты совсем покончишь со мною, выслушай меня. Ты отнял у меня все, на что я имел право: родину, дом, дитя, друзей, любимый труд. Ты осудил меня на изгнание. И когда я — полный отчаяния — покидал навеки мой дом, ты стал на пороге и проклял меня. Ты взял мою часть отцовского наследства. Я далеко теперь, но да дойдет до тебя мой голос. Брат Каин, помни, ты не будешь владеть миром после того, как покончишь со мной. Мир не будет принадлежать убийце. Родится и придет сместить тебя многоликий Сиф и возьмет наш отцовский дом для себя. Каин, ты трудился напрасно".

Он закончил и вдруг заволновался ужасно:

— Аня, Аня, кому я пишу это письмо?

— Я не знаю, — сказала она очень тихо.

— Как это так, ты не знаешь? Ты должна знать. Ты всегда должна знать, кому я пишу, кого я имею в виду.

Он заходил по комнате, в отчаянии хватаясь за голову:

— Письмо готово. Но кому послать, кому? Сталину? Гитлеру? Японскому главнокомандующему? — И вдруг успокоился: — Знаешь, Аня, пошлем всем троим?

— Не надо никому посылать, — сказала Аня, но так тихо, что он не слышал.

И, нагнув голову низко-низко над носком, она думала горько: "Как это случилось? Почему? У него был такой ясный, такой блестящий и логический ум!" — и мелкие капли слез падали на носок и там сверкали, как роса. Увидев слезы, профессор подошел, взял ее руки и поцеловал их нежно-нежно: "Не плачь, милая Анечка, не плачь".

4

В конце января новая жилица появилась в пансионе № 11 и принесла с собою свои радости и свои печали.

Она пришла холодным хмурым утром, когда мало кому хотелось жить. Ее сопровождал американский солдат. У нее были такие голубые сияющие глаза, такие золотые сияющие волосы, что казалось, они освещали путь перед нею. Ей нужна была комната, "самая маленькая и насколько возможно дешевле". Она ушла с Матерью наверх, а в столовой Дима остался стоять, как статуя, в безмолвном восхищении: он впервые близко увидел настоящего солдата, большого, высокого, сильного, в прекрасной солдатской одежде. Все прежние идеалы Димы: Собака, профессор, генерал с картами — потускнели перед этим веселым гигантом. Это был настоящий мужчина: он не боялся никого! Это чувствовалось, хотя и неясно, маленьким сердцем Димы. До сих пор он встречал только мужчин, перенесших страх, болезни, преследования, надломленных в своем мужском бесстрашии и человеческом достоинстве. А этот гигант был весел и, как дитя, уверен, что жить, в общем, забавно.

Дима сделал несколько шагов к нему, очень робко.

— Hello, buddy! — сказал, улыбаясь, гигант.

О чудо! Он не был горд. Он был доступен. Он снизошел до дружеских рукопожатий.

— А у тебя есть ружье? — спросил солдат.

Это был настоящий разговор, мужской и военный. В одну минуту Димина амуниция была показана, и это высшее существо, чье имя было Гарри, выразило свое одобрение качеству материала. Но когда Дима показал, как он этим ружьем действует, выяснилось, что его приемы были нехороши. "Никто даже и не показал тебе!" — сказал Гарри и тут же стал обучать Диму первым правилам военного искусства. Одновременно он сообщал Диме основные сведения о Соединенных Штатах. Короля у них нет, но есть президент. Каждый имеет право и выбирать президента, и быть выбранным в президенты. Ковбои, которых Дима видел в кино, живут в Америке. Дети кушают мороженое каждый день. Порция стоит "дайм" (пишется "дайм", как "Диме"). Если б не Гарри сказал это, то как поверить! Дети ничего не боятся, потому что на них никто не посмеет бросать бомб. За этим и присматривает Гарри, находясь в армии.

Между тем наверху осматривали комнату. Прежде чем снять ее, новая жилица заявила в смущении, что должна сообщить кое-что о своем общественном положении. Она была "временной женой" американского солдата, то есть Гарри. В Китае, полном чудес, встречалось и это явление — временный брак. Он заключался обычно по устному соглашению на два года. Иностранные солдаты и служащие магазинов и банков не имели права жениться в Китае. Но им не запрещалось любить. И вот иногда заключался такой временный брак и нередко превращался в законный брак при первой представившейся возможности. Эти временные жены были по большей части русские девушки. Выброшенные революционной волной из России, лишенные не только общественного положения, имущества и семьи, но часто и всего необходимого для существования, они шли во временные жены. Для иных это делалось профессией, с переменой мужа каждые два года.

История Ирины Гордовой, новой жилицы, была печальна. Гарри был ее первый муж. В настоящее время они жили счастливо. Будущее оставалось неясным, угрожающим. Ходили слухи, что американская армия получила распоряжение вернуться в Соединенные Штаты. Это значило расстаться — и возможно, навсегда — с Гарри.

Говоря о жизни, о России, кто где родился, как попал в Китай, Мать вдруг всплеснула руками: Ирина оказалась дочерью ее прежней любимой подруги.

Давно-давно, далеко в России, около Симбирска, были два прекрасных имения. Дома с колонна-

ми, оранжереи, сады. Мать Ирины любила сирень. Около сорока разных ее видов цвели круглый год то в саду, то в теплицах. В воспоминании о ней — высокой, тонкой, спокойной, красивой — ее образ вставал в нежном облаке цветов и аромата сирени. О, эта сияющая белая персидская сирень, с цветами легкими, как пушинки! И эти тяжелые гроздья цветов, клонящихся низко, как бы под тяжестью своего аромата!

И на летучее мгновение исчезла, растаяла "самая маленькая комната по самой дешевой цене", и убогость, и бедность, и "временный муж". Мать пошла медленно по дорожке сада, между двух стен цветущей сирени. Там, в конце аллеи, с букетом в руке, погрузив лицо в душистые гроздья цветов, неподвижно стояла Марина. И над всем этим — опаловое русское небо. Картина эта, простояв мгновение, исчезла — и снова безрадостное утро хмурилось в убогой комнате.

— Ира! — заговорила Мать, от волнения хриплым голосом. — Где Марина, твоя мама?

— Вы знали маму? Вы знали ее? Где? Когда?

— Я была вашей соседкой по имению под Симбирском. Мы были очень дружны.

— Аврора? Так вы — Аврора?

Слово это поразило Мать, как удар в лицо. Она забыла! Да, это ее называли не по имени — Таней, а Авророй. О юность, где ты? Таню называли Авророй за красоту. А в столице на балах в тот блестящий сезон перед замужеством ее называли "Aurora Borealis", находя ее гордой, недоступной для легкой дружбы, далекой от всякой интимности, блистающей холодной красотой. Красотой! Боже, и все это было правдой.

— Да, меня называли тогда Авророй, — сказала Мать вдруг как-то безжизненно. — Но расскажите мне о Марине.

— Мама умерла в 1920 году. От голода.

— Ира, живите у нас. Оставайтесь с нами. Я постараюсь быть для вас матерью.

И вдруг они обе заплакали.

Ирина поселилась в пансионе № 11 и была принята Семьей как родная. Она полюбила всех, и все ее полюбили. В первый же вечер она праздновала новоселье, пригласив всех на чай в ее комнате. И Черновы уже так слились с Семьей, что и они подразумевались под этим приглашением.

Ира рассказала о своей жизни, как обычно делают эмигранты, встретясь далеко от России.

История была проста и трагична в своей простоте. Из многочисленной когда-то семьи осталось двое: Ира и тетя Руфина. Они бежали от Советов и поселились в Харбине, в Маньчжурии. Ирина лишь очень смутно помнила родительский дом и прежнее благополучие. Она знала хорошо бедность, страх, беспокойство, преследование, и опять страх, и снова бедность. Тетя Руфина давала уроки музыки, но насущный хлеб не был этим обеспечен. Тетя умерла, Ира осталась одна. У нее не было никакой профессии. Тетя — ее единственный учитель, передала Ире, что знала сама: Ира бегло говорила на четырех языках, играла на рояле, пела французские романсы преимущественно XVIII века (тетя любила классическую старину) и вышивала "ришелье". Все это не имело интереса для китайцев, а русские беженцы все сами и пели, и говорили, и вышивали "ришелье". Все же сумма таких познаний делала Ирину компетентной для роли гувернантки в богатой семье. Надо было только разыскать эту богатую семью. Наконец ее взяли в какую-то коллективную китайскую семью с бесчисленным количеством детей и племянниц, двоюродных, троюродных и более отдаленных. За стол, комнату и мизерное жалованье она всех и всему учила. Было трудно. С этой семьей она переехала в Пекин. После двух лет полного уединения от всего, что было вне ограды китайского поместья, она решила пойти в кино — и это изменило ее судьбу: она встретила Гарри. Но и это, как и все в судьбе Ирины, произошло в трагической обстановке. В экран была брошена зажигательная бомба. Вспыхнул пожар, началась давка. Чьи-то мощные руки схватили Ирину и, вырвав из толпы, вынесли наружу. Дрожа от пережитого испуга, она рыдала в объятиях незнакомца, крепко держа его за шею. Когда она пришла в себя и открыла глаза, то сейчас же стала на ноги и выпустила его шею. Она сказала: "Благодарю вас", но он засмеялся, и ее сердце растаяло. Он предложил проводить ее домой. Был вечер и было темно. Ее дом был китайский дом, и это поразило Гарри. Под звездным небом между двух каменных львов у входа, под взглядом дракона, свисавшего с навеса над воротами, она рассказала Гарри о своей жизни. И вот они вместе и счастливы. Для нее, как и для Димы, очарование Гарри было неотразимым: всегда веселый, всегда здоровый, ко всем добрый, ничем не напуган, ничего не боится. Он заслонил собою все страхи прошлого, и она тоже стала верить, что жизнь может быть легка, здорова, приятна.

И все же... все же это положение "временной жены"... унижение в обществе...

— Почему вы должны чувствовать себя униженной и что такое общество? — горячо начал профессор. — Жизнь эмигранта, ничем не защищенного, зависит от случая. Приходится быть авантюристом. Каждый хватается за соломинку, за ту, что кажется покрепче. Предоставим фарисеям осуждать нас на досуге, а сами будем пить чай. Тихий вечер, спокойный час, мирная беседа! Только мы и умеем по-настоящему ценить прелесть этого. Поговорим о чем-нибудь высоком. Забудем личные заботы. Если тело пресмыкается по земле, пусть душа парит над землей, как орел.

В это время распахнулась дверь, и мадам Климова появилась на пороге.

— Горю желанием познакомиться! Все мы — одна семья: русская аристократия в изгнании. Боже, как печально это звучит!

— Вы сказали "аристократия"? — спросила Ирина холодно. — Здесь нет ни одного аристократа, но все же войдите, пожалуйста.

5

Мать проснулась рано утром, на заре. Она спала теперь на Бабушкином диване. Она легла вечером, обеспокоенная тревожными мыслями, но решила заснуть, отложить до утра и, проснувшись пораньше, продумать все, что лежало у ней на душе. "Что это было? Аврора, Aurora Borealis". Вечером она посмотрела внимательно в зеркало. Остались ли еще следы былой красоты? Можно ли поверить, что она была так красива? Можно ли? Что осталось? Цвет лица? О, нет, нет! Черты лица? Мо-

жет быть. Если посмотреть очень внимательно, если вглядеться в контуры и линии лица, то, возможно, выступит для глаз его основная форма. В ней можно узнать изящество линий. Все, проходя, оставляет следы, все, кроме женской красоты. Куда она уходит так бесследно? Почему?

Но не это было главной причиной беспокойства Матери. Она думала: "Пусть ушли и молодость и красота! Зачем они мне теперь? Но что, если и духовно я так же обезображена? Может быть, и душа моя тоже потускнела, поблекла и сморщилась. Я входила в жизнь с возвышенными идеалами — что я теперь? Мир казался прекрасным, а теперь он ужасает меня. Что изменилось: все в мире или все во мне? Что изменило меня? То, что я недоедала долгие годы, могло разрушить мое тело — пусть! — но неужели это же иссушило и мою душу? Я больше уже не смеюсь. Я не радуюсь. Я ни к чему не спешу, наоборот, мне хочется от всего спрятаться и заснуть. Я не вижу ни в чем той красоты, вид которой когда-то захватывал мое дыхание. Я не верю в лучшие дни. Я ни на что не надеюсь. И только теперь я увидела себя со стороны, и мне стало страшно. Как помочь? И можно ли этому помочь?"

Рассветало. Утро проникало в столовую, и ее убогие стены выступали из мрака. Шесть связанных стульев, и на них, скрючившись, спит Лида. Старый неуклюжий буфет с треснувшей дверцей. Стол. Даже это убогое имущество, взятое в долг, еще не было выплачено и не вполне принадлежало Семье.

И Матери казалось: если б хорошо отдохнуть, если бы полежать в постели неделю, и чтобы всю неделю была хорошая пища, не в долг, а оплаченная... Если б совсем не работать неделю: не крутиться по кухне, не бежать на базар, и главное, главное — не думать о деньгах... Ей казалось, случись так, она бы исправилась. Ее душа, отдохнув, посветлела бы. Ум, рассеянный в заботах, собрался бы, сконцентрировался. "Я стала бы лучше, — думала Мать. — Я была б веселее с детьми. И им было бы больше радости".

Лида задвигалась, и шесть связанных стульев заскрипели. В комнате стало еще светлее, и выступившие новые детали бедности делали ее еще печальней. Стол был сильно поцарапан. Стены были в пятнах. Потолок посерел от времени. Лида была укрыта рваным одеялом и заплатанным Бабушкиным пальто. На притолоке двери были следы грязных Диминых пальцев, и это последнее дало новый ход ее мыслям.

Миссис Парриш, в ее новой манере говорить — спокойной и вежливой, просила Мать уделить ей время, чтобы обсудить кое-что наедине. Она предложила усыновить Диму и увезти его в Англию. Первым движением чувств Матери была обида. Она была оскорблена. Что же он — вещь? Взять, увезти... Она немедленно отклонила предложение в немногих холодных словах:

— Мы не отдаем никому наших детей. Да, даже если мы бедны. Страдаем все вместе. Благодарю вас.

Она так была удивлена неуместностью предложения миссис Парриш, что как-то сразу забыла о нем, как о чем-то несуразном, о чем смешно было бы думать. Но сейчас она видела дело иначе: со смертью Бабушки Дима стал одинок. Большую часть дня он проводил то с Черновым, то с миссис Парриш, то с Собакой. И она думала: "Я не должна этого так оставить. Что делало счастливым Диму с Бабушкой? Она смеялась с ним, рассказывала ему что-то, интересовалась, чем и как он играет. Как найти мне время, чтоб делать то же?"

В это время раздался шум на улице у калитки. Кто-то стучал в нее, и чьи-то голоса настойчиво звали Кана.

"Не встану, — решила Мать. — Что бы там ни происходило, не встану. Я хочу наконец подумать толково и без помехи о моих делах".

Но голоса все звали: Кан! Кан! Кан! — и кто-то упорно стучал в калитку.

— Не встану, не встану, — повторяла Мать. — Стучите сколько хотите. Я — человек. Это мое право думать иногда без помехи.

Послышался сердитый голос Кана. Он побежал к калитке. Раздались возгласы удивления, вопросы. Разговор шел быстро и по-китайски.

— Не встану, — шептала Мать. — Один раз поставлю на своем.

Вдруг раздался тонкий и резкий крик. Это был голос Кана. Крик выражал ужас и отчаяние.

Вмиг Мать была на ногах и одета.

— Лида, Лида, — будила она. — Встань поскорее, оденься. Что-то случилось с Каном. Разбуди Петю.

Лида сонно улыбнулась: "Что-то случилось с Каном?" Она сладко потянулась, еще не понимая слов: "Что-то случилось с Каном?"

Но Мать уже выбегала из дома. На ступенях крыльца сидела старуха китаянка в ужасных лохмотьях. Ее седые космы не покрывали лысины на макушке. Красные воспаленные глазки плакали. На коленях она держала мальчика. Он был грязен, испуган и жалок.

Это было все, что осталось от многочисленной семьи Кана. Деревня была разрушена японцами, и беженцы-земляки доставили Кану его единственного теперь предка и единственного потомка.

Перед этой старухой Кан стоял в самой почтительной позе. Он кланялся и плакал. Она отрывисто рассказывала ему, кто и какой смертью погиб. Она говорила бесстрастно, как будто бы рассказываемое случилось давно-давно и уже потеряло значение и интерес.

Узнав, в чем дело, Мать отшатнулась:

— Боже мой, будет ли этому конец? Я устала. Я не могу больше никого устраивать, не могу хлопотать. Покоя! покоя!

Но она не сделала и шагу в сторону, как сердце ее смягчилось.

— Кан, проведи старую леди в кухню. Покорми ее, потом устрой в чулане. Сегодня ты не работай, оставайся с нею. Скажи, что будет нужно. Если найдется в доме, я дам.

Ей стало легко на сердце: "Некогда думать — и не надо. Займусь работой". И она уже соображала: "У мальчика больные глаза. Есть бесплатная глазная лечебница. Лида узнает адрес. Старуху надо вымыть и причесать. Нашей одежды она не наденет, но подушку я ей дам, она возьмет. Чью подушку отдать — мою или Лидину? Отдам, которая похуже".

Через полчаса о несчастии Кана знало все китайское население в окрестностях. Началось нашествие его знакомых и друзей — посочувствовать;

земляков — расспросить о своих родственниках — живы ли. Шли повара, носильщики, рикши. Мало утешительного могла рассказать им старуха. Кратко: пришли японцы, сожгли деревню, убили людей. Кто остался в живых? Немногие. Оставили только очень старых и совсем малых, кто не мог ни мстить, ни сражаться. Потом японцы ушли. Разобрав на части, унесли с собою и железную дорогу. Из оставшихся в живых поселян кто мог уходил пешком. А кто не мог? Остался умирать от голода, так как японцы унесли всю пищу. Во дворе раздавались рыдания. Плакали женщины. Мужчины же, теперь работавшие на японцев, так как только у них можно было получить работу, стиснули челюсти и с непроницаемыми лицами ушли. Голод делал их рабами, и, затаив свои чувства, они пока молчали.

Потом мать Кана устроили в чулане. Она лежала там без движения, как чурбанчик, а мальчик крутился около и жалобно скулил: у него болели глаза.

Оказалось, в Тянцзине были два госпиталя, которые оказывали бесплатную помощь китайцам: Американский Красный Крест и Методистская клиника по глазным болезням. Китайская беднота города уже привыкла к иностранной медицинской помощи и с благодарностью пользовалась ею. Кан отправился с сыном в клинику, но старуха в гневе отказалась. Кан получил очередь только через три дня, но вернулся он затем очень довольным. Болезнь оказалась не опасной. Лечили без боли. Мальчик сразу получил облегчение от доктора и мешочек леденцов от сестры милосердия. Он успокоился и больше не плакал. Заснув с мешочком в руках, он проспал много часов подряд.

Вечером Семья и Черновы пили чай. С облегчением обсуждали деятельность глазной клиники методистов. Китаец платил один копер, это доступно даже для беднейших. Он получает самое внимательное лечение по последнему слову науки. Да благословит Бог тех, кто...

В это время раздался звонок. Это был Петя. Он выглядел подавленно и странно. У него никогда не было отдельной комнаты; он ютился в углах, всегда был у всех на виду. Возможно, это и развило в нем необщительность и сдержанность.

На этот раз Мать почувствовала, что Петя удручен и должен остаться один. Она дала понять это всем в столовой, и они разошлись. Мать и Петя были одни.

Она подошла к нему и спросила тихо:

— Петя, милый, что с тобой случилось?

Он хотел бы молчать. Но, видя это изнуренное заботой лицо, склоненное к нему, полное любви и беспокойства, он решил рассказать.

— Я был на митинге в Бюро Русских Эмигрантов. К нам приставили двух японских офицеров, как бы для содружества, но фактически для контроля. Они предложили молодежи войти в японскую армию для борьбы с Китаем, обещая впоследствии направить войска и в Россию, чтобы восстановить старый режим. В первый раз в жизни я потерял самообладание. Я сказал, во-первых, что отказываюсь действовать против Китая, единственной в мире страны, куда русский эмигрант мог бежать без визы и паспорта, где никто из нас не преследовался ни за расу, ни за религию, ни за политические убеждения. Во-вторых... Но тут ко мне подошел японский офицер и ударил меня по лицу.

— О! — вскрикнула Мать. — Тебя? По лицу? Что ты сделал с ним?

— Ничего.

— Ничего?! — Недоверие и негодование выразились на ее лице. Давным-давно забытая фамильная гордость и воинственность предков вдруг встали в ней во весь рост.

— Ты должен был убить его на месте! Ты принадлежишь к благородной семье. Твои предки герои. Наше имя в русской истории. Нас могут убивать, но не бить.

И вдруг — без всякой связи с происходящим, где-то на другом плане мысли мелькнуло: "Это значит, что надо Диму отпустить в Англию. Нельзя его предоставить такой же участи".

Петя вдруг как-то странно и горько посмотрел на Мать.

— Если я его не убил и не убью, то не потому, что во мне нет решимости. Знаю, это был бы и мой конец. Но подвергнуть вас всех — и Лиду, и Диму опасности, — а это неизбежно случилось бы, — я не мог. Вы совершенно беззащитны. Ни у кого нет подданства. Что будет с вами, с Лидой и Димой в руках японцев?

— Прости меня, Петя, — сказала Мать. — Не смешно ли. После стольких лет — и вдруг такая вспышка фамильной гордости. Ты правильно поступил — и спасибо. Я бы должна тебя успокоить, а я что наговорила. Забудем, Петя. Отдохни. Выпей чаю.

Петя сел к столу и опустил голову. Она подошла и нежно поцеловала его в лоб. Когда глаза ее были так близко к его лицу, она увидела темнеющее пятно на щеке — след тяжелой японской руки. Ее сердце страшно сжалось.

— Петя, Петя, — зашептала она. — Будь осторожен. Они, наверно, станут следить за тобой. А эта Климова — председательница дамского кружка — не постесняется им помочь.

Она все стояла, наклонившись к нему, и не могла выпрямиться, так болело ее сердце. И в голове опять мелькнула мысль: "Это значит, что надо отправить Диму в Англию. Но я не должна принимать так сразу подобных решений, — думала она дальше. — Лягу, засну. Завтра утром проснусь пораньше и все продумаю и все решу".

6

Это наконец было что-то похожее на спокойный день. В доме стояла совершенная тишина. Он даже казался от этого просторнее, больше.

Мать, работая, прислушивалась к тишине. Она оживала в эти редкие минуты покоя: не надо бежать, подавать, спешить, говорить, угощать. Она почувствовала себя богатой покоем.

"Брошу все, пойду, сяду у окна и буду смотреть на ту скамейку, где, бывало, сидела Бабушка. И все обдумаю. Первое: Петя потерял работу. Осталась неделя — потом расчет". Вдруг она почувствовала, что очень голодна: "Выпью чаю. Одна. Как это будет хорошо!"

Мать редко ела спокойно, за столом. За исключением позднего вечернего чаю, она ела что останется, когда придется, урывками, на ходу.

Она готовила чай и удивлялась, почему это так тихо. Миссис Парриш уехала покупать чемоданы.

Она взяла такси и пригласила Диму прокатиться. Он принял ее приглашение с восторгом. Они взяли с собой и Собаку. Ира и Лида пошли пешком на японскую концессию покупать шерсть: Ира задумала вязать светр для Гарри. Чернов ушел как-то поспешно, что-то бормоча, и Анна Петровна, на ходу надевая пальто, побежала за ним. Мадам Климова, приколов к груди букет грязноватых коленкоровых ландышей, ушла председательствовать на каком-то, по ее словам, историческом заседании необычайной важности.

Японцев не было ни видно, ни слышно так же, как и мистера Суна. "Сначала выпью чаю, а потом начну думать".

И опять эта необычайная тишина удивила и уже слегка испугала ее, как будто было в ней что-то угрожающее, опасное. Она налила себе вторую чашку чаю, и звуки воды, льющейся в чашку, казались осторожными, хрупкими, как бы боящимися, что их услышат. "Боже, что делает тишина! — подумала Мать. — Я никогда не слыхала таких звуков, а сколько раз я наливала чай!"

Тут она насторожилась. Далекое, заглушенное, почти неслышное осторожное движение происходило где-то в доме. Оно было как будто бы и очень близко, и очень далеко. Казалось, что кто-то притаился в доме и прислушивается к тому, что делает Мать. Ей стало не по себе. Сердце вдруг забилось редкими, тяжелыми ударами. Она пыталась успокоить себя тем, что вокруг ясный день, и нет повода бояться. Но какое-то страшное чувство почти онемения сковывало ее, как бы что-то отталкивало ее куда-то в угол и пыталось держать ее там неподвижно.

Вдруг где-то чуть скрипнула дверь — и опять стало настороженно тихо. Затем так же осторожно дверь закрылась, с тем же звуком. Опять тишина. И чьи-то легкие шаги направлялись к ней, к столовой. Открылась дверь — и китаец, одетый как бедный кули, сгибаясь под ношей, узлом, завернутым в грязный брезент, в каких носят мануфактуру уличные торговцы, скользнул в комнату. Не глядя по сторонам, совсем близко, почти касаясь, мимо Матери, он не прошел, а проскользнул через столовую в другую дверь, в коридор, на черный двор — и в переулок. Там он исчез.

Было что-то нереальное и в его появлении, и в его исчезновении. Мать не видела, чтобы кто-нибудь ходил таким легким шагом, под такой ношей и так совершенно не глядя по сторонам. Видел ли он ее? Она дрожала всем телом. Кто он был? Где он прятался? Что он унес? Как он вошел? Как он знал, что никого из жильцов нет дома? Как он выискал этот редчайший момент покоя в пансионе № 11?

Странно. Но все же было что-то знакомое, ей известное в его таинственной фигуре. И вдруг она вся содрогнулась. Да ведь это был мистер Сун! Никогда раньше она его не видела в китайской одежде и без очков. Но почему он переоделся и так странно ушел? Всегда вежливый, он прошел мимо, не взглянув на нее.

Догадка сверкнула в ее уме. Она вскочила и побежала в комнату мистера Суна. Комната была совершенно пуста. Комната, полная книг, карт, рукописей была так пуста, как будто мистер Сун в ней никогда не жил.

Вдруг раздался поспешный, повелительный звонок у входной двери. Кто-то не звонил, а рвал звонок, и в то же время кто-то поспешно входил в дом с черного хода. Мать быстро закрыла дверь комнаты мистера Суна и кинулась отворять входную дверь. Едва она повернула ключ, как, сбивая ее с ног, ринулись в дом два японца, ее жильцы. Двое других, пришедших с черного хода, уже стояли сзади, и пятый, тоже когда-то бывший жильцом, но исчезнувший после боя за Тянцзин, теперь почти неузнаваемый из-за черной повязки на правом глазу, загораживал ей дорогу, схватив ее за руку. Затем двое первых ринулись в комнату мистера Суна. Они сейчас же выбежали оттуда. По дороге наверх они крикнули что-то, и другие два японца ринулись к черному ходу — и в переулок. Первые два взобрались на чердак — а Мать и не подозревала, что дверь на чердак открывалась, что вообще был чердак. Они что-то кричали оттуда, и японцы, бывшие в переулке, побежали куда-то дальше. Японец с повязкой выпустил ее руку, сел на стул и смотрел на нее одним глазом. Он не улыбался, не кланялся, не спрашивал о здоровье. Он сидел, она стояла в растерянности перед ним. Его пристальный взгляд не обещал ничего доброго. Затем он начал допрос. Но пансион № 11 был на британской концессии, в сфере муниципальной английской полиции. Мать знала, что не обязана отвечать японцу. Она сказала только, что ему, как жившему здесь и имевшему здесь постоянно своих друзей, все должно быть хорошо известно и о доме и о жильцах, возможно, еще лучше известно, чем ей самой. Больше она не имеет ничего сказать. Для нее теперь было ясно: мистер Сун бежал, унеся какие-то важные документы. Японцы — шпионы, они ищут его. И в душе она помолилась, чтобы мистеру Суну удалось скрыться.

В эту минуту вернулся Кан. Казалось, что он был чрезвычайно рад встретить японца, бывшего жильцом в доме. Тот немедленно же начал допрос, засыпая Кана вопросами, а Кан так же быстро сыпал ответы, с полнейшей готовностью. Да, у него есть кое-какая информация о мистере Суне. Уехал? — Да, мистер Сун уехал. — Когда? — Как раз сегодня. — Куда? — В Пекин. Его двоюродная кузина родила первого сына после трех дочерей, и главные родственники, как того требует обычай, должны лично явиться с поздравлениями. — Надолго? — Мистер Сун там же будет праздновать и Новый год, а, согласно обычаю, каждый празднует его по средствам: бедняк — три дня, богатый — три месяца. — Как много денег у мистера Суна? — Кан не знает. — Вернется ли мистер Сун? — Конечно вернется. Отпразднует рождение племянника, отпразднует Новый год — и вернется. — Адрес? — Вот адрес — и с затаенной злобой он дал прежний адрес уже не существующих, убитых японцами родственников мистера Суна. — Вещи? — Да, Кан запаковал кое-что: немного пищи на дорогу, кое-какие сладости в подарок кузине, смену платья. — Другие вещи? — Отосланы. По тому же адресу. — Где Кан сейчас был? — Он был в лавке: он купил чай, хороший сорт. Деньги дал мистер Сун. Чай — подарок от мистера Суна хозяйке пансиона к Новому году. Чаю — фунт. Сдачи не осталось. — И он показал фунт прекрасного чаю с поздравительной новогодней карточкой красного цвета. Японец повертел в руках чай, пощупал, понюхал и передал Матери.

В тот же день все японские жильцы съехали, и в пансионе № 11 стояли пустые комнаты. Весь ве-

чер оставшиеся жильцы и Семья обсуждали случившееся. Они были в столовой все, кроме мадам Климовой, и говорили по-английски. Как ни странно, мадам Климова была на редкость неспособна к иностранным языкам и говорила и понимала только по-русски. Ее сторонились, потому что она высказывала свои категорически прояпонские симпатии.

Мысль, что мистер Сун был тайным лидером партии свободы в Китае; что японцы, жившие в доме № 11, и жили там только потому, чтобы следить за мистером Суном; что они были шпионы-специалисты, и только законы британской концессии удерживали их от того, чтоб убить свою жертву тут же по одному подозрению; что все это шло перед его глазами, а он, профессор, такой дальновидный, догадливый, совершенно ни о чем не догадывался — эта мысль поразила профессора как громом. Найдены были дыры, просверленные в полу чердака, откуда, очевидно, кто-то из китайцев следил за японцами. Найдены были также дыры, просверленные в полу японских комнат, откуда японцы следили за мистером Суном. Понятным сделалось странное расположение мебели в комнате мистера Суна и какой-то навесик из толстой зеленой бумаги над столом, где он писал, также и висящий посреди потолка, вместо лампы, горшок с каким-то вьющимся растением, нежно оплетавшим весь потолок. Профессор почти заболел от мысли, что он проглядел так много обстоятельств, которые бросились бы в глаза и неопытному наблюдателю. И все же, охватив мыслью хитросплетения японо-китайской ситуации в доме № 11, он пришел в восторг.

— Если скрываться, то, конечно, на британской концессии, как наиболее защищенной законом, откуда японцы уже не могут выкрасть человека, и, ясно, в густонаселенном пансионе, где нападение было бы тотчас же замечено. Я проникся большим уважением к уму мистера Суна. Вспомните, японцы появлялись в столовой сразу же по его появлении, но дверь в коридор всегда стояла раскрытой, и он — из того угла, где всегда сидел, увидел бы, если бы кто пытался войти в его комнату. Удивляюсь только, почему он не поделился со мною своими планами, как я делилися с ним всем, о чем думал.

— Только бы он успел скрыться! — воскликнула Лида.

Вдруг мадам Климова впорхнула в столовую. Она только что вернулась и не подозревала о случившемся в доме.

— Успех! Боже, какой успех! — кричала она, всплескивая в восторге руками, и еще более погрязневшие ландыши прыгали у ней на груди. — Все р е ш е н о. Все подписано. Наконец! Япония восстановит в России монархию, мы отдаем ей за это Сибирь!

— До Байкала? — спросил с иронией Петя.

— Нет, до Урала.

— Позвольте, позвольте, — заволновался профессор. — К т о решил все это?

— Дамы Эмигрантского общества под моим председательством. Мы внесем это предложение в Комитет. Ах, как я лично буду счастлива, когда это сбудется!

— Позвольте, — с удивлением спросил профессор, — чего вы л и ч н о ждете от восстановленного режима? Разве вам так не лучше, то есть жить в Смутное время?

— Что? Что? — задохнулась побагровевшая вдруг мадам Климова. Она не могла даже говорить и в негодовании выбежала из столовой.

— Я еще посчитаюсь с вами! — все же выкрикнула она на ходу.

7

На следующий день профессора ждало новое волнение. Он получил письмо из Европы, и оно пришло вскрытым японской цензурой. Хотя письмо не имело значения, но факт нарушения закона свободной переписки возмутил его. Это был вызов могуществу Британской империи.

Профессор поспешил в английское консульство, чтобы обратить внимание власти на это нарушение закона. Его принял один из вице-консулов. Когда, полный негодования, с присущим ему красноречием профессор доложил о факте, чиновник весьма свысока ответил, что не верит ни одному слову, ибо японцы не посмели бы этого сделать, и что он лично не имеет времени на выслушивание всякого вздора.

— Сэр, — сказал профессор дрожащим от обиды голосом. — Сэр, — повторил он, вставая, — к несчастью, я не захватил доказательств, то есть конверта. Привыкнув вращаться в обществе джентльменов, я полагал, что мне поверят на слово. Вы получите этот конверт и убедитесь сами. Но, сэр, слышать обвинение во лжи от официального лица в официальном месте, куда я шел, не уверенный, конечно, что найду защиту, но уверенный, что буду, по крайней мере, встречен вежливо — и какой я нашел прием. Простите мне эти слова. По возрасту я мог бы быть вашим отцом, и это заставляет меня быть снисходительным к вам. Я извиняю вас. Но прежде чем я уйду, разрешите мне выразить вам одно пожелание: да не будете вы никогда в моем положении.

Домой он вернулся сильно взволнованный. В столовой он рассказал о случившемся.

— Подумаешь, — воскликнула мадам Климова, — на что это вы так разобиделись. Он не назвал вас лгуном прямо в лицо. Он не вытолкал вас за дверь. Чего же вам еще? Чего вы еще ожидали?

— Было бы лучше, если бы он это сделал. Я бы подумал: вот дикарь в роли вице-консула. Но именно сдержанность в нем показывает, что он — человек культурный. Чиновники консульств ведь все сдают экзамен на вежливость. Он глубоко оскорбил меня, и сделал это самым вежливым тоном. Почему он осмелился? Потому что я — русский, и со мной что ни сделать, пройдет безнаказанно. Значит, ни культура, ни экзамены на вежливость не научают простой человечности. Если культура не делает человека лучшим — зачем она?

— Ну, вы тут уже и наворотили, — рассердилась мадам Климова. — А в чем дело? Какой на вас чин, чтоб так сразу на все обижаться? Как будто бы прямо-таки генерал! Раз вы — профессор, ваше дело молчать.

Не отвечая, профессор ушел к себе и начал писать.

"Милостивый Государь, — писал он вице-консулу, — в заключение к аудиенции, которую вы любезно мне предоставили, является необходимым переслать вам этот конверт, несомненно, открытый японским ц е н з о р о м. Простите мою настойчивость в стремлении доказать мою правоту. Она объясняется тем,

что многие из потерявших защиту их родины не хотят вдобавок потерять также и чувство собственного достоинства".

Он подписался и запечатал письмо, позабыв вложить конверт, о котором шла речь. Затем он просил Анну Петровну самой отнести письмо, чтоб сэкономить на марке.

Она пошла. На ступенях консульства она остановилась перевести дух. О, эти высокие лестницы чужих домов, куда идешь незваным, куда идешь просителем — она много знала о них. Как неприветливы слуги, как холоден их ответ на приветствие! Колеблясь, она смотрела на письмо. Всю жизнь она ходит с какими-то письмами. И опять она посмотрела на письмо, а потом оглянулась кругом. Она чувствовала, что у ней недостает сил подняться по этим каменным ступеням. Она устала взбираться по лестницам. Она устала открывать двери, спрашивать вежливо — дома ли, можно ли видеть, принимают ли — и улыбаться, и кланяться, и улыбаться. Что это за письмо? К чему оно? Чему оно может помочь?

Она разорвала его на кусочки. Рвала медленно, разрывая вместе с ним и свою правдивость и честность в исполнении поручений мужа. Она высоко подняла руки и бросила кусочки. Ветер подхватил и погнал их по Виктория-Род. Она пошла домой, а они все летели, катились за ней, то отставая, то перегоняя. Она брела, размышляя о том, что она сделала. Зачем? Почему она возмутилась? Разве она не привыкла, чтоб ее толкали и ей грубили все, кто богаче, сильней, здоровее, моложе? Также те, кто счастлив, обеспечен, удачлив. Также русские, иностранцы, белые, желтые. Те, кто был чем-либо выше ее, и те, кто не был. И разве не отвечала она всем смиренно улыбкой. Этот визит — только одно повторение прошлых. Что же она возмутилась?

Слезы текли по ее лицу, слезы слабости, но она не удерживала их: лейтесь, лейтесь сколько хотите. О, бездомная жизнь, о, бесприютная старость! Но она не хотела появиться дома в слезах. Она вошла в парк и там сидела на скамейке и плакала.

— Не плачьте, пожалуйста! — сказал нежный и смущенный маленький голос. — Вас наказали?

Перед нею стояла прелестная английская девочка. Ей было лет пять или шесть. Одетая во все голубое, она протягивала ручку в голубенькой рукавичке, чтоб утереть слезы Анны Петровны.

Но уже бежала к ней гувернантка и, дернув за ручку, шлепнула ее по спине:

— Не разговаривай с чужими! Ты будешь наказана!

И девочка тоже заплакала.

Вернувшись домой, Анна Петровна не могла скрыть, что она плакала. Профессор заволновался.

— Аня, ты плачешь? Отчего? Разве мы с тобою не счастливы?

От этих слов она заплакала еще больше. И, чтоб ее успокоить, он стал читать ей Тютчева:

> Слезы людские! О слезы людские,
> Льетесь вы ранней и поздней порой...

8

Мисс Пинк посещала "трущобы" Тянцзина. Она была членом общества "Моральная жизнь для низших классов", и вторники от 10 до 12 являлись временем ее действий.

Мисс Пинк была активной христианкой. О спасении душ бедняков она беспокоилась куда больше, чем о своей собственной. Она была самым агрессивным членом самых агрессивных обществ по насаждению морали. Рожденная с большим запасом жизненной энергии, она не сумела истратить ее на себя: никогда не болела, никогда не нуждалась, не знала никаких страстей, ни глубоких чувств. Она как бы не имела вкуса к жизни; жить для нее значило не гореть душой, а лишь слабо дымиться. Духовной жажды в ней не было, а животную энергию здорового тела она тратила на защиту морали.

Мисс Пинк была немолода. За долгие годы деятельности она выработала специальные методы. Скорее всего она походила на охотника на перепелок. Он сидит, скрытый в траве, спокойный, ко всему в природе благосклонный, и играет на тростниковой дудочке. Он знает, какая мелодия увлекает перепелок. Неподалеку, как и он, в траве, эти маленькие птички стараются найти себе завтрак. На них мало мяса, но оно вкусно, поэтому их любят. В маленькой птичьей душе заложена страстная любовь к музыке. Услышав тоненькие звуки дудочки, перепелка останавливается, слушает, забыв о пище. Постояв на одной маленькой, тоненькой ножке, в знак колебания, перепелка, презрев предчувствия опасности, направляется туда, откуда исходят звуки. Охотник заметил ее приближение, он играет все нежнее, все лучше. Она подходит. Она останавливается, опять на одной ножке, но уже от восторга. Она закрывает глазки, склонив головку набок. Кажется на мгновение, что и охотник и птичка слились духовно в это мгновение в одном гимне Творцу мира. Но мы ошиблись. Углом глаза он следил за птичкой — и вот она поймана, в сетке. Довольный, он кладет дудочку в боковой карман пиджака и отправляется домой обедать перепелкой.

Конечно, сравнение это далеко не точное. Мисс Пинк отнюдь не пожирала своих жертв. Но в остальном, пожалуй, очень похоже. Ее дудочкой была Библия. Ее мелодией было запугивание грешника и обещание ему неба, если он за нею последует. Ее пищей было сознание своей праведности здесь и высокой награды там, как "уловительницы" душ.

Твердым шагом подошла она к пансиону № 11 и позвонила. Шла она не как равная к равным. У нее не было намерения представиться или сообщить кое-что о себе самой. Поэтому нужно сообщить о ней, пока она еще не вошла в дом.

Она была специалистом по безгрешному существованию, никогда не нарушившим ни одной заповеди. В ее жизни не было такого, чего нельзя рассказать детям вслух. Наоборот, ее жизнь состояла только из действий, достойных похвалы. Ее наружность убеждала в верности вышесказанного.

Начнем с ботинок. Это в далеком прошлом проповедники приходили босиком, в лохмотьях, — бездомные аскеты, покрытые потом и пылью пустынь. Мисс Пинк носила коричневые полуботинки. Это были наилучшие полуботинки, какие только грешникам удавалось увидеть. Английские, настоящие, из Лондона. Высшего качества в отношении кожи, с полнейшим комфортом для ноги. Они имели за собой историю, так как являлись последним достижением сапожной науки и искусства. Конечно, фабрикант продавал их не в убыток, и только смертный с капиталом мог их купить. Прежде все-

го, их продают в магазинах, где приказчик видит насквозь покупателя. Приказчик похож и видом и манерами на посланника, но как-то наоборот. Если вы дама, вы имеете дело почти с герцогиней. И он и она, видя остальные части вашего туалета, вдруг примут необыкновенно утомленный вид и медленную речь: нет вашего размера, — и мановением руки вы направлены к выходной двери. Но мисс Пинк, после беглого взгляда лишь на один ее жакет, будет встречена энергично и радостно, и найдутся все размеры, хотя женщины типа мисс Пинк обычно имеют громадную ногу.

Все остальное в одежде мисс Пинк не противоречило, а усиливало впечатление, произведенное ботинками: и меховой жакет, и замшевые перчатки, и кожаный портфель, в котором лежала Библия.

Какой-нибудь скептик, взглянув на мисс Пинк, сказал бы, что мисс Пинк вовсе не мисс Пинк, а тот евангельский юноша, который ушел раздавать имение нищим. Не слышно, чтоб он вернулся. Он все еще ходит, — совершенный, исполнивший все заповеди, но — увы! — не эту.

На ступеньках крыльца № 11 мисс Пинк вынула записную книжку и сверила адрес. Потом она позвонила. Кану, склонившемуся почтительно перед ее богатыми одеждами, она сказала кратко:

— Мисс Ирина Гордова.

Когда Ирина открыла дверь и пригласила мисс Пинк войти, та вошла осторожно, поздоровалась без поклона. Хозяйка пригласила ее сесть. Гостья долго глядела на стул, вызывая недоумение хозяйки. Дело в том, что мисс Пинк боялась грязи, всякой грязи и во всех ее смыслах. Этот стул был чист. Она села со вздохом облегчения. Другим приятным открытием был прекрасный английский язык Ирины. Мисс Пинк ненавидела недоразумения, а они случались, так как низшие классы Китая частенько не знают по-английски, сама же мисс Пинк говорила только на этом языке. Сев, она устремила на Ирину прямой, торжественный и суровый взгляд. Длилось молчание. Ирина никак не могла догадаться, кто была ее гостья, зачем она здесь и почему так сурова.

Наконец мисс Пинк глубоко вздохнула и промолвила медленно, отчеканивая каждый слог:

— Мисс Гордова, вы живете во грехе.

Не зная специфического смысла фразы и все же несколько обидясь на такое начало, Ирина ответила:

— Но мы все живем во грехе, не правда ли?

Дрожь прошла по телу мисс Пинк.

— Мисс Гордова, вы живете во грехе. Вы губите душу. Я пришла спасти вас, вернуть на прямую дорогу.

Она говорила, уличая Ирину, и, открыв Библию, била Ирину текстами, как били камнями женщину в Евангелии за такой же грех.

Ирина наконец поняла. Гостья — миссионер, а она библейская блудница. Горькие чувства одно за другим потрясали ее сердце и душу. О, стыд! Так это ее социальное положение! Горячая кровь, как горячий душ, обливала ее всю внутри. Она почему-то подумала о семье, о Лиде. "Я должна оставить их". Она уже готова была плакать, упасть на колени, каяться. Но тут случайно ее взгляд упал на огромную ногу мисс Пинк, на великолепные полуботинки, — и вдруг чувства Ирины совершенно изменились. Она направила свой жар и свою горечь уже не на себя, а на персону гостьи. "Вся в коричневом! Подобрала цвет. Идя проповедовать, одевалась не наспех". И мысль о сытой, защищенной, комфортабельной жизни такой проповедницы наполнила Ирину жгучей ненавистью: "Такой, конечно, остается только спасать других". Она готовилась ядовито задать ей ряд вопросов: "Где были вы, когда я осиротела? Была голодной? Умирала от тифа? Искала работу? В вашей Библии вы найдете: "голодного накорми" и все такое". Между тем мисс Пинк швыряла свои камни и метила ловко. Ирина решила ее прервать.

— Во всем, во всем, мисс Пинк, вы совершенно правы. Благодарю вас. Мне, знаете, самой как-то и в голову не приходило. Я очень хочу, чтобы вы меня спасли. Пожалуйста. И момент подходящий. Мой временный муж покидает меня.

Мисс Пинк не имела воображения и не понимала юмора. Еще не была выдумана шутка, которая заставила бы ее засмеяться. Слова Ирины ее обрадовали. Она перелистнула Библию:

— Я прочитаю псалом.

— Минутку, — сказала Ирина, — минутку: готова вас слушать и даже пообещаю выучить Библию наизусть. Но сначала закончим со мной. Мой временный муж уезжает. Найдите мне приличную работу в приличном месте на приличное жалованье. Я стану тут же на колени и на Библии поклянусь, что у меня никогда не будет второго мужа. Идет?

Материализм грешников всегда оскорблял мисс Пинк. К сожалению, они все таковы: прежде всего хотят есть. Терпеливо она объяснила Ирине, что она спасает души, а не предлагает службы. Даже если бы и предлагала, то Ирина должна бы отказаться: порыв к небу зачтется, только если он бескорыстен.

Ирине вдруг стало противно и скучно. Чтобы положить конец унизительной сцене, она встала, сказав, что сердечно благодарит за визит и обещает подумать о каждом слове, сказанном мисс Пинк. Мисс Пинк тоже встала и ушла, неуверенная, подбита ли ее перепелка.

Оставшись одна, Ирина стояла посреди комнаты и смотрела вокруг. Какая бедность! Как все старо, жалко, бесцветно! О, убожество жизни! Но ведь она была счастлива этим, — пусть скудный — это был ее земной рай. Она не желала лучшего. Это были единственные счастливые дни ее жизни — но вот приходит мисс Пинк, и сердце отравлено. Внезапно, без всяких видимых признаков к этому, она горько и громко зарыдала. В отчаянии она билась головой об стенку и ломала руки.

— Куда мне деться? — кричала она, но слова были понятны ей одной. — Куда идти? Что делать?

Привлеченная звуком рыданий мадам Климова ринулась в ее комнату. Она была большая любительница сцен, обмороков, истерик — и у себя, и у других. Женщина плачет. По мнению Климовой, единственной причиной женских слез — прямо ли, косвенно ли — мог быть только мужчина. Мигом она смекнула, в чем было дело, и начала утешать Иру:

— Ангел мой, душка, что делать! Мужчины терпеть не могут жениться. Слезами у них не выплачешь.

Говоря это, она уже держала Ирину за плечи и поила водой.

— Забудьте, успокойтесь — и поболтаем. Знаю жизнь, могу дать совет.

Она благоволила Ирине, видя ее в слезах, и все же не могла удержаться от критики: "Нет, она — не аристократка. Те не так плачут: две-три слезинки, и на платочек. А эта ревет, как деревенская девка на похоронах".

— Не плачьте, душка, — продолжала она вслух. — Чего добьетесь этим? Выпадут ресницы — и только. Да и глаза от слез выцветают. А для женщины красота — единственный козырь. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Ну и пусть ваш солдат уходит! Другой солдат оценит вас лучше. Ах, дорогая, в любви опыт — все. Первая любовь поэтому всегда несчастна.

Она уложила Ирину на диван, укрыла чем-то, сняла ей туфли. Затем села около и продолжала:

— Есть хороший выход: уезжайте в Шанхай. Соберем на билет. Можно устроить лотерею. Этот город мал для настоящей карьеры. Но Шанхай! Нет лучшего города для интересной жизни. Чопорности никакой. Все спешат. Никто ничего ни о ком не знает. Скажете, что вы — графиня, не поверят; скажете, что рабыня, тоже не поверят. В обоих случаях примут одинаково. Хотите замуж? Нигде не женятся так наспех, без оглядки, как в Шанхае. Истекает отпуск, думать некогда, да и нечего: все равно никогда не узнаете, с кем вступили в брак. А мужчин! Военные, путешественники, журналисты. Все — на жалованье и никто ничего не делает. Ведь какое расписание дня: по ночам кутят, утром спят, после полудня — жарко, невозможно работать, в полдень — отдых, вечером — все уже закрыто. Ах, Шанхай! Знаете что, давайте и я с вами поеду! Две головы — лучше. А на худой конец, в Шанхае твердая такса: европеец платит своей душке от шестидесяти до ста долларов в месяц. Но не берите француза: подозрителен, ревнив, и все норовит не заплатить.

Ирина между тем думала: "Прогнать ее? Ударить?" — но она лежала без сил после своих рыданий.

— С другой стороны, — упивалась мадам Климова темой, — штатский француз хотя и хуже, чем военный, но иногда женится. Да, даже и на китаянке. Так уж вам-то можно надеяться.

Ирина бессильно думала: "Бросить бы ее на пол и топтать ногами!"

— Англичанин же сух непомерно. Обязательно заплатит, но других нежностей от него не жди. Просто не разговаривает. Американец и щедр, и весел, и любит приключения, но у них там в Штатах везде разные законы: то жениться совсем нельзя, то жениться можно, но ввезти жену в штат нельзя. Учтите хотя бы ваш собственный опыт.

От ее голоса Ирина впадала как бы в забытье. Она слушала, уже не возмущаясь.

— С немцами прямо-таки что-то случилось. Были они веселые ребята. Теперь никак не хотят русскую в подруги, подозревают, что еврейка. Что касается японцев — никогда! У них нет понимания, да и иена их — смотрите — стоит низко. Вы скажете, я забыла итальянцев. Не забыла. Красавцы и поют, но ждите от них не денег в сумочку, а скорее кинжал в бок. Китайцы? Если и встретите баснословно богатого, и окончил он и Оксфорд и Харвард — бегите от него в сторону. Он сам еще ничего, европеец лет до сорока, а там опять китаец — и уж навеки. Но до этого вам не дожить! Только отпразднуете свадьбу и поселитесь в городском доме, как, по обычаю, надо навестить почтенных родителей в далекой деревне и еще поклониться могилам предков. Многие уехали, ни одна не вернулась. Климат, говорят. Умерла. А на деле? Отравлена почтенными родителями.

Мадам Климова задрожала от ужаса перед нарисованной картиной.

— Нет, дорогая, — продолжала она, отдохнув, — мой совет: держитесь поближе к англичанам. Ну и пусть не разговаривает! Поговорить можно с кем-нибудь другим. Следите, как стоит их паунд? Даже американский доллар мельче. Вы видели золотой паунд? Я не видела, а очень хотела б увидеть. Говорят, есть в музее. Схожу. А как англичан уважают! Идите с английским солдатом — и в ресторане, и в кафе, и в кабаре вас встречают как герцогиню.

Ирина думала: "Напрасно я сердилась. Она советует мне то, что, по ее мнению, всего лучше. По-своему она делает то же, что и мисс Пинк: старается о моем спасении".

— Вас удивляет, я еще не упомянула русских мужчин. Кто вас возьмет и кому вы нужны? И кто этот русский мужчина, что имеет средства содержать жену? Начнете со стихов, подекламируете немного, споете, — а там он начнет пить, а вы — плакать. Станет даже бить вас — и оба вы будете без службы. Нет, мимо, мимо! Последнее слово: англосаксонская раса. И чем она молчаливей, тем лучше. От тишины у вас появится чувство собственного достоинства.

"Боже мой! — уже жалела ее Ирина, — неужто все это ее собственное наблюдение? Вот была жизнь! Бедняжка!"

И вдруг опять заплакала. Мадам Климова приняла это за радостные слезы в отношении англосаксов.

— Ну, вот и успокоилась, умница! — сказала она с чувством удовлетворения после хорошо исполненного долга.

9

Паспорта, которые выдаются всем свободно в благополучных и культурных странах, сделались одной из главных бед в жизни русских эмигрантов. В Китае паспорта выдавались на основании прежних русских документов, и их надо было возобновлять ежегодно. Когда японцы взяли Тянцзин, то эта государственная функция была передана ими в Бюро русских эмигрантов, чья деятельность теперь проходила под строгим контролем приставленных к нему японских чиновников. Паспортное дело приняло фантастические формы. Паспорт могли дать, но могли в нем и отказать. Плата за паспорт взималась тоже фантастическая. Принималось в соображение имущество заявителя, но цена иногда спрашивалась большая, чем все это имущество. Моральным критерием для выдачи паспорта русскому сделалась его лояльность японскому трону.

В течение первых шести месяцев этого порядка десятки беспаспортных русских эмигрантов топтались на улицах концессий, французской и британ-

ской, где паспорта не спрашивались с резидентов. Если кто из них выходил за черту концессий, то немедленно арестовывался японской полицией.

Что такое человек без паспорта? Он не может ни жить в стране, ни покинуть ее. Для него уготованы всего два места: или могила, или японская тюрьма, что тоже почти могила.

Пете, после инцидента с японским офицером, было отказано в паспорте. Не имея никаких других документов, он сделался как бы несуществующим для закона, оставаясь, конечно, живым для беззакония. Ничей подданный, гражданин никакой страны. У него также не было ни работы, ни надежды найти ее. Часами он ходил по улицам концессии; возвращаясь, он искал угол потемнее и сидел там молча, один.

Однажды утром он сказал матери:

— Думаю пойти в советское консульство просить паспорт.

Она посмотрела на него глазами не только удивления, но страха.

— Эмигранты мне отказали. Без паспорта я не найду работы. Я не могу выйти за пределы концессии. Я молод — что же, так я и буду ходить по улицам лет тридцать — сорок? Русский — вернусь в Россию. Скажу, что не коммунист. Коммунистов там полтора миллиона, остальные не коммунисты. Буду жить с ними, как они живут. Посадят в тюрьму. Но и тут меня посадят в тюрьму; будут бить — тут уже били. Убьют, но и здесь в конце концов убьют. Тут моя жизнь кончена. Попробую жить в другом месте.

Она сидела долго-долго молча. Не было места для Пети на земле, не было для него нормальной жизни. А он был хороший и славный и ничего плохого не сделал.

— Петя, — сказала она наконец, — решай. Это твоя жизнь. Но помни, пока жива, буду горячо-горячо молиться о тебе.

С большим трудом удалось Пете добиться свидания с советским консулом. Это был человек ни хороший, ни плохой, ни умный, ни глупый, совсем не имевший ни понимания положения, ни способностей справиться с ним. Вдобавок он сильно страдал от болезни печени, которая давала о себе знать все сильнее благодаря климату Китая.

Он мрачно выслушал Петю, как будто бы тот повествовал о гнуснейшем преступлении. Боль в правом боку, где он держал руку, придавала memento mori его настроению.

— Поздно, гражданин, поздно, — сказал он, когда Петя закончил повествование. — Где вы гуляли двадцать лет? (Пете было всего девятнадцать).

— Выслушайте меня, гражданин. Я говорю с вами не как эмигрант с коммунистом, а как русский с русским. Я жил здесь и остался бы жить, пассивный зритель чужих политик. Китай предоставил мне эту возможность. Пришли японцы. Сотрудничество и служба в их армии делается условием существования для тех русских, кто не может уехать. Я не могу уехать. У меня нет ни денег, ни паспорта. Я не хочу быть в японской армии, так как она нанесет удар не столько коммунизму, сколько самой России. Я мог стоять пассивно против моей родины, но я не могу активно вредить ей. Я честно вам заявляю, что коммунистом не буду. Но я молод и здоров. Я хочу работать. Поместите меня в агрикультуру, лесоводство, в медицинскую школу, пошлите на север на гражданское строительство — я буду работать. Буду неугоден вам — я в ваших руках.

“Молодой и здоровый, — думал консул, глядя на Петю и держа руку на ноющей печени. — Наверное, еще и ученый, хорошо говорит, не женат — и о чем горюет? — нет у него паспорта! Вот уж привычка жить по закону! Весь мир ему открыт — отчаливай, плыви! — а ему нужно разрешение и на отъезд и на въезд!” И он опять схватился за печень. Ответ у него был готов, он имел директивы и им, конечно, слепо подчинялся.

— Вот что, гражданин! Вы знаете, сейчас мы не имеем прямого сообщения с Москвой. Даже пошли я ваше заявление, ответ — если он будет — придет через год. А паспорт вам нужен сегодня. До свидания.

На крыльце стояли прежние друзья Пети по Бюро эмигрантов с фотографическими аппаратами. Снятый на пороге советского консульства Петя был заклеймен как преступник и отмечен затем японской полицией как шпион. Теперь, переступи он границу концессии, его ждала смерть.

Итак, получив отказ в паспорте и от белых и от красных, Петя, потомок старинной русской фамилии, уныло побрел домой. В сердце его кипела горечь. Как он будет жить? Кто будет его кормить? В девятнадцать лет он смотрел в непроглядную тьму будущего и думал, как бы закончить свою жизнь и уйти в могилу. Стоит ли жить в таком мире? Но он вспомнил о Семье; их осталось трое. Еще раз пойдут они на далекое русское кладбище?

Когда он позвонил, ему не сразу открыли дверь. В доме шел шумный разговор. Петя прислушался — голоса веселые. Он позвонил еще раз. Дверь открыла мадам Климова. Она была в большом возбуждении и прямо-таки накинулась на Петю:

— Петр Сергеевич, спешите! Бегите сюда, в столовую. Там настоящий испанский граф и графиня. Идем, идем — я вас сама представлю: “Графиня Dias da Cordova и молодой граф Леон!” — Она упивалась и захлебывалась этими именами.

Петя посмотрел на нее зло и насмешливо:

— Разве? Вы не ошиблись?

Но это была правда. В доме были новые жильцы. Они пили с Семьей чай с лимоном. Присутствие лимона не оставляло сомнений в правоте слов Климовой.

В наружности графини не было ничего замечательного. Она была небольшого роста, средних лет, просто и аккуратно одета и как-то необыкновенно спокойна. Возможно, это именно ее и отличало на общем фоне современных нервных людей, потому что, взглянув на нее раз, наблюдатель вновь и вновь возвращался к ней любопытствующим взглядом, не определив сразу, в чем же ее особенность. Между тем за этим спокойствием скрывался опыт тяжелой жизни. По рождению графиня была русской аристократкой. В Петербурге она пережила все ужасы войны и революции. Она потеряла все и всех, принадлежавших ее семье. Там же она вышла замуж за графа, который служил при испанском посольстве. Они уехали в Испанию и там снова прошли через все ужасы гражданской войны. Они покинули Испанию и поплыли в Китай и высадились в Шанхае накануне битвы в Чапее. В настоящее время граф с дочерью оставались в Шанхае, графиня же с сыном приехали в Тянцзин, ища, как устроиться. Денег у них не было.

Бури жизни напрасно бушевали над головой графини: они ее не искалечили. Казалось, природа имела свои какие-то цели, бережно сохраняя тип спокойной женщины. Она всегда давала ей достаточно физических сил. Что же касается сил духовных, они являлись следствием воспитания. Графиня была спокойно-религиозна, стоик по характеру, аскет во всем, что явилось бы ее личным удовольствием. Беспристрастная в суждениях, она не была связана никакими политическими предрассудками и в лазаретах одинаково внимательно перевязывала раненых бойцов всех партий. О политике она никогда не говорила, никого ни в чем не обвиняла и шла какой-то своей дорогой, конечно, тяжелой и трудной, но в то же время прямою и светлой. Она не была сентиментальной, не восклицала: "Безумно! Боже, какой ужас! Какая жалость!" В семейной жизни она была источником покоя и радости, всегда создавала уют, даже когда жили в углу, и всегда все на ней было чисто, даже в дни отсутствия мыла.

Ее сын Леон был поразительно красив, очень сдержан, избегал эффектов в словах и манерах, всему предпочитал спокойное уединение. Итак, по выражению Климовой, дом № 11 "кишмя кишел" аристократией, и она — наконец, слава Богу! — была в "своей атмосфере". Но, к ее удивлению, графиня просила называть ее не титулом, а Марией Федоровной. А граф Леон интересовался Петей больше, чем мадам Климовой, и не выразил желания видеть фотографию Аллы, о которой она ему уже рассказала. Далее, графиня отказывалась поддерживать разговор о высшем обществе, и коронация в Англии, казалось, совсем ее не волновала. История любви, связанная с короной, оставляла ее незаинтересованной.

"Странно, странно! — шептала про себя мадам Климова. — Какое вырождение аристократии! Боже, куда мы идем?"

И, к полному изумлению, услышала, что графиня и Татьяна Алексеевна обсуждают именно "дрязги" существования. Поверить ли? Графиня спрашивала, что стоит открыть пансион, вроде № 11, на французской концессии.

— Поначалу это ничего не стоит, — отвечала Мать. — Самое большее — рента за месяц. Все остальное вы берете в долг. Это почти обычай в Китае. Вы нанимаете и прислугу в долг, месяца на два-три. Жильцы всегда будут, так как теперь много народа укрывается на концессиях. Трудность в том, что почти невозможно найти свободный дом, а также в том, что жильцы обычно не платят. Так у нас исчезли, например, японцы. Китайцы часто исчезают, даже заплатив, и неизвестно куда. Русским же нечем платить. На другие нации трудно рассчитывать как на жильцов. Они имеют свои концессии.

— Но как вы живете?

— Я не знаю, как мы живем и живем ли мы, — призналась Мать. — Это время движется, а не мы живем.

И обе они засмеялись.

10

Жизнь в городе делалась все тяжелее. Промышленность, сельское хозяйство, искусства — все было разрушено, все гибло, все останавливалось. Китайская обида была слишком глубока, чтобы о ней забыть, и сотрудничество, на которое рассчитывали японцы, не осуществлялось. Беженцы, нищие, японские солдаты, пушки, недостаток провизии, страх, высокие цены, холод и ветер — тот страшный ветер, что приносит облака пыли из пустыни Гоби, делает день темным, как ночь, — все это и составляло пейзаж и атмосферу города.

Давление японской воли усиливалось. Его начали испытывать и бояться не только китайцы и не пришедшие на поклон русские, но и другие нации, даже и граждане сильнейших европейских стран. Пошли "инциденты", пошли "конфликты" — и все всегда заканчивалось в пользу Японии. Когда уже на самой британской концессии японский офицер ударил полицейского-англичанина хлыстом по лицу, а полицейский был на посту — тут уж все поняли, что дело серьезно, что Япония не просто разбойник, а сильная держава. Этот ударенный по лицу англичанин для Европы значил больше, чем тысячи квадратных миль опустошенных китайских полей и полмиллиона убитых китайцев. И те, кто имели средства и возможность, заторопились в свои консульства, чтобы взять визы для возвращения на родину. "Уж если осмелились поднять руку на Англию — то никто не защищен, всем грозит опасность".

Тут выступили наружу национальные характеристики. Англичанки, большей частью из хороших фамилий, спокойно-бесстрашные в нужный момент, но избегающие инцидентов и зрелищ, сидели по домам, не показываясь почти совсем на улицах. Француженки, чьи бабушки и матери видывали зрелища революций, наоборот, выходили поглядеть, не будет ли какого события и на их концессии. Но когда японский солдат намеренно толкнул французскую даму, она с криком "Vive la France!" накинулась на него, как тигрица. Ее ногти были хорошо отточены, мускулы рук развиты теннисом, — и она рвала его лицо, царапала и, возможно, задушила бы, если бы солдата от нее не вырвали. Окровавленный солдат и леди в синяках и в лохмотьях вместо былого платья были наконец разведены волонтерами из толпы. Но надо сказать, китайские зеваки не очень поторопились вмешаться. Им любо было поглядеть и позлорадствовать: не могло быть зрелища слаще для китайских очей, как избиваемый японский солдат, и, отрывая его от леди, они жали его и толкали куда больше, чем требовалось. Кто-то уже позвонил во французское консульство. Был также позван рикша, француженка бережно усажена в колясочку, и лоскутки ее одежд собраны до одного и положены ей на колени. И уже марширoвал на место происшествия единственный в городе французский полковник с единственным на территории концессии взводом бравых французских солдат. Потомок Тартарена, полковник, несомненно, был тоже из Тараскона, об этом говорил весь его вид: и круглый животик, и необычайно доблестный вид. С тех пор так и повелось. Чуть что или подозрение чего-то возникало на французской концессии, полковник наспех подкручивал усы и маршировал с таким видом, что престиж Франции все подымался в глазах населения, особенно мальчишек.

Итальянцев опасно было затронуть. Интернациональный ли закон или никакого закона — они

подходили к делу не с этой стороны. Один из них вдруг выхватывал из-за голенища кинжал, всегда хорошо отточенный; другой бежал и звонил — но не в свое консульство, а в бараки. Вмиг летели грузовики, не соблюдая правил уличного движения, к месту, где их друг-соотечественник был в опасности. Они пели, пока ехали. Во всем было больше звука, чем дела. Когда же доходило до судебного разбора, то никакой не было возможности добраться до истины.

И создалось такое положение: на французской и итальянской концессиях инцидентов с японцами не происходило, и цены на квартиры повысились неимоверно. На других инциденты продолжались. Что бы ни произошло, дело оканчивалось пустыми извинениями японцев: они сожалеют, что все так вышло. Никаких конкретных компенсаций они никогда не выполняли.

Начались жестокости в отношении слабейших. Первыми шли китайцы, вторыми — русские. С мелочностью, свойственной японцу, выросшему на маленьких островах, в маленьких домиках, между карликовыми деревьями, — они входили во все детали жизни ими покоренных. Начались бесконечные анкеты и допросы.

Мать страдала за всю Семью. Семья распадалась. Уже невозможно было держаться вместе. Три разные дороги готовила судьба Пете, Лиде и Диме.

Решено было, что Дима поедет в Англию с миссис Парриш. Он с легким сердцем выслушал это решение. Для него в этом было много интересного. Он сам, по телефону, научился вызывать такси для миссис Парриш, и они ездили за покупками. Дима, никогда прежде ничего не покупавший, наслаждался прелестью и могуществом наличных денег. Они ездили в английское консульство, и там для него готовили документы. И все же, вернувшись домой после всего этого счастья, он, вдруг охваченный беспокойством, бежал искать Мать. И только крепко обхватив ее руками, он чувствовал, что все хорошо, потому что все по-старому. Мать чувствовала, как встревоженно билось его маленькое сердце. Но ее темой для разговора с Димой было то будущее, когда он их всех "выпишет" в Англию и всех устроит. А Дима иногда поправлял: "Или я приеду к вам, но только уже богатый".

У Лиды не было службы. Частые письма Джима поддерживали в ней бодрость. Но ее настоящее было пусто — и эта бесполезная трата юности огорчала Мать. Уходило время, когда бы она могла учиться, иметь профессию. "Полуобразованная, — с тоской думала Мать. — Пишет с ошибками". Но сама Лида не замечала именно этих недостатков и вполне довольствовалась тем, что уже знала. Молодая здоровая любознательность, не найдя пищи, постепенно угасала в ней.

Но самой тяжелой и страшной казалась судьба Пети. Мать часто говорила с ним и подолгу, обычно поздно вечером, потихоньку, где-нибудь в уголку. Петины планы постепенно принимали определенную форму.

— Толпы китайских и русских нищих бродяжничают по стране. В Китае бродяжничество тоже профессия. Они проводят зимы на юге, вокруг Тянцзина и Шанхая, весной они двигаются на север, в Маньчжурию. Они по большей части — бездомные и преступники, главным образом воры. Но есть между ними разные люди неизвестного происхождения и таинственной жизни. Есть также специалисты, которые проводят через границы, туда и сюда, из Китая в Советскую Россию и обратно. Весной я уйду с ними, — говорил Петя.

Мать слушала, и лицо ее из серого делалось синим.

— Ночью они меня доведут до места, где я смогу перебраться через границу. Утром я буду в России. Я пойду на первый пост и заявлю о себе. Меня арестуют и посадят в тюрьму. По всей вероятности, будут судить. Едва ли казнят, так как за мной, собственно, и нет ничего. Молод, старой России не помню, в новой не жил. Посадят на несколько лет в тюрьму или, скорее, пошлют на каторжные работы. Отработаю — и начну новую жизнь, если будет возможно.

— О, Петя, Петя, — шептала Мать, — как все это страшно.

— Я постараюсь поддерживать в себе надежду.

— Боюсь, они тебя просто убьют. Примут за шпиона.

— Дорогая Тетя, — и глубокая, глубокая горечь была в голосе Пети, — и здесь меня убьют, и здесь меня считают за шпиона. Не странно ли — куда я ни пойду, меня ищут убить. За что? Кому и чем я так страшен? Что я сделал? И уж если быть убитым, пусть в последний момент я буду стоять на родной земле и, умерев, смешаюсь с этой землей.

— О Петя, мое сердце обливается кровью.

Возможно, эти слова ее не были преувеличением: ее сердце разрывалось от боли. Она воспитывала Петю-сироту, и вот какая судьба ожидала его.

11

Черновым также отказали в паспорте, но профессор отнесся к этому чрезвычайно легко.

— Не даете, ну и не надо. Держите их для себя, эти паспорта. Копите их! Что выйдет? Нас, беспаспортных, будет много. Мы организуемся. "Иди к нам, интернациональный беспаспортный бродяга! Гражданин Планеты Земля!" При нынешних системах очень скоро мы будем в большинстве — и вы потонете в нашем море, с вашей конторой и письменным столом. Вы не опасаетесь? А вдруг человек догадается и станет обходиться без паспорта, а следовательно, и без обязанностей: он — не солдат, он не платит налогов. Где возьмете вы денег? Придется бежать за ним, умоляя, чтобы он взял ваш паспорт. Но он отвык. Он откажется. Паспорт станет анахронизмом, как амулет из змеиной кожи.

Профессора попросили выйти. Он раскланялся и ушел.

Придя домой, профессор со вкусом рассказывал этот эпизод, но женщины не разделяли его точки зрения и не смеялись, когда он смеялся. Начался оживленный разговор. С профессором были Анна Петровна, Мать и графиня.

У входной двери раздался звонок, никто не слышал. С тех пор как Климова жила в доме, дверь в столовую была частенько плотно закрыта.

У входной двери опять раздался звонок, но и этого звонка никто не слышал.

Лицо, стоящее у входной двери, тихонько повернуло ручку, и незапертая входная дверь

открылась. Лицо это прошло коридор и в изумлении остановилось перед закрытой дверью столовой. Казалось, факт, что дверь закрыта, чем-то поразил пришедшее лицо. Оно постучало, ответа не было. Горячий разговор шел в столовой. Лицо вздохнуло и открыло дверь. Все обернулись: на пороге стояла мадам Милица.

Боже мой, как изменило ее путешествие! Пусть на ней была та же тальма, но где же шляпа с перьями якобы от страуса? И не только голова ее не была покрыта, но число ее завитков, косичек, челок и локонов настолько уменьшилось, что даже намеки на лысинку просвечивали между черных прядей волос. Куда девалось замечательное обилие волос? Выпало? Вырвали? Или, будучи искусственным, пришло в упадок и износилось? Странно, она от этого выиграла. Ее лоб, прежде под челкой как бы совсем не существовавший, был открыт теперь — и это был лоб мыслителя. У профессора был просто "лобик" в сравнении с этим строением. В ее руках был новый мешок, без льва, без голубя, без ангела, без надписи, лишенный всякой таинственности. Такую вещь можно было бы купить в любом магазине.

Со всем этим в Милице было и какое-то новое достоинство: спокойствие тех, кто получает жалованье.

Первые моменты прошли в удивленном молчании. Она между тем открыла сумку, вынула небольшой пакет — и запах кофе полился оттуда, — сделала шаг вперед, поклонилась и сказала:

— Приветствую честную компанию! — и, оборотясь к Матери, спросила: — Где Бабушка? Этот кофе — подарок ей!

Только тут Мать спохватилась, что они не написали мадам Милице ни одного письма и она ничего не знает о событиях в Семье. Она пыталась ответить и не могла. Слезы брызнули из ее глаз.

— Понимаю, — сказала Милица, склоняя голову. — Так выпьем этот кофе за упокой ее прекрасной души.

Кофе распили всем домом. Ира и Гарри, Дима с Собакой и миссис Парриш, Лида, Леон, которого Милица пронзила пытливым взглядом самой Судьбы, мадам Климова, которую вид Милицы удивил и даже как будто чем-то оскорбил и которой Милица тут же отплатила своим взглядом, — все пребывали в столовой и, кто мог, пили кофе. Выпила и Климова, даже три чашки, но с видом большого снисхождения, которое для нее было просто мучительным.

Однако историю свою Милица рассказала уже после, когда кое-кто ушел из столовой. Ее голос был слаб, почти беззвучен. Она начала заявлением, что прибыла в Тянцзин на шхуне, не ела ничего за последние сутки и что новый мешок был всем ее достоянием. Затем она приступила к рассказу.

В Шанхае, в самом разгаре спокойной жизни, леди Доротея получила известие, что в военной зоне, где-то около Ханькоу, в полку не то китайском, не то у японцев, сражаются несколько офицеров старой русской императорской армии. Поскольку число этих офицеров все уменьшалось, так как они умирали, шансы леди Доротеи найти Булата возрастали. По ее просьбе мадам Милица раскинула карты, и, как всегда, вышло, что он близко, и встреча состоится в недалеком будущем. Не ожидая, что Булат направится в Шанхай, леди Доротея решила поехать в Ханькоу. Они упаковали вещи и покинули незабываемо прекрасный отель. Несколько дней подряд они продвигались вверх по Янцзы, под пулями японцев, китайских партизан, револьверов хунхузов и бомбами сверху с неизвестно чьих аэропланов. В час, когда они вошли в Ханькоу, была объявлена немедленная эвакуация оттуда всех европейских женщин. Леди Доротея потребовала английского консула для личного объяснения. Несмотря на все ее красноречие с указанием цели, приведшей ее в Ханькоу, консул велел ей выехать сейчас же. Ни ее титул, ни ее связи в дипломатических кругах не поколебали консула, наоборот, он все более настаивал на ее отъезде. Только две дороги были открыты: железнодорожный путь в Кантон и воздушный в Гонконг. Консул советовал воспользоваться последним. Это было первое знакомство мадам Милицы с аэропланом, и она не хотела бы входить в подробности.

В Гонконге паспорта проверяли уже у самого выхода из аэроплана, а выход был один. Леди Доротею пропустили немедленно и с низким поклоном, но мадам Милицу тут же задержали. Документ, который она обычно предъявляла как паспорт, был встречен презрительным взглядом. Ее спросили, нет ли документа получше. Другого документа не было. Милицу подвергли допросу, и оказалось, будто бы она не имела права существовать на свете: она не могла дать ответа на вопрос о подданстве. Точно сказать она не могла, но подозревала, что, пожалуй, подданства русского. Ее родители были рождены в Бессарабии, это значило, что они были русскими до мировой войны и румынами после нее. Ее покойный муж родился на Балканах, в Македонии. В то время как Сербия и Болгария сражались между собой за обладание Македонией, население этой воинственной страны объявило себя от всех независимым. После мировой войны Югославия получила эту независимую Македонию, но это не значило, что покойный муж Милицы, Данко Милон, сложил оружие. Не такой он был человек. Сама же докладчица родилась на лодке, плывшей вниз по Дунаю, и никакие расспросы впоследствии не могли точно установить места. Жила же она в Македонии, в России, в Маньчжурии, в Китае. Честно изложив факты, она просила чиновника решить самому, какого она подданства, предполагая в нем большие познания в этой области. Поданный же ему и забракованный им документ — подарок мужа в день объявления независимости Македонии. Других документов нет, потому что, куда она за ними ни обращалась, ей отказывали наотрез: в Румынии, в Болгарии, в Сербии, в Югославии, в России, в Маньчжурии, в Китае.

Хотя и чистосердечный, рассказ этот не вызвал ни сочувствия, ни интереса чиновника. Более того, он ему, очевидно, совершенно не понравился. Милице было приказано "очистить" Гонконг. Когда же узнали, что она уже была в Гонконге три месяца назад и также не получила разрешения остаться, ее взяли под арест. Не хотели выслушать, что попала она тогда в Гонконг не по своей воле, что ехала она в Шанхай и виноват был капитан парохода. Все это время леди Доротея хлопотала об освобождении мадам Милицы. Ее голос гудел вдали, когда допрашивали Милицу на аэродроме; он же погневнее — гремел, когда ее опрашивали в полицейском управле-

нии, и он же был последним звуком, долетевшим к Милице из свободного мира, когда за нею захлопнулась дверь арестантской камеры. Голос звучал напрасно, даже в свидании было отказано. Все имущество было отобрано у Милицы, ее же темным вечером погрузили на аэроплан и после того прочли ей обвинение. Кончилось чем началось: у нее не было паспорта, но добавилось подозрение в шпионстве. Аэроплан спустился в Циндао. Открыли дверь и сказали Милице, что она свободна и пусть идет куда хочет. Но ходить она уже боялась, так как и в Циндао была полиция. Убедившись в этом факте, она кинулась к пристани, где стояли китайские рыбачьи лодки и шхуны. У ней было спрятанных (в волосах) 20 долларов. Она успела купить вот этот фунт кофе. Все остальное взял хозяин шхуны за перевоз до Тянцзина со столом. В дороге он жаловался на ежедневное поднятие цен на рынках, хотя они нигде не останавливались, — и последние сутки не давал ей пищи.

Рассказ был окончен. Мать встала, подошла к Милице и ласково сказала:

— Оставайтесь с нами. Мы рады вас видеть. Вы будете нашей гостьей и извините нашу бедность.

Но профессор засыпал Милицу вопросами. Что же касается ее тревог, он высказался полным оптимистом:

— Ни Булат, ни вы не уйдете от леди Доротеи.

12

На следующее утро за чаем в столовой Милица досказала о своих несчастьях: она потеряла карты.

Молодежь хотела гадать; все хотели: Ира, Гарри, Лида; тут же вертелась и мадам Климова с карточкой Аллы.

Услышав о потере карт, Гарри предложил сбегать и купить. Он знал за углом лавочку. Невозможно описать взгляда, брошенного ему Милицей. Впервые в жизни Гарри струхнул, и порядком.

— Карты! Да разве игральными картами гадают? До чего доходит невежество цивилизации! Настоящих гадальных карт невозможно купить. Эта колода рисуется знаменитым гадальщиком и переходит из поколения в поколение, как наследство. Иногда, раз лет в пятьдесят, делается копия, но делается она знающим человеком, не машинами.

Но и без карт Судьба в этот день улыбнулась дому № 11. Будучи, очевидно, дамой, для улыбки она выбрала молодого красавца графа Леона. Он нашел выгодную работу. Собственно, это была не работа, а игра.

Есть такие кварталы в больших городах, где можно побриться, завиться, разгладить костюм, почистить ботинки, покушать хорошо, развлечься на разные лады, заняться спортом, сыграть в карты, кости, домино, лото — все это при наличии денег. Вечерком там же можно быть ограбленным, раненным, побитым и даже убитым, а если нет, то арестованным, увезенным в госпиталь и даже тайно похороненным — все это уже бесплатно. В Тянцзине таким местом были кварталы около Арены на итальянской концессии.

За последние два года главным спортом Арены был хай-алай. В него могли играть исключительно испанцы. Это был аристократический спорт, и Тянцзин не знал о нем до гражданской войны в Испании. Когда появились испанские беженцы в Тянцзине, то те, кто был молод, красив, иногда и фашист и из старой испанской фамилии, организовались и нашли в этом спорте выход в борьбе за существование. Все они держались особняком и высокомерно, что только подымало интерес к ним. Игра их действительно достигла совершенства — и стадиум Арены был всегда полон. Они играли круглый год, и только на две недели стадиум закрывался для ремонта. Эти дни были днями тоски для богатых пожилых дам, составлявших главный кадр ежедневных посетителей. Испанцы же, со своей стороны, дам этих совсем не замечали и даже не улыбались в их сторону.

Напряженная игра требовала запаса свежих игроков. Леон был принят. Он не был фашистом, но был графом. Его игру проверили и приняли как равного.

Это была поразительная новость. Размер жалованья превосходил самые смелые мечты. Но Леон рассказывал обо всем совершенно спокойно. В заключение он поцеловал руку матери и сказал:

— Теперь не думайте об открытии пансиона. Моего жалованья хватит на всех. И хотя здесь славные люди, мы переедем, так как папа, конечно, предпочтет, чтоб мы жили одни.

А в столовой громче всех выражала восторги мадам Климова. Оставалось узнать, есть ли контрамарки в Арене. Она собиралась попросить для себя. Но что-то странное происходило с мадам Климовой. Она начинала заикаться всякий раз, когда приходилось говорить с Леоном, хотя их разговор был краток и — с его стороны — состоял из двух слов: доброе утро.

Как-то она сказала Лиде:

— Лида, не зевай. Лови момент. Будешь графиней.

Лида посмотрела на нее с изумлением:

— Но я обручена с Джимом.

— Обручена! А где кольцо?

Этот вопрос, а особенно тон его заставили Лиду вспыхнуть:

— У меня нет кольца. — Но, что-то вспомнив, она добавила с радостной улыбкой: — Но у меня есть часы-браслет.

— Ерунда. Часы не служат доказательством обручения, если дело у вас дойдет до суда. По закону: нет кольца, нет обручения. Твой жених, как вижу, был себе на уме.

В столовую вошла Милица. Она только что пришла с кладбища, ходила навестить Бабушкину могилку. Глаза ее были красны. Что ж, если она и владеет искусством всеведения, это не мешает поплакать.

Она заварила последнюю ложечку своего кофе, и на запах уже спешила мадам Климова. Мать не могла прийти сразу, а когда пришла, то кофе уже не осталось. Впрочем, ей не приходилось жалеть об этом, так как мадам Климова уверенно знала, что с таким слабым сердцем, какое было у Матери, пить кофе равнялось почти уголовному преступлению. Мадам же Милице она посоветовала впредь покупать кофе только у г-на Каразана, на французской концессии. Дороговато, но зато чистый мокко, что для понимающих в кофе — главное. Мадам Милица встретила это заявление молча, одарив собеседницу каким-то особенно мрачным взглядом. Молчание было прервано Розой, пришедшей с прощальным визитом и пога-

дать. Узнав о потере карт, она непомерно огорчилась. Одарив и ее долгим взглядом, Милица сказала:

— Может, это и лучше!

Но Роза была полна и страхов и надежд. Боясь, что японцы будут преследовать евреев, она спешила уехать — но как и куда? Посоветоваться не с кем, так как доктор не принимает ее тревоги всерьез, называя это паникой. Кстати, уж если заговорили о докторе, она просит ее выслушать. Она обращалась теперь по преимуществу к Матери. Роза слышала, что их новая жилица (она подразумевала мадам Климову, которая высказывала часто вслух это желание) желает "лечиться даром" у доктора Айзика.

Тут мадам Климова поднялась и, дернув стулом, чтоб "выразить чувства", вышла. Но Роза успела бросить ей вдогонку:

— Не понимаю, как юдофобы не боятся лечиться у докторов-евреев, да еще и даром! Но вам я скажу вот что, — обратилась она к Матери и уже другим тоном. — Я не уеду спокойно, не предупредив вас, что Айзик — ненормальный. Ну что вы нашли в нем? Вспомните: болел ваш мальчишка, так Айзик привел другого доктора, специалиста. Запила англичанка, так он сказал: "Тут ли, в госпитале ли, только отберите у ней бутылку, и это все". Надо учиться в Гейдельберге и в Монпелье, чтоб это сказать? Болела эта старуха монашка, и он сказал: "Нету лекарств, потому что она вправду сильно больна". Заболела Бабушка, так он прямо в лицо вас утешил: "У ней старость, и пусть умрет". Скажите же мне честно, кого он вылечил, этот знаменитый доктор? Он знаменит только тем, что лечит даром. Но что меня пугает — если он подружится с мужем той несчастной женщины, с вашим профессором, то они погубят друг друга. Не оставляйте их одних, они вам дом подожгут, и, имейте в виду, без спичек, одним разговором.

Облегчив совесть этим предупреждением, Роза начала повествовать и о своих делах. Пошли слухи, что евреев беспрепятственно пускают в Манилу. Туда она и направляла свой путь. Роза принципиально не верила слухам, особенно если они касались счастья евреев. Она ехала проверить. Пусть нога ее ступит на почву Манилы, и тогда она честно скажет: "Да, евреев пускают в Манилу". Почему не попробовать? Допустим, не пускают, но не убивают же их там при выходе на землю. Она вернется. А если пускают — она вызовет мужа.

И вдруг Роза неожиданно и горько заплакала. Это были слезы преследуемого, испуганного человека, и эти слезы всем в столовой теперь были понятны.

— Вот что, — предложила Милица великодушно. — Как только найдутся мои карты (а они найдутся!), я раскину на вас. Я вам телеграфирую одно слово "да" или "нет" — на исполнение ваших желаний. Пусть доктор даст адрес и оплатит телеграмму.

— Только объясните ему хорошенько, а то он не поймет, — заволновалась Роза. — Он ужасно тупой, когда надо понять, в чем дело.

Мать чувствовала себя очень усталой. Но только она легла спать с тем, чтобы встать пораньше и продумать свои тревоги, осторожный звонок звякнул у входной двери. Она удивилась странности этого звука. Кто-то и хотел, чтоб звонок услышали, и, очевидно, боялся быть кем-то услышанным. Она побежала к двери.

На фоне печального темного зимнего неба, у серой решетки калитки, стоял бродяга. Ступенькой ниже — мальчик, еще ниже — собака. Бродяга был слеп на левый глаз; собака была хромая. Мальчик был как будто здоров, но очень худ и грязен. Свет луны скупо, как бы с неудовольствием, освещал их сзади, и они все трое дрожали от холода.

Бродяга спросил, можно ли видеть Петю. Мать просила его войти. Он отказался за всех троих: "Мы тут постоим". Мать позвала Петю. Чтобы оказать дрожащему в лохмотьях человеку какое-то человеческое внимание, она спросила:

— Это ваша собака?

— Моя, — ответил бродяга.

— А вам не трудно ее кормить?

— Мадам, русский беженец в нищете не может быть без собаки: ему нужен верный друг.

У него был ужасный голос. Этот голос являлся биографией человека. Он свидетельствовал о бесчисленных ночах, проведенных на голой земле во все времена года, о пьянстве, когда была водка, о табаке, о голодных днях, о болезнях, грызущих тело долгие годы. С таким голосом невозможно родиться, его нелегко приобрести. Он является знаком безвозвратно погубленной жизни.

Когда Петя вышел и увидел бродягу, он тихо спросил:

— Где мы могли бы поговорить спокойно?

— Идите в столовую и заприте дверь на ключ, — ответила Мать.

Они ушли. Мать попросила и мальчика войти, но он отказался. И собака повесив голову стояла недвижно, как бы тоже отказываясь войти. Тогда Мать надела пальто и вернулась посидеть с мальчиком. Он стоял спокойно, его глаза были полузакрыты, и все же чувствовалось, что он был настороже, что глаза его видели ясно, уши прислушивались чутко — и он готов вспрыгнуть и умчаться при первом знаке опасности.

— Как тебя зовут? — спросила мать.

— Игорь.

— А фамилия?

Мальчик помолчал, потом сказал:

— Не знаю. Нету у меня фамилии.

— Где твои родители?

— Не знаю. Померли.

— Где они жили? В каком городе?

Мальчик уклончиво поглядел в сторону, стараясь избежать глаз Матери. Помолчал и сказал:

— Не знаю. Не помню.

— С кем ты живешь?

— С ними.

— С кем это "с ними"?

— Разный народ. Приятели.

Она смотрела на него с материнскою теплою жалостью. Какой грязный! Руки его были покрыты и сыпью и грязью, все вместе выглядело как чешуя на рыбе.

— Сядь, посиди. Может быть, долго придется ждать приятеля. — И она подвинула ему коврик. Мальчик сел. Собака, как бы оберегая его, подошла ближе и остановилась у его ног. Она двигалась на трех ногах; четвертая, очевидно давно когда-то перебитая, бесполезно болталась.

Мать вошла в дом. Она стояла в кухне в нерешимости. Потом взяла котлету, принадлежавшую миссис Парриш, разрезала ее вдоль, положила между двумя ломтями хлеба и завернула все в бумажную салфетку. Она вышла опять на крыльцо и отдала котлету Игорю. От запаха мяса по телу собаки прошла дрожь, и она тихонько заскулила. Игорь положил сверток за пазуху.

— Съешь сейчас, — сказала Мать.

— Я лучше съем потом.

— Когда?

— Потом.

Собака, аристократ дома № 11, появилась из двора и подошла к группе. По мере ее приближения хромая гостья становилась все меньше и меньше. Поза этой собачки выражала униженное смирение, мольбу о пощаде, как будто бы она понимала, что самый факт ее существования являлся оскорблением для высших собачьих пород. Аристократ же, бросив презрительный взгляд на пришельцев, издал один только звук, похожий на хрюканье, — и ушел.

Мать все смотрела на мальчика. Очевидно, он был один из миллиона "беспризорников" и обречен на гибель. Она старалась по его внешнему облику угадать, к какому классу прежнего русского общества принадлежала его семья. Ему было не больше 11 лет. Форма его головы, рук, легкость строения всего его маленького тела обличали породу. Из лохмотьев и грязи выступал образ изящного, стройного мальчика. Чей это сын? Был ли он только еще бродяга, или уже преступник, или начинающий наркоман? И Мать с горькой радостью подумала: "Хорошо, что Дима едет в Англию". Она все возвращалась к повторению этих слов, как бы желая убедить себя и оправдать.

— Они тебя не обижают? — тихо спросила она Игоря.

— Кто?

Те люди, с кем ты живешь.

Нет, не обижают.

— Не наказывают? Не бьют?

— Кто не бьет?

— Люди, с кем ты живешь.

Тут Игорь повернул голову и посмотрел — в первый раз — ей прямо в глаза. Несколько мгновений под этим взглядом она чувствовала какое-то смущение. Это был странный взгляд. Серые глаза глядели как-то необыкновенно спокойно, чуть насмешливо. Взгляд был светящийся, но не ласковый. Как бы кто-то другой посмотрел на нее из этих глаз и произнес упрек и осуждение.

— Нет, не бьют. Они бродяги. Мы не обижаем никого.

"И я виновата, — подумала Мать. — Кто даст Богу ответ за этих детей? Мы все виноваты". Вслух она спросила:

— Так тебе нравится с ними жить?

Он долго молчал, прежде чем тихо ответить:

— Мне больше негде жить.

— Хочешь жить с нами? Мы тоже бедные. Мы тебя не будем обижать. Я обещаю.

Мальчик опять осветил ее неласковым взглядом.

— Нет.

— Почему? Тебе станет легче жить, удобнее.

— Вы чужие.

— Нет, мы тебе не чужие: тоже русские и тоже бедные.

— Я уже привык там. Я сделался ихний.

— А ты подумай. И к нам привыкнешь, будешь наш. И у нас тоже есть мальчик. Есть и собака. Есть ванна, теплая вода. Кушаем, пьем чай. Будем тебя учить. Мы ходим в церковь, читаем книги, разговариваем долго по вечерам. Мы — семья, ты понимаешь?

Мальчик отвернул голову и молчал.

— Не будешь сильно голодным. Обстираем тебя, приоденем. Будешь ходить чистый, не будет грязи.

— Грязь — что? — вдруг быстро сказал мальчик: — Грязь — ничего. От нее не больно.

Петя и взрослый бродяга вышли из дома. Они прощались, о чем-то шепчась. Мать сказала бродяге:

— Оставь-ка мальчика у нас. Я его возьму в нашу семью.

Бродяга вздрогнул от неожиданности. Он осторожно и подозрительно скользнул своим глазом сначала по мальчику, потом по Матери и сказал:

— Ему тут неподходяще. Да и в нашем деле нужен мальчик. Хочешь остаться? — внезапно сказал он тоном, который хлестнул, как бич.

— Не хочу.

— Ну, так пошли!

И пришельцы удалились в том же порядке: сначала шел взрослый, за ним ребенок, за ним хромала жалкая собачка.

Петя стоял молча, но, видимо, очень взволнованный. Он взял руку Матери, поцеловал ее, и они вместе вошли в дом. В столовой он закрыл дверь, огляделся и потом сказал тихо:

— Я скоро ухожу с ними в Россию.

— О Боже! — Сердце у ней как будто бы оторвалось и упало, она всплеснула руками: — О Боже! О Петя! Уходишь с ним?

— Не только с ним. Всех их будет человек десять.

— Нет, я не могу... я не могу... — Она начала страшно дрожать всем телом, повторяя: — Не могу... это невозможно... не перенести...

Он взял ее руки, крепко сжал их, как бы желая передать ей что-то из своей силы, чтоб она так не дрожала.

— Тетя, вы согласились. Помните наш разговор? Тетя, дорогая, представляется такой удобный случай...

Эти слова "удобный случай" подняли горечь в ее сердце: "До чего дожили! — думала она. — И это уже удобный случай для Пети!"

— Куда же ты пойдешь? В какой город?

— Этого нельзя решать отсюда. Иду в Россию.

Бессильно она опустилась на диван, бывший когда-то Бабушкиной постелью.

— Что тебе надо приготовить?

— Ничего нельзя брать с собою. Я здесь заплачу 25 долларов — и это все.

"Господи, Господи! — в душе взывала Мать. — Поддержи меня. Гибну! Мы все гибнем!"

Ей мучительно хотелось остаться одной, уйти из пансиона № 11, от жильцов, от родных даже. Опомниться, одуматься. Не быть ничьей ни мамой, ни тетей, ни хозяйкой. Освободить душу от всех уз и оглянуться на жизнь. Что-то было нужно понять в своей жизни — и скорее, скорее, потому что про-

тест поднимался и рос в ней. Горечь заливала ее душу, мутила сознание. Но куда уйти? Где укрыться? Где ей удастся побыть одной? И вдруг она нашла: "Все брошу завтра и поеду на Бабушкину могилу".

13

Утром съехали графиня с сыном. Они нашли маленькую квартирку в районе Арены, где Леон должен был выступать в тот же вечер, но под вымышленным именем. Мадам Климова негодовала. Титул графа Dias da Cordova, по ее словам, выглядел бы шикарно на афише. "Имеют титул и не умеют им пользоваться, — думала она со злобой, — а кто умел бы, тому не дано".

Расставание прошло дружески, во взаимных обещаниях "не забывать" и встречаться. Мадам Климова, хоть и не получив приглашения, обещала навещать и почаще.

Матери не удалось оставить дом раньше полудня. Она старалась ничем не выдавать своего горя. Петя и она решили, что его уход должен оставаться строжайшим секретом, даже от Лиды и Димы. Дело шло о его жизни. Когда он уйдет, она скажет, что ему предложили работу в Шанхае и он спешно уехал. Мать уже составила рассказ, взвешивая каждое слово, чтоб заучить и не оговориться неосторожно.

— Он уехал в Шанхай. Друзья по его футбольной команде нашли ему там работу. Много значит рекомендация. Конечно, надо было спешить.

Тут она предполагала вопросы и восклицания слушателей:

— Почему так спешил?

— Письмо, что извещало его о работе, хоть и заказное, а сильно задержалось в дороге. Времени осталось в обрез. Прямо-таки мы боялись за каждый лишний час.

Тут неизбежно, а может быть, и раньше, мадам Климова спросит коварно и нарочно громко:

— Как же это он уехал? А паспорт?

Здесь она скажет приблизительно так, и скажет спокойно, если сможет, даже со снисходительной улыбкой по адресу Пети:

— Уж он так обрадовался, так торопился, что толком и не рассказал. Он получил какую-то бумагу от этих своих друзей-англичан. Там он был уже помечен как служащий и член футбольной команды (и в скобках: у них же скоро состязание с кем-то). Эта фирма дает протекцию в дороге всем своим служащим, значит, и Пете. Да, видела и бумагу. Своими глазами. Бумага с печатью.

— Но как же он вышел с концессии? — конечно, будет настаивать Климова. — Как прошел через японскую полицию? Он ведь "отмечен"?

— Да он и не выходил совсем, — скажет Мать наивно. — Ему написали, как ехать, и он мне рассказал. От берега британской концессии в моторной лодке английского консульства, до Таку-Бар, а там на английский пароход.

И все позавидуют Пете.

"Боже мой — думала она. — Ведь все это могло бы быть правдой!"

Наконец она оставила дом и отправилась на кладбище.

Ничего нет на свете печальнее кладбища в ранние часы хмурого февральского вечера, времени угрюмых ветров. Ни былинки зеленой травы, ни листа, все бесцветно, безжизненно, серо. В этот час оно пустынно. В этот час меркнет свет, надвигаются сумерки, и кладбище лежит распростершись, как труп, символ смерти. Как страшна земля, когда она холодная, мокрая, голая. Ветер кажется последним вздохом умершей земли. Нигде никогда не издает он таких глухих стонов,как в грустный февральский вечер на кладбище.

Мать быстро пошла к Бабушкиной могиле, в далеком углу, где места подешевле. Там она стала на колени, руками обвила маленький холмик, склонила голову — и на миг замерла.

— Ты слышишь меня, мама? — прошептала она. — Ты видишь, что я здесь? Ты знаешь, с чем я пришла?

Ее слезы полились ручьями.

— В этом мире одно мне не изменило — твоя любовь. Пусть твоя любовь будет сильней твоей смерти. Не оставляй меня. Научи, что мне делать. Может быть, я делаю ошибку — и дети должны остаться со мною, как ты когда-то сказала: "Умрем все вместе". Или надо их отпустить — пусть идут и ищут... Скажи мне слово, дай знак, что ты слышишь. Хочу видеть, что-то тронуть родное, к чему-то доброму, теплому прикоснуться...

Она плакала горько, и ее слезы стекались в маленькие озерца, в углубления на неровной поверхности холмика, застывали на засохших рождественских хризантемах и маленьких камешках. Озерца постепенно сливались вместе, в одну лужицу.

Но не было слышно другого звука, только под ветром где-то дребезжали металлические листья венков и царапающим вздохом отвечали им стеклянные цветы.

— Ты видишь меня, мама? Ты слышишь? — повторяла она снова и снова, но уже не могла выговаривать слов, только слоги, заикаясь от дрожи, утомления, холода. — Почему ты так навсегда бесповоротно ушла? Почему я не вижу тебя даже во сне? Я засыпаю с мыслью, обращенной к тебе, но ни разу, ни разу ты мне не явилась. Как ты можешь меня оставить одну в таком горе?

Но ответа ей не было. Могила была безмолвна. Ей казалось, все в ней онемело, и она сама уже была душою так же мертва, как этот час, этот ветер и эта могила. Но пока она лежала так, застывая, что-то в душе ее двинулось и уже подымалось, какая-то крепкая сила — не радость, не тепло — нет, большая сила — спокойная покорность. Это была покорность веры: как будто облака расходились, как будто видимый мир раздвигался — и она созерцала тропинку, о какой Бабушка сказала когда-то: "Люби ее — это твоя дорога в рай".

— Да будет воля Твоя, — прошептала она подымаясь и вдруг увидела крест над собой. Она видела его много раз раньше, этот крест на Бабушкиной могиле, но поняла только сейчас. В сумерках — высокий и белый — он возвышался на фоне темнеющего неба, угасающего света, печальной и голой земли — один только чистый и белый — одна дорога, одна ноша, один путь — страдание за всех.

Она почувствовала, что это и есть ответ на все ее печали. Жить, как жила, идти, как шла, всех любя и все прощая, как Бабушка. Ее душа напол-

нилась спокойствием. Она поняла, что жизнь ее и пути разрешаются не ею самой, а выше. Она поклонилась кресту и пошла к выходу.

У стены кладбища стоял одинокий рикша. Он поджидал ее на ветру, стуча зубами, чтоб заработать свой грош. Экипаж рикши не является его собственностью. Богатые фирмы получили монополию и сдают экипажи. Начав работать, рикша живет в Тянцзине около 8 лет, в Шанхае — от 4 до 6 и умирает от чахотки. Мать подумала: "Если мир начинает распадаться только на две группы, все же лучше быть жертвой, чем палачом".

Между тем в ее отсутствие в доме № 11 имело место еще одно событие. Мисс Пинк нанесла второй визит Ирине Гордовой. Мисс Пинк изменила свой апостольский день и час, теперь это было: пятница, от 2 до 4.

Твердым шагом вошла она в дом и громко спросила: "Ирина Гордова?" Ирина услышала голос, и больше всего в жизни ей захотелось не видеть мисс Пинк. Она что-то сообразила и, постучав к Черновым, сказала, что леди-миссионер ожидает кого-то внизу. Профессор вмиг сбежал с лестницы. Он волновался. Он думал, что прибыл кто-то из его корреспондентов. Энергично схватил он руку мисс Пинк, сообщая, что чрезвычайно рад и благодарит за визит и внимание.

— Пора, пора начать действовать! Человечество идет быстрым шагом к самоистреблению. Зоология знает о подобных явлениях в мире низших животных...

И он пригласил ее в пустую столовую, усадил на стул, запер дверь. Затем он сел напротив — весь интерес и ожидание. Но мисс Пинк, несколько оглушенная его красноречием, не говорила ничего. Длилось странное молчание. Удивленный профессор произнес:

— Жду ваших слов, сударыня.

— Я пришла помочь павшей девушке.

Профессор, никогда не думавший о женщинах в такой терминологии, не понял.

— Какая девушка? Откуда она упала? Почему она упала? Что с нею случилось дальше? Но, впрочем, это частный случай. Поговорим о спасении мира вообще.

— Я пришла видеть девушку — блудницу.

— Но здесь вы не найдете ее. И затем, я принципиально возразил бы против этого термина. Вы не думаете, что, произнося его, вы ставите себя в положение фарисея?

— Я пришла видеть Ирину Гордову.

Профессор изумился.

— Но если вы думаете о ней в подобных выражениях, я полагаю, вам лучше бы не встречаться. Это может оскорбить ее.

Одним из правил хорошего тона при посещении "трущоб" является терпение, если вдруг дурной запах, грязь или слово оскорбили посетителя. Мисс Пинк объяснила, что по программе ее общества эта часть города принадлежит — в моральном отношении — ей. Она должна поэтому видеть Ирину Гордову, и для блага этой последней.

— Простите, я не совсем понимаю, — спросил профессор. — Вы ей конкретно предлагаете какое-то "благо"? Вы ей? Что же это?

— Моральное руководство к моральному совершенству.

— Вы — ей? — переспросил удивленный профессор.

— Да, и ей и всем, кто в этом нуждается. Это есть не только цель моего визита сюда, это труд всей моей жизни.

Профессор соскочил со стула в порыве энтузиазма:

— Я счастлив встретить вас наконец, мисс Пинк! Моральное руководство для всех! Всю мою жизнь я ждал вас и мечтал встретить. Буду горд стать вашим слугой. Я и сам пытался было предлагать человечеству моральное руководство — но не имел успеха: чего-то недостает в моем методе. Никто не хочет за мной следовать. Научите меня. Как вы это делаете: ваш базис?

— Христианство, — кратко бросила мисс Пинк.

Профессор заволновался еще сильнее:

— Но идут ли за вами? Ведь не вы основали христианство и не сейчас. Все давно знают о нем. И Ирина Гордова знает, конечно. Так зачем вам беспокоить эту милую девушку? Поезжайте-ка лучше, например, в Москву! Ни для кого не секрет, что Политбюро несколько нуждается в моральном руководстве. Я им писал, но...

— Я требую сюда Ирину Гордову!

— Но позвольте, какое право вы на нее имеете? Возможно, она не желает вас видеть.

— Я уже была у нее.

— Не называли ли вы ее и тогда блудницей? Если да, уходите скорее, пока Гарри вас не увидел. Какое уж тут моральное руководство на христианском базисе, когда вы сами далеко не христианка. Вы вошли под ложным предлогом. У вас какие-то другие цели.

— Как вы смеете! — вскрикнула мисс Пинк.

— Но позвольте, позвольте, — старался объяснить профессор, — в вас нет двух основных качеств христианства: любви к ближнему и смирения. Вам нужны доказательства? Отлично. Идя сюда, как много нищих вы встретили и прошли мимо? Почему, например, вы не отдали вашего мехового жакета дрожащим от холода? Вы обязаны отдать, если вы читали Евангелие. И не только жакет, но платье и даже рубашку. Настоящий христианин шел бы "БОС и НАГ" сегодня в Тянцзине.

— Что? — сказала мисс Пинк, вставая. Идея наготы ее оскорбила. — Какая дерзость!

— Это не дерзость. Это — текст.

Она, уже не слушая, направлялась к двери.

— Позвольте, позвольте, — почти кричал профессор, забегая вперед и загораживая ей дорогу. — Вы не можете так уйти! Дайте же мне хоть ваше моральное руководство, если вы удерживаете для себя ваш меховой жакет...

Она понимала его слова в прямом смысле: он покушался — пока косвенно — на меховой жакет. Между столом, профессором и стеной было очень узкое пространство, она не могла пройти, не задев его. Ей казалось, как только она его заденет, он ее и схватит. Она — сильнее, конечно, но кто знает, кто еще скрывается в этой трущобе. Она ясно видела, что погибла.

— Это ваш долг — объясниться, — настаивал профессор, пытаясь взять ее за руку. — Вы ведь дорожите своим честным именем, не правда ли? Вы входите в частный дом без приглашения, под ложным предлогом. Вы называете одну из обитательниц именем, которое заставляет думать, что вы приходите откуда-то, где не знают приличий. Вы выдаете себя за общественного деятеля, но убегаете при первом вопросе о характере вашей деятельности. Вы понимаете, какое это производит впечатление в кругу культурных людей? Вы не можете не понять, вы — не молоды, мы приблизительно одних лет, христианское ли ваше поведение, не говоря уж об апостольском? Зачем вы шли сюда и что вам нужно? Человеческое достоинство обязывает вас не лгать. Дайте прямой ответ!

— Дайте мне пройти, — задыхаясь, шептала мисс Пинк. Она уже дрожала от страха.

Вдруг — и еще от большего страха — задрожал и профессор. Его лицо исказилось. И тоже страшным шепотом он спросил:

— А... а... у вас ДВЕ руки?

Мужество покинуло мисс Пинк, и она вдруг отчаянно закричала:

— Спасите!

Этот крик отрезвил профессора.

— Вы боитесь меня, мадам? — спросил он с удивлением и облегчением. Затем, открыв дверь и галантно отойдя в сторону, он поклонился: — Пожалуйста, мадам! Я больше не задерживаю вас. Будьте здоровы! Благодарю за любезное посещение.

Мисс Пинк ринулась в коридор и вон из дома.

14

Жильцы дома слышали, что в столовой шел громкий разговор. Раскаты голоса профессора отдавали гневом. Резкий крик мисс Пинк вспугнул всех, кто его слышал, но вмешиваться было поздно — все видели, как она выбежала из дома. В столовой они нашли профессора уже спокойного и как ни в чем не бывало. Однако же Ирина чувствовала себя виновной в том, что подвергла профессора испытанию милосердием мисс Пинк. Чтобы загладить угрызения совести, она всех пригласила на чай с печеньем и угощала тут же в столовой.

Мать, возвратившись домой, нашла всех вместе, мирно беседующими в столовой за чаем.

— Аврора! — приветствовала ее Ирина, и ее голос был и очень печален, и очень ласков. — Вот и ваша чашечка чаю.

Когда все разошлись, Ирина задержалась в столовой.

"Она хочет что-то сказать мне, — подумала Мать, — и что-то печальное".

— Вот что, — начала Ирина и отвернулась к окну, чтобы Мать не видела ее лица. Как бы внимательно рассматривая что-то во дворе, она сказала без всякого выражения в голосе: — Американская армия оставляет Тянцзин четвертого марта. Через десять дней.

И Мать, как когда-то Бабушка ответила Лиде, сказала:

— Десять дней — это долгое время. Еще десять дней счастья.

— Не правда ли? — Ирина быстро обернулась и засияла улыбкой. — Как человек делается жаден! Когда-то, до встречи с Гарри, в китайском доме, где все было мне чуждо и тяжело и неприятно, я, бывало, мечтала об одном дне счастья. Теперь я плачу о том, что их осталось десять. Как хорошо вы это сказали!

Улыбаясь, она подошла к Матери.

— Вы лягте и отдохните, Аврора, — говорила она, заметив, как Мать утомлена, но не подавая вида, что заметила это. — Я сделаю всю работу за вас, пожалуйста, пожалуйста. Вы лягте на диван и командуйте! — И она уже укладывала Мать, снимала с нее тяжелые и мокрые ботинки, принесла ей для смены свои шерстяные чулки, помассировала холодные ступни ног — и отправилась на кухню. Лиде она посоветовала оставить все и идти к Матери.

— Она что-то выглядит нехорошо.

Не зная, чем помочь, Лида сказала:

— Знаешь, мама, в церкви пели сегодня "Покаяния отверзи ми двери", хочешь, я сейчас для тебя спою?

— Спой.

— Я вот только Петю позову. Одним голосом спеть выйдет не то.

Через минуту они стояли около Матери. Высоким, чистым, каким-то святым голосом Лида запела:

— "Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче", — и Петя следовал за нею, исполняя партию мужской части хора.

Пение в пансионе № 11 было как бы сигналом для сбора. В доме все более или менее пели, и, заслышав первые ноты, каждый бросал, что делал, и шел на голос, как влекомый магнитом.

— "Утреннюет бо дух мой", — пела уже и Ирина, появляясь из кухни с полотенцем. И мадам Милица, явившись магически тут же, петь хотя и не пела, но подавала по временам два-три басовых звука, роль барабана в оркестре, и отбивала такт: "Весь осквернен, весь, весь, весь осквернен". И Дима свежим альтом пел кое-где, где знал слова и мелодию.

— "На спасения стези..." — И слезы стояли у всех в глазах. Голос Лиды летел ввысь и взвивался, как ангел.

— Что это, Аня, как будто что-то знакомое поют? — И профессор быстро направился в столовую. Ангельский голос встретил его словами:

— "...Но надеяся на милость..." — И он спешил на зов: "Но надеяся на милость..."

Анна Петровна сошла вниз тихо и медленно и незаметно прикорнула в углу, где, бывало, сиживал мистер Сун. Миссис Парриш теперь уже определенно избегала принимать участие в подобных собраниях. Мадам Климова была готова бежать вниз, но вспомнила, что она — в папильотках. Она быстро их раскручивала, подкалывая волосы перед зеркалом, но подоспела в столовую только к самому концу.

— Откуда эта ария? — спросила она, не замечая, что ее вопрос вызвал всеобщее изумление.

Надо сказать, что мадам Климова относилась к тому классу сторонников старой России, кто не часто ходит в церковь. Такие люди обычно придут в церковь после начала службы и уйдут до ее конца, успев все же перездороваться со всеми знакомыми и сообщить кой-какие новости. У нее была и общая для этой группы манера креститься, как бы не то

смахивая пыль с лица и груди, не то обвеваясь веером. На колени она не опускалась никогда, от этого потом болели ноги. Однако она считала себя сугубо религиозной и вправе поучать других, объясняя значение церкви при случае. Учителя этого типа обычно не знают церковной службы, этим и объясняется ее вопрос, откуда была эта ария.

Не получив ответа, она обернулась к Лиде:

— Жаль, что ты — не моя дочь. Давно бы пела на сцене. Тут в кабаре "У Петрушки" хорошее дают жалованье. Аккомпанемент — гитара гавайская и балалайка.

Вдруг резкий повелительный звонок раздался у входной двери, еще один и опять и опять — все громче и резче.

— Боже, кто это так звонит? — воскликнула Лида.

А звонок, очевидно испортившись от грубого обращения, звонил уже не переставая, и казалось, стены дрожали от его звуков.

— Я открою, — крикнул профессор, бывший ближе всех к двери.

Озаренный светом электрической лампочки, над входом стоял необыкновенный, невиданный доселе визитер. Казалось, это был самый настоящий Дон Кихот из Ламанчи, но только женского рода. На ней была его шляпа, его плащ. Правда, у нее не было копья, но был свернутый дождевой зонтик, и в отношении его она употребляла те же приемы, какие требовались в действии копьем. Высокая, тощая, с костлявым благородным лицом, она глянула на профессора горящими и мрачными глазами. И по возрасту она, очевидно, была ровесницей Дон Кихоту.

Профессор растерялся и, вместо приветствия, он вдруг начал цитировать:

— В одной из деревень Ламанчи...

— Дорогу! — по-английски сказала пришедшая и зонтиком сдвинула профессора со своего пути.

Да, это была леди Доротея.

15

Те три дня, что леди Доротея властвовала в доме № 11, превратились в воспоминании его обитателей в эпическую поэму о героях. Три дня, как буря, как ураган, с ветром, громом, градом и молнией, она бушевала и носилась по дому, не считаясь ни с кем, до конца не находя нужным помнить, где ее комната и где чужие, не признавая ни права собственности, ни неприкосновенности личности, сама не боясь ничего, неуязвимая ни для намеков, ни для насмешек или прямых обвинений, ни для мольбы.

В доме пошла полная переоценка ценностей в отношении личностей его обитателей. Леди Доротея совсем не заметила Лиду, но привязалась к Ирине и приказывала ей всюду следовать за собою. Анну Петровну она просто отмахивала в сторону рукой, как муху, если та встречалась ей на дороге, и, казалось, прихлопнула бы, как комара, если бы она решилась вдруг заговорить. Всякий раз, увидя мадам Климову, она принимала ее за прислугу, делала выговор за что-то и приказывала тут же почистить ей пальто, постирать носовые платки или сбегать на почту. Конечно, платки стирал Кан, он же бегал на почту, но пальто пришлось почистить, так как Доротея с зонтиком стояла тут же. Напрасно в несколько неудачных приемов мадам Климова пыталась начать повествование о покойном герое, спасителе армий, Климове. На леди Доротею титулы покойного Климова не произвели решительно никакого впечатления. Если профессор пытался в присутствии леди Доротеи упомянуть об Абсолюте, она смотрела на него сверху вниз с презрительной жалостью. Она была высока, профессор же малого роста, и ее взгляд, казалось весомый, просто вдавливал его в пол. За глаза она называла его "Сыном Абсолюта", в глаза же никак не называла, потому что никогда не обращалась к нему ни с чем. Возможно и то, что с высоты ее роста, взглядом, направленным горизонтально, она просто не замечала его, как не замечала и коврика у двери под ногами, о который постоянно спотыкалась. Профессор страдал, но не по личным чувствам: он понимал, что могла при желании сделать леди Доротея для Абсолюта. Она притопнула и на Диму и на Собаку, приказав обоим не попадаться ей на глаза. Когда Доротее понадобился телефон, то Мать, спросив разрешения у миссис Парриш, ввела к ней леди Доротею и представила их друг другу должным образом. Но леди не имела памяти на имена, и она называла миссис Парриш — "женщина с телефоном". Кан трепетал под ее взглядом и отступал на шаг, как только она открывала рот. Петя стал "мальчишкой в доме". К Матери же она относилась со всей возможной для нее вежливостью и симпатией: часто хлопала ее по плечу тяжелой костлявой рукой и каждое утро спрашивала, не болят ли у нее зубы.

Леди Доротея жила, собственно, в отеле, но казалось, она владела тайной быть вездесущей. И по ночам, когда все определенно знали, что она отбыла в отель, в доме № 11 все еще раздавались ее шаги, голос, падали вещи и хлопали двери. Возможно, что это было уже только эхо, но оно мешало спать, и все обитатели пансиона похудели и осунулись.

Как было обещано, она разыскала всю потерянную было в Гонконге собственность Милицы. И сундук с мешком прибыли на такси. Оба выглядели пыльными; видно было, что обращались с ними бесцеремонно. Мадам Милица на много часов заперлась со своими вещами в своей комнате, и когда наконец вышла оттуда, она выглядела уже как в час своего первого появления перед читателем, то есть в ореоле необычайно обильной прически и с колодой карт в руках. Начались долгие сеансы гаданий. Леди Доротея монополизировала мадам Милицу, и молодежи не удалось узнать судьбу. Между сеансами она приказала Пете привести к ней "генерала с картами", чье имя было записано в ее адресной книжке. Из комнаты миссис Парриш она разговаривала с английским консулом, и было непонятно, зачем ей телефон. Если б только она попросила консула стать у открытого окна, он мог бы ясно слышать ее голос, шедший волной над несколькими кварталами, отделявшими дом № 11 от консульства. Расстояние было всего-то около полумили. Все в окрестностях узнали, что она требовала послать к ней немедленно кого-либо из вице-консулов и настаивала, чтоб человек этот "был с головой". Дело шло о бумагах для мадам Милицы. Поняв, что в дом вот-вот прибудет английский вице-консул, мадам Климова бросилась завиваться, один глаз ее был направлен в зеркало, другой за

окно: она хотела лично открыть двери ожидаемому джентльмену. "Он, наверное, будет в цилиндре", — волновалась она, и сердце ее трепетало и замирало сладко. Ей еще не приходилось иметь дело с джентльменом в цилиндре: она видела их или на картинке, или на очень большом расстоянии.

В тот единственный момент, когда она не была на страже, надевая платье, а оно, сделавшись почему-то узким, не продернулось сразу, то есть когда она не смотрела в окно, профессор, вовсе и не искавший этой чести, удосужился открыть дверь английскому вице-консулу. И оказалось, что это был тот самый вице-консул, с которым профессор имел неприятный разговор по поводу письма. Он тут же вслух констатировал факт, что они уже встречались. Вице-консул промолчал. Узнал ли он профессора? Если нет, его можно и извинить. Он шел к леди, известной своими особенностями всем английским консулам на трех континентах, но которую нельзя было "осадить": она принадлежала к высшему английскому обществу и очень могла "осадить" в ответ. К тому же он получил кое-какие инструкции от консула и предвидел, что на некоторое время его жизненный путь не будет усыпан розами. Естественно, что к профессору он был так холоден, как может быть холоден только английский консульский чиновник в пасмурный и ветреный день февраля.

Его прибытие в дом № 11 сейчас же подняло престиж Кана среди прислуги соседних кварталов. Повара отодвинули кастрюли на плитах и ринулись в кухню, где работал Кан, за информацией. И он, конечно, дал волю своей творческой фантазии.

"Генерал с картами" был встречен Доротеей сердечно и с большой признательностью. Он сообщил о факте величайшей важности: он видел поручика Булата здесь, в Тянцзине, три года тому назад. Да, своими собственными глазами. Да, живым, хотя и сильно похудевшим. Да, здесь, в Тянцзине. Они сообща открыли предприятие — увы! — приведшее их немедленно к банкротству. Они варили русский хлебный квас и продавали его у входа в парк, на другом берегу Хэй-Хо. Обанкротившись, они расстались.

Генерал, географические карты которого составляли всю его собственность — движимую и недвижимую, устроился в Тянцзине: утром от шести до восьми он разносил молоко с русской молочной фермы; в двенадцать он исполнял роль агента одного маленького отеля, встречая пассажирский поезд и зазывая в отель; от двух до трех он давал урок алгебры в школе; от четырех до шести выдавал книги в русской библиотеке; накануне праздников и в праздники он стоял за свечным ящиком в церкви; раз в год, вместе с казачьим хором, он выступал на сцене. Все это кое-как кормило его. Но поручик Булат, переписав для себя рецепт хлебного кваса, ушел пешком в Шанхай. По мнению генерала, поручика следовало искать в Шанхае везде, где есть надпись: "Здесь продается настоящий русский хлебный квас". Жил ли гусарский поручик Булат в полном одиночестве? На этот вопрос генерал не хотел бы отвечать, так как он был и хорошим другом, и джентльменом. Но перед ним стояла леди Доротея, и, не имея опыта с подобным видом военной опасности, генерал растерялся. Он неохотно сообщил, что при поручике была "некая дама", известная кратко под именем Нюры. Она разливала квас в бутылки и помогала зазывать покупателей. Под честным словом генерал подтвердил, что все сказанное — правда и что больше он ничего не знает.

Установить подробности, особенно о "даме Нюре", было уже задачей Милицы. В наглухо запертой комнате она, леди Доротея и карты были заняты этим около часа.

Наконец настал момент отъезда. То, что не упаковалось, было отдано Матери как подарок от леди Доротеи. Она получила шесть термосов, десять фунтов сухого и горького шоколада, большую кастрюлю со спиртовкой и шесть пар огромных меховых перчаток. Мадам Милица отдала свою новую сумку Лиде. Сама же, с прежним мешком и сундуком, оплакивала все же потерю шляпы, вместо которой леди Доротея купила ей шотландский берет. Кан был должным образом выруган за ряд мелких мошенничеств, а затем одарен десятидолларовой ассигнацией.

Отъезд был шумен. Агент из отеля все добивался узнать, сколько мест багажа он должен взять из этого дома и где они, эти вещи, но спросить было не у кого: никто не знал, все суетились. К самой же леди агент не решался подойти, да и невозможно было, так как она с утра была вооружена и прекрасно фехтовала зонтиком.

Собака первая сообразила, что безопаснее удалиться из дома, пока леди Доротея не выедет. Потом миссис Парриш пригласила Диму и Лиду с собой в кинематограф. Далее Анна Петровна увела профессора в парк. Когда дом несколько опустел, положение стало яснее: эти две дамы уезжают, те вещи принадлежат им. Петя — главный носильщик по назначению леди Доротеи — заменял агента из отеля, выгнанного во двор за настойчивые вопросы. Она сама громко командовала теперь, как и при отъезде каравана в 60 человек рано утром на верблюдах, и подымала такое же эхо, как среди пустынь и холмов далекой Монголии.

Наконец прибыл и "человек с головой" в автомобиле английского консульства, тот же прежний, но похудевший вице-консул. Он еще раз не узнал профессора. Правда, все его внимание и сила были сосредоточены на том, чтобы удержать леди Доротею в автомобиле, но она до последней минуты командовала, высовывая голову в шлеме из дверей автомобиля. Мадам Милица долго пыталась взобраться с другой стороны в запертую дверь автомобиля, но и это ускользнуло от внимания вице-консула, и уже сам шофер из жалости открыл дверцу для нее. Наконец обе дамы отъехали с поклонами и криками. Молчал только бедный вице-консул, он выглядел Святым Севастьяном, притиснутый двумя дамами, вещами и почти пронзенный зонтиком.

Автомобиль удалился; уже не слышно было криков, а провожавшие все еще стояли, каждый на том месте, где его видела в последний раз леди Доротея. У всех кружилась голова, и кто мог, опирался о стену или притолоку двери. Мать объявила всеобщий отдых. Уборку отложили до завтра. Вернувшаяся миссис Парриш предложила всем аспирин. Но потребовалось три дня, чтобы успокоились люди, перестали падать вещи и замолкло эхо голосов. Первой оправилась Собака.

Глубже всех этот отъезд переживался мадам Климовой. Уж чего только она не делала, чтобы

"подружиться" с леди Доротеей. Вполне понимая рискованность своего поступка, она сообщила все же, что Климов был при царе министром иностранных дел. Это не произвело никакого впечатления, а выше фантазия Климовой не подымалась. Были у нее и другие заботы, например, что же, в конце концов, надо сделать, чтобы встречные принимали даму за аристократку? Она — Климова — и душилась, и пудрилась, и завивалась, прежде чем выйти из дома, а леди Доротея ходила в каких-то странных монгольских лохмотьях, но если поставить их рядом — Климову и Доротею, — почему-то все догадываются, кто именно леди. И еще загадка: почему и графиня, и леди Доротея, и не аристократка миссис Парриш, как будто сговорившись, исключали Климову из сферы своего внимания.

Но была для нее и положительная сторона в эпизоде приезда Доротеи: теперь Климова была фактически знакома с английской аристократией. Уже она прикидывала в уме, что можно из этого сделать. В голове созревал рассказ о мимолетной — увы! — но прекрасной дружбе с первого взгляда. И Климова вдумчиво составляла список, кого из знакомых посетить в целях распространения рассказа. По привычке она всех повышала в чине: вице-консул стал уже консулом, а леди Доротея — кузиной и тайной любовницей — чьей? Нет, угадайте сами.

16

Ирина вошла в комнату и медленно закрыла дверь за собой. Машинально она сняла шляпу, переоделась в халат, голубой с белыми летящими птицами, переменила обувь, умылась, почистила снятые вещи и спрятала их по местам. Все это она делала странно — и как будто бы очень внимательно, и совершенно рассеянно. Когда все было закончено и больше делать было нечего, она остановилась посреди комнаты, беспокойно глядя по сторонам, ища, чем бы тотчас же заняться, чтобы не думать, не дать себе окончательно углубиться в то главное, что ее мучило. Но ничего такого, чем бы заняться, она не нашла, — и наступил наконец тот момент, которого она боялась и от которого старалась укрыться: она была одна со своими мыслями.

Еще раз она беспомощно огляделась кругом. Ей показалось, что комната была залита горем. Тоска стояла в ней, как дым. Ничего не было видно. Нечем было дышать. Шатаясь, она подошла к окну, стала на колени и положила голову на холодный подоконник.

— У иных есть мать, у других — сестра, родные, друзья. Кто меня поддержит?

Гарри должен был уехать на днях. Конечно, он обещал писать, посылать деньги, выписать ее когда-то и там, как станет возможно, на ней жениться. Верить ему или не верить? Надеяться — или же сразу склонить голову под ударом? Она не имела причин сомневаться в том, что он ее любит. Но тех девушек, которых десятки ходят по улицам, тех тоже любили. По традиции русские девушки начинают всегда только с любви, но как они кончают? С первого дня этой любви на чужбине злая судьба уже ходит около, заглядывая в окна, стоит на пороге. Без родины нет счастья, нет защиты, есть случай, авантюра и гибель. Зачем Гарри будет верен ей? Он уедет, а письма не всегда доходят, даже если их писать. Он приедет на родину, в свою землю, свой город, в отцовский дом, в объятия матери, к улыбкам сестры, к шуткам братьев. К уюту, к смеху, к друзьям и тем девушкам, с которыми рос и учился в школе. Зачем тут Ирина? При чем она? Можно ли винить Гарри? Забыть ту, кого он любил в Китае? Да это так часто случается и повторяется, что, очевидно, за этим кроется какой-то жизненный закон, и Гарри не виноват ни в чем.

Она так его любила, что ей хотелось его заранее оправдать во всем, чтоб сохранить если не его, то воспоминание о нем прекрасным и чистым. Ей было нужно самой, необходимо, как дышать, быть уверенной, что пережитое — не авантюра, а любовь, и воспоминание хранить незапятнанным, что бы ни случилось.

И вдруг она почувствовала страстное желание молиться. Оно являлось ей давно и издалека. Во все эти хмурые февральские дни с тусклым солнцем, с низким небом, с нищими, дрожащими на углах, с голодом, холодом, тревогой — в ней подымалось и все росло это желание. Вдруг хотелось закричать и позвать на помощь Бога, скрытого в видимом мире, и так глубоко, что она не могла ни найти, ни различить Его присутствия в хаосе человеческих страданий. И сейчас это страстное желание молиться вызвало в ней большое духовное напряжение: она вся подобралась и затихла, вся — внимание и молчание. Она как бы опустошалась от всего ненужного, неважного, мелкого, как будто сознание очищало ей дорогу и поле зрения. Она, склонившись, как бы глядела теперь в глубокий колодец, старалась там, в глубине, на дне, увидеть свой истинный образ. И она уже начинала себя различать, хотя еще не вполне ясно, потому что еще волновалась вода, и по ней еще колебались и расходились круги. Вдруг чистый лик надежды блеснул оттуда. Что-то близкое к счастью уже вставало в ее сердце, но она усомнилась: "В этот безрадостный день какое может случиться со мной чудо? — И тут она испугалась: — Это — сомнение. Не надо его слушать".

Неясно, но чувствовалось, что ей что-то уже обещано, но оно еще не здесь, не с нею, и надо молиться.

— Господи, — сказала она вслух, — я — Твоя грешница. У меня нет никого, кроме Тебя, и Тебя я прошу о помощи.

— Декламация в пустое пространство! — сказал другой голос уже внутри ее. И это был тоже ее голос, но иронический голос ее сомнения.

— Не буду слушать, — шептала Ирина. И продолжала молиться.

— Не жалей меня, Господи, больше меры. Если надо страдать, я готова. Только не покидай меня в страдании. Не оставляй меня одну, пусть я знаю, что Ты близко, пусть я вижу, где Твоя воля, пусть я чувствую Твою ведущую руку.

Но другой голос тоже говорил. Он спрашивал:

— К чему это? Чего ты хочешь? Что может случиться, какое чудо? Он уезжает. Ты остаешься. Ну и прими это мужественно, без истерики. Брось эту комедию — молиться, да еще вслух. Смешно.

Этот саркастический голос был и ее, и не ее. Она боялась ему уступить и встать с колен, перестать молиться. Она знала, что одна минута сомнения была ей чем-то очень опасной.

— Господи! — крикнула она вслух. — Не молчи! Посмотри на меня! Протяни руку. Вспомни Твои же слова. Где Ты?

И, вне себя от страдания, отчаяния, слез, она громко вскрикивала:

— Помоги мне! Помоги мне! Помоги мне!

В эту минуту Гарри бежал вверх по лестнице к Ирине. Его лицо выражало сильное волнение. Когда он услышал крик Ирины, он не понял ее русских слов, но по голосу понял, что она в страхе, что с ней происходит несчастье. Он в ужасе ринулся вперед и рванул дверь. Она широко распахнулась.

С искаженным от ужаса лицом он стоял на пороге. Ирина, увидя его, шатаясь, встала с колен — и ее лицо было тоже искажено волнением и страхом. Она подошла к нему ближе и смотрела ему прямо в глаза, удивляясь. Он не мог быть настоящим, реальным. В этот час он всегда был занят службой. Так они стояли несколько мгновений молча, глядя один на другого и удивляясь необычайности встречи.

Гарри пришел в себя первый. Он вдруг вспомнил, зачем бежал так поспешно к Ирине. Его лицо вспыхнуло радостью.

— Ирина, — сказал он весело, — женимся! Мы подавали прошение в Вашингтон и получили разрешение. Сейчас пришла телеграмма. Вместе поедем домой.

— Что? — спросила она бесцветным, беззвучным голосом. — Что ты сказал? Скажи еще раз.

— Я получил разрешение. Мы можем венчаться когда угодно, хоть сегодня, сейчас.

— Повтори еще раз, — просила она тем же тоном. И вдруг она поняла. Она всплеснула руками, потом хотела протянуть руки к нему — и вдруг со счастливым вздохом упала в обморок к его ногам.

Эта телеграмма из Вашингтона сделалась предметом интереса и рассуждений во всем городе. Наибольший энтузиазм она вызвала в беднейших европейских кварталах, где жили русские: сорок невест там готовились к венцу. Уже устанавливалась очередь в консульстве и в церкви. А как им завидовали! Завидовали уже во всех кварталах города: только бы уехать из Тянцзина — а там дальше будь что будет! — являлось каждому, как лучезарное счастье.

Итак, сорок невест осушили свои слезы и начали спешно готовиться к венцу. Засуетились портные, сапожники, чистильщики и прачки, так как в Китае индивидуальная удача сейчас же принимает массовый характер. Весь этот люд тоже благословлял телеграмму из Вашингтона.

Пансион № 11 закипел в приготовлениях. Все, кто мог держать иглу или утюг, шили и гладили. Платье шили простое, чтоб было практично, на фату недоставало денег. Но обед устраивался обильный; меню составляли Лида и Дима, поэтому мороженого заказано было по две порции на каждого гостя.

Свадьбу назначили на второе марта. Накануне вечером устроили нечто вроде девичника. Так как Ирина была сиротой, Лида пела ей грустные народные песни. Мать знала мотивы, а профессор, перерыв все библиотеки, нашел сборник старинных обрядовых песен, так что были и слова. Все одарили невесту. Но только подарок миссис Парриш имел ценность: это была прекрасная вышитая скатерть. На ней и решили пировать после венчания.

Второго марта, в четыре часа, свадебная процессия на рикшах отправилась из дома №11 в церковь. Впереди катил Дима — шафер, в синем новом костюме, купленном ему миссис Парриш, с цветком в петличке. Он торжественно вез икону. Лида была в своем белом платье, и многие ее принимали за невесту. Остальные пытались принарядиться, но их возможности были скудны.

Гарри ждал в церкви. Три друга-солдата стояли с ним. Были и графиня и Леон. Позднее приехала на автомобиле и миссис Парриш. Анна Петровна настояла на том, чтоб остаться дома и встретить молодых после венца. Ее целью было удержать профессора дома. Он очень хотел ехать в церковь, но она нашлась что сказать:

— А кто встретит их и скажет речь на пороге дома?

Профессор ходил по комнате, обдумывая речь. Вскоре он сбежал весело вниз помогать жене и Кану в столовой.

— Тема речи, — сообщил он, — сравнение с бедной свадьбой в Кане Галилейской. Помнишь, у них не хватило угощения. Уверен, что и у нас не хватит.

Священник, величественный отец Петр, не зная английского языка, все же с помощью словаря Александрова объяснился с Гарри. Документы были в порядке.

После Ирины больше всех волновался Дима. Он впервые видел обряд венчания: золотые короны, кольца, вино в серебряном блюдечке. А вдруг Гарри был король? Почему он скрывал это? Но разговаривать в церкви нельзя, он только таращил глазки и морщил носик. “Так вот как венчают! — думал он. — Понятно, что никто не хочет быть холостым!”

Лида думала: “И я буду так же стоять рядом с Джимом, и нас так же будут венчать. Я надену это же платье, но надо накопить денег на фату”.

Отец Петр, любимый в городе церковный оратор, не потому, что действительно хорошо говорил, а скорее потому, что всегда сердцем подходил вплотную к моменту, после венчания обратился к молодым со “словом”. Прием отца Петра был всегда один: начинал он с великой грусти и, проводя слушателя через гамму печальных мыслей и чувств, заканчивал вдруг самой радостной нотой. Его “слова” действовали на всех как освежающий душ.

— Не здесь бы, на чужой стороне, и не с иностранным солдатом хотел бы я повенчать тебя, последняя дочь угасшей русской благородной семьи, — так начал он. — Не вижу вокруг тебя ни родителей твоих, ни братьев, ни сестер, ни родных, ни друзей детства. Стоишь ты перед алтарем круглая сирота. А отсюда поедешь с мужем-иностранцем в чужие, далекие края и даже говорить забудешь по-русски. Как тебя встретят там? Кто выбежит обнять тебя при встрече? Кто назовет ласковым именем? Возможно, ты встретишь только вражду да насмешку. Не нашлось тебе места на родине! Мачехой тебе стала Россия, и ты — сирота — бежишь от нее к другой мачехе. Это ли счастье?

Русские женщины вокруг Ирины уже все потихоньку плакали. Слезы стояли и в глазах Ирины, и плечи ее дрожали от усилий сдержать эти слезы. Гар-

ри и его друзья недоумевали и, казалось, были даже слегка испуганы этим всеобщим выражением горя.

— Это ли счастье? — еще раз горько спросил отец Петр и вдруг сам себе громогласно ответил: — Да, это и есть счастье! Ты выходишь замуж по любви, по свободному выбору. Это — главное счастье для женщины. Ничего нет в семейной жизни, что могло бы заменить любовь. В городе, где только горе, нужда, страх — ты нашла любовь, мужа, защитника и друга — и он, взяв твою руку, уводит тебя в страну, где нет войны, где на углах улиц не лежат трупы замерзших за ночь людей. У тебя есть теперь и отчизна, и свобода, и паспорт. С любовью — везде дом, везде уют. И поезжай, и живи, и радуйся! Благословляю тебя и мужа твоего на долгую, долгую счастливую жизнь. Будь достойной дочерью твоей новой страны. Служи ей и чти ее, как ты чтила бы родную. И вы, друзья невесты, веселитесь и радуйтесь! Была среди вас сирота — и что сталось с нею? Кто она теперь? Счастливая жена любящего мужа. Привет и от нас всех американцам и спасибо: в эти трудные дни они удочерили нашу сиротку!

"Слово" закончилось. Все чувствовали себя радостно. Гарри не понял ничего, но был очень доволен счастливым видом невесты и гостей. Во время речи, всякий раз, когда отец Петр произносил "Америка", Гарри слегка кланялся, так как чувствовал, что каким-то образом представляет всю свою страну.

Черновы встретили молодых на пороге и осыпали их хмелем. Уже забыв о Кане Галилейской, профессор говорил совсем другое:

— Уступим материалистам фабрики, ружья, машины, их торговлю, их промышленность, их деньги. Нашим пусть будет царство высоких мыслей и красоты. Молодые супруги! Стройте мир, где мужчина — рыцарь, где женщина — фея, где любовь вечна — и жизнь ваша будет сладкой!

При слове "сладкой" Дима вспомнил о двойной порции мороженого. Он крикнул "ура!" и кинулся в столовую. Его "ура" было подхвачено всеми, и это явилось прекрасным заключением речи профессора.

17

— Аня, — с упреком сказал профессор, останавливаясь позади ее стула и через ее плечо глядя на письмо, которое она для него переписывала, — я положительно не понимаю, что с тобой. Где же твой прекрасный почерк? Почему ты стала вдруг так скверно писать?

— Я становлюсь старой, — тихо ответила Анна Петровна, — и руки дрожат от слабости.

— Глупости. Кому ты это говоришь? Я живу с тобою почти полстолетия и не вижу в тебе никакой перемены. Тут должна быть другая причина. Не такая ты старая, чтобы так скверно писать. В чем дело?

— Право, ни в чем, кроме того, что я сказала.

Иначе она и не могла ответить. Возможно ли было сказать, что его письма были всему причиной. Они пугали ее, и из глаз ее текли слезы, и руки начинали дрожать. Она переписывала еще раз это письмо к "брату Каину" от Авеля, еще живого, простирающего руки к жестокому брату с мольбой о примирении. Было ли, могло ли быть подобное письмо делом рук и мысли здорового человека? Не являлось ли оно продуктом больного воображения, невозвратно потрясенного ума и сердца? Могла ли она ему сказать, что уже не отправляет его писем, но втайне там же, на почте, разрывает их на кусочки. И, придя домой, она находит его углубленным в расчеты, когда — при настоящей почтовой разрухе — можно ожидать скорейшего ответа на отправленное ею письмо, и затем отмечающим в календаре: ответ из Вашингтона, ответ из Мадрида, ответ из Рима.

В это утро Анна Петровна решилась наконец сделать то, о чем она долго думала, что откладывала, на что никак не могла отважиться: откровенно поговорить с доктором. Этот шаг казался ей почти преступлением, как будто она выдавала профессора врагу. Но идти было нужно. И она в уме "собирала весь материал", по выражению мужа, "для выяснения своей идеи": его подозрения, страхи, припадки беспричинного гнева, которые повторялись все чаще, странные речи, нелогичные поступки, внезапная веселость и все растущая рассеянность и забывчивость. Он как бы летел куда-то, и летел все быстрее, и не мог остановиться; пространство между ними все увеличивалось, они часто не понимали один другого. Если она здорова — он болел. Или наоборот. Анна Петровна знала, что он не станет добровольно лечиться. Ей приходилось действовать по секрету: идти к доктору самой и просить совета. Конечно, не могло быть лучшего доктора в данном случае, чем доктор Айзик.

Он принял ее немедленно и выслушал ее рассказ очень внимательно.

— Понимаю, — сказал доктор. — Я приду к вам сегодня вечером как гость. Приведите мужа в столовую немедленно, как я приду. Когда мы с ним разговоримся, оставьте нас наедине. Остальное предоставьте мне. Завтра утром придите сюда, и я сообщу вам мое мнение.

— Доктор, — начала Анна Петровна сконфуженно и смиренно, — я не знаю, когда и как мы сумеем вам заплатить. Возможно, что никогда не заплатим.

— Последнее будет самое лучшее, — ответил доктор. — Я себя чувствую должником профессора. Я читал его труды по геологии. Зная, как бескорыстно трудится ученый, я считаю, что общество — его должник.

Вернувшись от доктора, Анна Петровна сообщила Матери, что вечером придет доктор Айзик, и хорошо бы этому придать вид посещения гостя.

— Как это кстати, — ответила Мать, — сегодня последний вечер, что Ирина проводит с нами. Завтра она уезжает. Осталось и кое-что к чаю от свадьбы. Мы также сварим шоколад леди Доротеи. Выйдет званый вечер. Профессор ни о чем не догадается.

С большим волнением и беспокойством ожидала Анна Петровна вечера.

Вечер начался хорошо. Профессор был душою собрания: многоречив, галантен, весел. Особое внимание он уделял именно доктору, придерживаясь интересов его профессии.

— Вы не думаете, доктор, что мир идет к безумию? Понаблюдайте хотя бы этот город. Чья это земля? Китайцев. Кто управляет ею? Японцы. Кому принадлежит кусок земли, на котором мы сейчас сидим? Англии. Кто я? Русский, от которого отказалась и советская и эмигрантская Россия. Что я сделал преступного? Ничего. Чей я? Ничей. У меня нет на земле хозяина. И все же все вышеупомянутые страны гонят и преследуют меня, словно я поступил в исключительную собственность каждой. Более того, каждая из них издает законы, противоречащие один другому, но я каким-то образом должен все сразу их исполнять. Если я и захотел бы стать лояльным, в каком порядке я должен начать исполнять эти противоречивые законы? Кому первому поклониться? Вы знаете это, доктор?

— Не знаю.

— Пойдем далее. Не исполняя законов, я тем самым делаюсь преступником. Подумайте — перед несколькими мировыми державами! Просто сидя здесь и распивая чай, я оскорбляю и нарушаю права и законы трех держав: Японии, Китая и России. Если я появлюсь в России — меня посадят в советскую тюрьму; если я переступлю границу концессии — меня посадят в японскую тюрьму. Мои несколько шагов по твердой земле поднимают против меня целые государства. Но я сижу здесь, и даже этот факт каким-то таинственным образом оскорбляет Японию и несносен кое-кому из русских эмигрантов. Я еще жив только потому, что эта британская концессия защищает всех своих резидентов от внешних преследований, точнее, она защищает не ч е л о в е к а, а свои суверенные права. Не из человеколюбия или жалости она дает мне свое покровительство, не потому, что я — стар или я — ученый, труды которого по геологии Англия имеет во всех университетских библиотеках, — нет, они защищают меня потому, что мне случилось нанять здесь комнату, на земле их концессии. Будь я темная личность, грубый и вредный человек, они поступали бы со мной точно так же. Они меня защищают на том же основании, как мы все защищали бы эту нашу собаку, потому что она живет в нашем доме. Кто же делает жизнь такой нестерпимой для среднего человека? Правительства? Но не является ли их задачей, для которой они, собственно, и придуманы, облегчать, именно облегчать жизнь и именно среднего человека. И еще: почему они все действуют по отношению ко мне одинаково, если они существуют на разных базисах и руководствуются противоположными доктринами? Вам не кажется, доктор, что правительства уже сошли с ума?

— На это трудно ответить.

— Продолжаю. Если какое-либо правительство — с очевидностью для всех — сошло с ума, почему его коллективно не запереть бы в дом умалишенных, как это делают со средним человеком. Это ваше дело, доктора психопатологии! Что говорит ваша наука? Какой ваш критерий, чтобы или отпустить человека гулять по свету, или запереть его на замок? Как вы узнаете, к т о из сидящих перед вами уже опасен для общества? Как вы, доктор, знаете, что вы сами в этот момент вполне нормальны и имеете право произносить суждение о другом?

Доктор ничего не ответил на это.

— Перейдем к вам лично, дорогой доктор. Я преклоняюсь пред вами, — и профессор ему действительно поклонился, — слыхал о ваших талантах, о замечательных хирургических операциях, о вашей доброте и любви к человечеству. И что же? Человек, скажем, Сталин, вздумает преследовать вас почему-то, и вы, человек вообще большого мужества, бежите к другому хозяину, скажем, к Гитлеру. Потом Гитлер вздумал вас преследовать, и вы — с еще большим мужеством — бежите сюда, где всякий японский полицейский, на минутку вообразивший себя Наполеоном или Чингисханом, может безнаказанно убить вас, если пришел такой момент вдохновения и в его револьвере есть пуля. Вы — нормальный человек, он — сумасшедший, но это он убивает вас, а не наоборот. Вы держите его на воле, чтобы он убрал вас с земли. И все же вы считаете, что ч е с т н о служите и науке и человечеству. Считаете?

— Мм... — произнес наконец доктор.

— Допустим, вы начали догадываться, что местное правительство, войска, полиция и часть населения уже сошли с ума. Что делаете вы? Вы отсылаете жену в совершенно фантастическую страну, где публика бегает в припадке “амок”[1] между обедом и вечерним чаем, чтобы ваша жена поискала там уголок для мирной и спокойной жизни. Если вы позволяете так обращаться с вами — прекрасным, благородным, образованным и добрым человеком, — с вами, а значит, и с частью человечества, подобной вам, — и молчите и будете молчать до смерти, то есть пока вас все-таки убьют, то, скажите же мне, доктор, кто тут сумасшедший — вы или ваши преследователи?

— Если вы так ставите вопрос... — начал было доктор и опять замолчал.

— Ну вот, — уже весело подхватил профессор, — научно вы знаете все о человеческом мозге, а вот не ответили мне ни на один вопрос. Это и есть участь точных наук: т о ч н о они неприложимы к фактам жизни. Ну, поставьте все это на базис здравого смысла, как вы знаете, не оправдываемого научной философией. Что происходит? Вы самоотверженно живете для того, чтоб сохранять гибнущему миру его безумцев. Они же хотят вас уничтожить. Они не понимают, что вы — специалист по нервным и мозговым болезням — нужны им больше, чем хлеб и воздух. Видите, до какой степени они уже помешались? Можно, конечно, молиться, скажем, на Гитлера, но кто же захочет предоставить ему для трепанации свой собственный череп? И хотя Гитлера нетрудно найти, потенциально их много и делается все больше, на Гитлера не учатся по десять лет и не сдают экзамена, — такого же хирурга, как вы, надо ждать лет двадцать, пока он выучится и приобретет опыт. Вы, доктор, вы делаетесь необходимейшим человеком во всяком нынешнем обществе. Но вас гонят те, которых вы уже лечили или еще будете лечить. Доктор, доктор, хорошо ли вы поступаете в отношении здоровой и несчастной части человечества?

Доктор Айзик чувствовал себя неловко.

---

[1] А м о к — беспричинная ярость с готовностью убить.

— Предположим, — сказал он, — мы не станем уделять так много внимания моей особе.

Тут произошло событие, прервавшее разговор.

Зная, как трудно иногда избавиться от присутствия мадам Климовой и зная к тому же, что она не оставила своей мысли "подлечиться" у доктора Айзика от нервов, которые "расшалились" по причине материнского беспокойства об Алле, Анна Петровна и Мать решили скрыть от нее предполагавшийся "званый вечер". Она к тому же уходила на какое-то дамское заседание с чаем и печеньем. Вернувшись и узнав от Кана, что в столовой гости и пьют чай, она заподозрила, что "журфикс" был скрыт от нее и ею "неглижировали". Однако же она решила "появиться невзначай". В таких случаях она входила, шутливо декламируя: "Она идет, легка, как греза". И тут она произнесла эту любимую фразу и весело заключила: "Всем здравия желаю!"

Как только она вошла, миссис Парриш поднялась, чтобы уйти. Теперь всегда так и было: миссис Парриш немедленно покидала ту комнату, куда входила мадам Климова. Это поведение по отношению к себе да еще и от кого? — от бывшей запойной пьяницы — было ударом кинжала в "деликатное" сердце мадам Климовой. Не зная по-английски, она не могла даже пустить вслед подходящей реплики. Пришлось заметить по-русски:

— Англия ретировалась.

Никто ничего не сказал на это, и вдруг мадам Климова страшно рассердилась. Что они тут сидят так весело? Подумаешь тоже, наслаждаются жизнью! И ей захотелось тут же сразу разрушить их уютный вечер, поставить их всех на место, чтоб вспомнили, кто они, что им надо трепетать от уважения и страха, а не так вот рассесться вокруг стола и радоваться чему-то. Подумаешь, миллионеры! Да она одна может всех их уничтожить!

— Где ваш новенький муженек? — сладким голосом спросила она Ирину. — Неужели уже не дорожит вашим обществом? — И, зная, что Ирина, пожалуй, ничего не ответит и будет неловко ей же, Климовой, она вдруг накинулась на Диму: — Ну-ка подвинься! Ты уже большой мальчишка, мог бы учиться манерам. Беги отсюда, тебе, наверное, уже пора ехать в Англию.

Облачко прошло по лицу Димы, носик сморщился. При слове "Англия" слеза блеснула в глазах Матери.

Петя заговорил, чтобы переменить тему:

— Профессор, вы нарисовали нам интересную картину политического положения в мире...

— В мире! — перебила мадам Климова. — Вам всем тут надо бы подумать о положении в Тянцзине, именно о вашем собственном политическом положении. Хотите новость? Скоро Япония возьмет себе все иностранные концессии Тянцзина. Вы понимаете, что это значит для тех, кто бегает в советское консульство сотрудничать? Да и для тех англичанок, перед которыми тут пресмыкаются, которым безнаказанно позволяют оскорблять вдову покойного героя Климова, чье имя и не забылось и не забудется.

— Вы должны извинить миссис Парриш, — мягко начала Мать. — Она не имеет в виду оскорблять кого-либо. Она избегает незнакомого общества по английской манере...

— Манере? — закричала мадам Климова. — Ее надо бы научить и другим манерам. Не беспокойтесь, не долго ждать. Япония поставила Китай на колени, поставит и Англию.

— Позвольте, позвольте, — вскричал профессор. — Зачем же именно ставить всех на колени? Япония обещает братскую любовь и содружество.

И вдруг самообладание покинуло Петю.

— Китай еще встанет с колен и поставит на колени Японию. И поделом ей за ее жестокость!

— Жестокость?! — взвизгнула мадам Климова. Она сузила глаза и смотрела на Петю взглядом пантеры: куда вонзить когти. — Конечно, вам, как битому по физиономии японским офицером в присутствии сотни людей и молча проглотившему пощечину...

Все ахнули. Никто, кроме Матери, не знал о пощечине. Мать поднялась и дрожащим голосом начала:

— Мадам Климова... я прошу вас... пожалуйста...

По ее тону все поняли, что сказанное Климовой было правдой. Петю бил японец.

— Петя, Петя! — закричал Дима. — Они тебя били? Тебе было больно? — И он зарыдал. Мать обняла Диму, стараясь его успокоить. Лида тоже поднялась с места и как-то странно взмахивала руками, как бы отгоняя что-то. Потом она кинулась к Пете, положила голову ему на плечо и заплакала. Анна Петровна в своем углу сжалась в комочек и прижимала руки ко рту, как бы удерживая себя от желания закричать.

Петя поднял голову и смотрел на мадам Климову все более и более темнеющими глазами.

— Вы уже оскорбили всех находящихся в этой комнате. Может быть, вы согласитесь выйти отсюда? Вы все сказали, что намеревались?

— Все? — захлебнулась мадам Климова от ярости. — О нет! Не все. Далеко не все! Я хочу добавить, что сейчас же съеду из дома, полного пороков и государственной измены. Что это вы выпучили глаза на меня? — вдруг накинулась она на Ирину. — Это на вас надо пучить глаза, содержанка американской армии! Хорошо пахнет доллар? Лети в Америку, освобождай место — уже вторая кандидатка на доллар подрастает в доме. Так нет обручального кольца, Лида? А нежная всеобщая мамочка собирает и мальчика в Англию, отдает пьянице, лишь бы избавиться от племянничка. Тут и гадалка, тут и профессор — да такой умный, что ему пора в дом сумасшедших. И еврейский доктор — ничьей страны, но с шестью паспортами в кармане. Ну и публика! Ну и компания! Весело пить чай с тортом? Кто платил за торт? Советский консул? Чья кровь на этом торте?

Вдруг Анна Петровна крикнула:

— Остановитесь! Ужасно вас слушать.

Петя сорвался с места, распахнул дверь и сказал:

— Пошла вон! — Голос его был страшен в своем спокойствии.

Мадам Климова поняла, что дальше оставаться опасно. Она поспешила к двери, прошипев в лицо Пети "ужасное" слово, значения которого она и сама не знала:

— Шизофреник!

И дверь громко хлопнула. Один момент стояла тяжелая тишина. Вдруг, как молния разрезает тучу, раздался звонкий смех Ирины. И все они сделали то, чего именно не прощала мадам Климова, — вместо того чтобы щелкать зубами от страха, они стали смеяться. Ирина и Лида смеялись весело, громко, захлебываясь и задыхаясь, до слез. Басом засмеялся доктор, фальцетом — профессор. Закачалась в углу Анна Петровна, и ее смех звучал и обрывался, как маленький разбитый колокольчик. Мать смеялась беззвучно. Дима визжал, Петя смеялся приступами, как будто кашлял. Кан, как луна, взошел над компанией и, раздвинув рот до ушей, смеялся тонким китайским смехом. Все смеялись до изнеможения.

— Представьте, — воскликнул вдруг профессор, — почти все, что она нам сказала о нас самих, — правда.

— Что? — изумились все.

— Все, что она о нас сказала, — правда, то есть все основано на факте, но в ее интерпретации. Станем выше личных самолюбий и великодушно отдадим должное истине. Эта дама держалась фактов. И то, из чего мы создаем картину нашей жизни, как чего-то полного благородных стремлений и незаслуженных страданий, короче, из чего мы творим нашу поэзию, из этого же материала она создала нечто морально нетерпимое.

Все замолкли и смущенно смотрели друг на друга.

— Друзья мои! — воскликнул профессор. — Не будем бояться слов. Мы — жалкие обломки уже несуществующего общества. Пусть каждый вспомнит, что сказала о нем эта дама, и честно поищет, какая в ее словах есть доля правды.

— Что касается меня, — начал доктор, — я, конечно, и еврей и доктор. Что же касается шести паспортов, то это — неправда, у меня нет ни одного.

Но профессор перебил его:

— Нет, какая женщина! Умеет наблюдать факты, классифицировать их, имеет жар и воображение. Из нее мог бы выйти ученый.

— Знаете, — вмешалась Ирина, — я думаю, на сегодня уже достаточно Климовой. Закончим наш вечер мирно, как мы его начали.

— Аня, Аня, — вдруг в большой тревоге обратился профессор к жене. — Ты слышала, что она обо мне сказала: "Готов для помещения в дом умалишенных". Ты заметила что-нибудь? Разве я помешан? Странно, эта идея никогда не приходила мне в голову — и это плохой признак. Был же у нее какой-то повод так сказать обо мне. Какой-нибудь именно факт. Аня, скажи: я помешан? Ты замечала что-либо странное во мне?

— Ты преувеличиваешь значение ее слов. Она просто бросала каждому в лицо первое попавшееся на язык злое слово.

— Нет, Аня, нет. Не то. Она не говорила наугад. Доктор! — Он обернулся к доктору. — Скажите мне честно, есть ли во мне хотя бы малейшие признаки помешательства? Самые отдаленные, самые малюсенькие?

— О, — отвечал доктор, смеясь, — я не могу вам сказать этого так сразу. Очевидно, вы еще недостаточно сошли с ума, чтоб это было заметно сейчас же, даже и доктору. Но если вас этот вопрос интересует, зайдите ко мне как-нибудь. Исследуем ваш вопрос и дадим вам ответ научно.

— Благодарю вас, — сказал профессор, видимо, очень довольный. — Это будет интересно узнать. Но давайте начнем сейчас, не с научной, а с обывательской точки зрения. Почему я мог показаться сумасшедшим этой даме? Что странно во мне? Моя любовь к человечеству? Жалость к тем, кто страдает? Неужели это кажется странным в наше время? Это нынче неестественно, ненормально? Тот ли факт, что, видя жестокость, я возмущаюсь и готов бороться за справедливость, — это ли есть признак сумасшествия? Или же другой факт: поняв, что человечество идет к гибели, я бросил мою научную карьеру и посвятил жизнь исканию путей к спасению народов от столкновений? То, что я пишу книги против суеверий? Или то, что я призываю имеющих власть облегчить жизнь гибнущих от насилий? Это странно, неестественно, ненормально? Или же то, что я чувствую личную ответственность, не сложил рук и не отошел мирно в сторону при виде происходящего в мире? Или же потому я сумасшедший, что, несмотря на все пережитое, я продолжаю любить жизнь и верить в лучшее будущее для всех? Что же делает меня готовым для дома умалишенных, скажите мне, доктор?

— Здоровый человек имеет определенную умеренность и границу во всем, — осторожно ответил доктор.

— Что ж, — возразил профессор, — вы хотите сказать, что если бы я — с одной стороны — умеренно любил человечество, а с другой — умеренно делал на его страданиях деньги, балансируя одно другим, если бы я проливал над ним слезы и получал за это жалованье, — я был бы нормальным человеком? Почему же вы, дорогой доктор, не поступаете так сами? Почему и вас я вижу тоже бедным и тоже гонимым? Почему и вас не искушает личный покой и комфорт, приобретаемый равнодушием к чужим страданиям? Вы не находите, доктор, что вы и я — доктор и пациент — больны, и оба одной и той же болезнью?

— Петя, — забормотал вдруг засыпающий Дима. — Какое слово сказала тебе мадам Климова, когда уходила? Оно было ужасное, ужасное! Я его очень боюсь.

18

Ранним холодным утром четвертого марта американская армия покинула Тянцзин. Хотя ее так и называли всегда в городе "американская армия", это был всего-навсего один батальон. Но он тратил сто семьдесят пять тысяч китайских долларов в месяц, и это давало работу и хлеб огромному количеству — действительно равному армии — работников с их семьями, на это жили рикши, прачки, парикмахеры, портные, сапожники, прислуга, чернорабочие. Американцы платили всегда вовремя и всегда честно — и все их любили за это. В них не было ни английского высокомерия, ни французского скряжничества, ни итальянской бедности, ни немецкой требовательности. Американцы жили весело и открыто, и около них веселее жилось и всем другим. К тому же они были со всеми приветливы. Работать на американца являлось большой удачей для китайца-бедняка. И вот эти американцы уходили, а с ними и то, на что жили многочисленные китайские семьи. Для многих из них это был конец: угроза безработицы и голодной смерти. Слезы полились во многих лачугах.

Любители уличных зрелищ, китайцы никак не пропустят ни религиозной процессии, ни военного парада. К уходу американской армии готовился весь китайский Тянцзин. День и час были объявлены в газетах. "Армия" должна была покинуть свои бараки в семь утра и маршировать на вокзал железной дороги. С первыми лучами света уже стеной стояли китайцы от бараков до вокзала. Позднее стали подходить и не китайцы. Толпа состояла из лиц разных рас, племен, классов и профессий. Также были и толпы благодарных нищих, кто доселе жил американским подаянием, а теперь совсем не знал, как жить дальше. Так как не ожидалось ничего, кроме зрелища уходящих солдат и, возможно, музыки, толпа пришла бескорыстно, движимая сердцем, не расчетом. Конечно, японцы косо смотрели на эти сердечные отношения, и поэтому присутствие всего китайского населения рано утром в холодный день, ожидавшего только возможности увидеть уходящих и крикнуть им вслед добрые пожелания, было еще более показательным.

День этот был знаменательным и в доме № 11. Все были на ногах с шести часов утра. Во время завтрака Кан торжественно явился с большим блюдом китайского кушанья — его прощальный дар Ирине.

Счастливая Ирина все же горько плакала при прощании с Семьей. Провожали ее с соблюдением всех старинных русских обычаев.

Когда все было готово, все сели и в глубоком спокойном молчании обратили свои мысли к Ирине и ее отъезду. В душе пожелали ей и спокойной дороги, и радостного прибытия, и всех вообще земных благ. Затем Мать, как глава и старшая Семьи, медленно встала, подошла к иконе и начала молиться. За нею встала Ирина, затем все остальные — и все стояли в полной тишине и молились. Затем Мать взяла икону Святителя Николая, покровителя и сирот, и бездомных, и бедных невест, и плавающих и путешествующих, то есть всего, чем была и стала Ирина. Ирина опустилась на колени, а Мать трижды перекрестила ее, благословила и поцеловала, то есть они собственно не целовались, а по старинному обычаю "ликовались". Затем к Ирине стали подходить и все остальные, прощаясь и "ликуясь" с нею.

Собака не была допущена к церемонии и даже в столовую — тоже русский старинный обычай.

Уходя, Ирина вышла первой, за нею — Мать, затем и все остальные. Они предполагали все отправиться на вокзал и быть с Ириной до самой последней минуты, но толпа была так велика, что их остановили на первом же углу улицы, по которой должна была пройти "армия". Полиция проверила документы Ирины, и так как она одна только уезжала, то ее одну и пропустили на вокзал, остальные же остались на месте ожидать армию и крикнуть: "Прощай, Гарри!"

Утро было холодное, но бодрое. Стоять в смешанной толпе белых и желтых было делом необычайным для обитателей британской концессии. Возможно, это именно и придавало настроению толпы что-то веселое и дружественное. За последнее время жители Тянцзина собирались лишь во враждебные толпы.

В восемь часов на том углу, где стояли обитатели дома № 11, послышалась музыка и тяжелый военный шаг. Со своим знаменем прошел батальон — шел молодецки. Солдаты — здоровый народ — были и сыты и веселы. Толпа единодушно кричала им приветствия.

— Гарри! Гарри! — кричал изо всех сил Дима. — Привет тебе и всей твоей армии!

И Гарри их заметил. Петя держал Диму высоко на руках, чтобы лучше было видно. Лида стояла, прижавшись к Матери. Профессор был тут же, он, видимо, говорил. Ясно было, что никто его не слушал, да и не мог бы слышать.

Но "армия" прошла, звуки музыки и приветствий затихли в отдалении, и настроение круто изменилось. И утро затуманилось, и в воздухе похолодало. Кто был плохо одет, расталкивая толпу, побежал домой. Лица приняли теперь обычное для всех настороженное выражение. Потекли грустные мысли: японцев приезжает все больше. Иностранцы выезжают. И китаец с грустью думал о своей грядущей судьбе — или безгласного раба, или бесстрашного воина.

19

— Письма! Мама, письма! — кричала Лида, вбегая в столовую с пачкой писем.

Теперь почтовые порядки уже явно нарушались японцами. Цензура задерживала все письма, идущие по одному какому-либо адресу, и цензор читал их все сразу, коллективно, чтобы иметь более полную картину корреспонденции этого дома. Затем письма доставлялись тоже все сразу, иные месяцы спустя после прибытия их в Тянцзин.

Одно письмо было от Джима. Толстое письмо. Лида начала читать, и для нее перестал существовать остальной мир. Она прыгнула через Великий океан и очутилась в Берклее, в университете, где с Джимом пережила тяжелый экзамен. Потом они пошли смотреть игру в футбол. Выиграла та команда, за которую стоял Джим, и Лида праздновала с ним, сидя рядом в автомобиле. Он правил, и двигались медленно, так как это было парадное победное шествие. И Джим все это время думал о Лиде и любил ее.

Мать просматривала остальные письма. Одно было от мадам Милицы, но с ним надо было ждать до возвращения профессора; он один легко читал загадочные письменные знаки Милицы. Открытка — китайская поздравительная карточка, красная с золотом, — поздравление с Новым годом, на адрес Матери.

Этот праздник, живописный, шумный, со множеством старинных обычаев, можно сказать, потрясает Китай ежегодно. Пирует китаец, обычно очень экономный, прилежный, на редкость трудолюбивый, как муравей. Для многих — это единственный праздник в году. Празднуют его сразу все 450 000 000 китайцев, которым обычай предписывает производить возможно более шума в целях отогнания злых духов. Продолжительность празднования зависит от средств: бедняк празднует от одного до трех дней, богач же — два-три месяца.

И вот Мать держала в руках китайскую красную с золотом поздравительную новогоднюю карточку. Но празднества кончились, да и посылают такие карточки до Нового года, никак не после. В уголку было что-то написано, она сначала приняла это за виньетку рисунка. Нет, это была подпись — и чья же? —

мистера Суна. Штемпель указывал провинцию Юнан, находившуюся вне сферы японской власти. Мать заулыбалась от радости: это мистер Сун давал понять, что он жив и в безопасности.

Другое письмо имело странный адрес, написанный к тому же рукой, очевидно, не привыкшей писать и презиравшей каллиграфию: "Тинзин, улица длинная, номер одинцать. Англичанке". Тут же был адрес и по-английски, написанный детской рукой.

"Странное письмо! — подумала Мать. — Очевидно, для миссис Парриш. Пишет кто-нибудь из торговцев или ремесленников, она заказывала много вещей".

И она с Каном отослала письмо наверх миссис Парриш.

Миссис Парриш была не менее удивлена, увидев письмо. Она вскрыла конверт. Письмо гласило по-английски:

"Подлая кошка: что прячешься от меня? Если, воровка, гоняешься за Васяткой Булатом, скажи прямо. Выходи на бой, а то, может, сговоримся и без драки. Заходи, как будешь опять в Шанхае.

Нюра Гусарова,
Несчастная Русская Женщина".

Миссис Парриш сидела как пораженная горем. Она никогда не слыхала полной истории леди Доротеи, и имя Васятки Булата было совершенно ей незнакомо. Таким образом, она не могла догадаться, что письмо было адресовано другой "англичанке", имевшей отношение к дому № 11. "Нюра Гусарова" — шептала она в ужасе. Никакой образ не вставал за этими словами; "Васятка Булат" — того меньше. "Боже, что это? в о р о в к а! " Но чего же боялась миссис Парриш? В те дни, о которых не хотелось ей вспоминать, она, возможно, встречалась и с Васяткой и с Нюрой, но м о г л а ли она у них что-нибудь украсть? Пожалуй, могла, не понимая, что крадет. Предлагается драка или соглашение — конечно, за деньги — шантаж. Но что украл Васятка, если предполагается, что миссис Парриш "гоняется" за ним? "Как неприятно, Боже, как неприятно!" — думала новая корректная миссис Парриш. Старалась успокоить себя: "Возьму адвоката". Но являлась неприятная мысль: "Придется сказать, что были дни, о которых я не помню... Ах, как неприятно!" Взглянув еще раз на письмо, она вдруг холодно улыбнулась и сразу успокоилась: "Без адвоката обойдется. Обращусь просто к полиции, и их успокоят".

Она все же разорвала письмо на мелкие кусочки и сожгла в пепельнице.

Вечером читали письмо Милицы. Оно, как всегда, было очень длинное, в торжественном тоне и, как всегда, сообщало самые неожиданные новости.

Обе — леди Доротея и она, Милица, — прибыли в Шанхай первым классом и с полным комфортом. Теперь, когда имелись уже верные следы поручика Булата, леди Доротея подъезжала к Шанхаю в состоянии большого возбуждения. Карты указывали, что она близка к цели и ей предстоит знаменательная встреча с королем в большом, но не казенном доме. Приехали в Шанхай вечером и поместились в том же отеле, в тех же трех комнатах, как и прежде. Прекрасный ужин из многих блюд длился час, а потом пили кофе, на этот раз — турецкий, так как отель приобрел специального турка — беженца из Дамаска, чтобы готовить этот кофе, и, надо сказать, попробовав этого кофе, не захочешь другого, и как жаль, что дорогая Бабушка умерла, не попробовав. Пили его до полуночи, потом легли спать, каждая в своей пространной комнате в роскошной постели с несколькими одеялами на человека. Только леди Доротея не могла никак заснуть. Последняя раскладка карт уже настолько была определенной, что мадам Милица просила леди Доротею рассматривать поручика Булата как найденного, а себя самое — как уже обрученную с ним. В шесть утра выпили по чашечке кофе и через час уже были готовы покинуть отель и идти по адресу, данному генералом с картами в самый последний момент, когда тянцзинский поезд уже двинулся, и генерал, подбадриваемый криками леди Доротеи, высунувшейся из окна вагона, все же поезд догнал и адрес вручил.

Итак, они вышли в семь часов утра, но идти пришлось недалеко: у парадного входа, на ступенях, ведущих на улицу, стоял поручик Булат с метлой и усердно подметал крыльцо.

Леди Доротея узнала его тотчас же: узнала скорее сердцем, чем глазами, потому что, повинуясь общему закону, и поручик Булат сильно переменился за последние двадцать пять лет.

Леди Доротея побежала к нему и обвила его руками. Его первым чувством был испуг. Подняв лицо вверх и узнав леди Доротею, он хотел было ей улыбнуться, но вместо этого разразился рыданиями, как дитя. В последний раз он плакал, когда у него была корь, и он, сидя на коленях у матери, оплакивал те дни своей жизни. Возможно, та картина материнского участия вновь встала перед ним: он положил голову на грудь Доротеи и рыдал, и рыдал, держа свою метлу, а она, уже уронив зонтик, сильными руками своими держала его, чтобы он не упал.

Ничто не может удивить шанхайца, поэтому раздирающая сердце сцена свидания после двадцатипятилетней разлуки не только не собрала толпы, но даже и не остановила ни одного прохожего. Судьба избрала мадам Милицу как единственного зрителя этой драмы до самого ее заключения.

Леди Доротея пришла в себя первая. Она вырвала метлу из рук поручика и швырнула ее в вестибюль отеля, в лицо клерку за конторкой, и объявила во всеуслышание всех бывших в отеле, чтоб не рассчитывали больше на труд поручика Булата и чтоб отныне владелец отеля сам мел свои лестницы. Взяв под руку поручика, она провела его в свои комнаты, приказав Милице следовать. Ему был дан утренний кофе с коньяком и предложено высказать все свои пожелания. Леди Доротея обещала все их исполнить. Он желал бифштекс, табаку и еще кофе. Когда он покончил с этим и ему был повторен тот же вопрос, он почти повторил ответ: бифштекс и кофе. Табак у него еще оставался. Но когда и с этим было покончено, начался "великий аргумент". Оправившись от слез, покурив и покушав, поручик Булат почувствовал, что не хочет жениться. Новых аргументов он не припас, не ожидая, очевидно, получить вновь это предложение. Старые же — что он молод и игрок — отпадали сами собой при одном взгляде на поручика. Долгов у него теперь тоже не было, потому что никто ничего не давал ему в долг. К тому же не было и Ивана, чтоб постоять за своего барина: Иван давно лежал под одним из тех холмиков с крестом из камешков в пустыне Монголии,

мимо которых с караваном верблюдов проходила леди Доротея. Итак, силы были не равны. Всего понадобилось два часа убеждений — и поручик сдался. Он поставил одно только условие: здесь же, в Шанхае, жила некая Нюра Гусарова, несчастная русская женщина, так для нее он выговорил от леди Доротеи ежегодную пенсию в 600 шанхайских долларов. Поручику Булату разрешено было удалиться с тем, чтоб он вернулся к обеду в приличном костюме. Ему было дано всего 7 часов и 500 долларов, чтоб покончить с прошлым, принять ванну, побриться, одеться во все новое и прийти уже "новым человеком" и женихом.

Она осталась в состоянии большого возбуждения, и оно не утихало, а как будто бы даже все возрастало. Она налила себе стакан коньяку и выпила его сразу, что совершенно было не в ее характере. Но и коньяк ее не успокоил. Мадам Милица предложила попробовать кофе, но и это не помогло. Вдруг страшная дрожь охватила все тело леди Доротеи. Она не могла стоять на ногах и с помощью Милицы улеглась в постель. Там она лежала, дрожа, и не могла успокоиться. Все время она что-то записывала в свою книжку. Вдруг она бросила книжку в сторону и крикнула, чтобы скорее позвали доктора. Это был ужасный крик. В первый раз в жизни леди Доротея чувствовала себя принужденной подвергнуться испытаниям медициной. Но и на сей раз ей это не удалось: когда пришел доктор, леди Доротея была мертва.

Мадам Милица осталась одна в трех комнатах роскошного отеля. Ее присутствие и полная осведомленность в делах леди Доротеи вызывали подозрения у английских чиновников. Ее объявили под домашним арестом и много допрашивали. Оказалось, что у леди Доротеи была масса родственников в Англии, и они наперерыв посылали телеграммы. Положение Милицы было несколько даже страшным, но честность и правда восторжествовали над всем: отель был оплачен за месяц вперед, родственники по телеграфу согласились, чтобы Милице было выдано следуемое ей жалованье. Ей разрешено дожить месяц в одной комнате отеля. Ничто из бумаг или вещей леди Доротеи не было потеряно. На вещи Милицы со стороны чиновников и родственников не было никаких покушений. Карты позволяют надеяться на новую клиентуру в Шанхае. И привет всей Семье.

Профессор кончил читать при глубоком молчании. Он сложил письмо, вложил его обратно в конверт, снял очки, положил их в футляр — и, посмотрев на всех строгим взглядом, произнес:

— Так погибла последняя дочь Сервантеса. Мир станет несравненно скучней без нее.

20

— Мама, — сказала Лида, — ты заметила, как идет жизнь? Как будто кто-то повторяет ее для нас кругами, и у каждого круга — новый центр. Одну неделю идут к нам письма, письма ото всех, для всех, отовсюду. Другую неделю заботы о паспорте — и все кричат: твой паспорт! Мой паспорт! Наш паспорт! Потом вдруг приезжают неожиданные и незнакомые люди, и все все друг другу рассказывают о себе дни и ночи...

"А если они начинают уезжать, то все уезжают, — горестно думала Мать, — а умирать — так умирают..."

— А я как начал получать подарки, то все и получаю, — воскликнул сияющий Дима. Он сидел за столом в новеньком клетчатом костюме, лицо его лоснилось от умывания, волосы были причесаны на проборчик; на руке у него были часы-браслет, в кармане маленький бумажник с полтинником и платок с его меткой.

Все пили утренний чай. Черновы всегда принимали участие и в завтраке и в обеде Семьи. Давно было брошено считать, кто кому должен и что — чье. Был чай в чайнице, он заваривался; был сахар в сахарнице — то и с сахаром — и все пили чай. Не было чаю, пили шоколад леди Доротеи; если без сахара и молока, то он был горек на вкус — все-таки пили. Бывали дни, что пили только горячую воду — но все вместе.

Лида была оживлена. По ее теории, начинался, и именно сегодня, новый круг каких-то новых событий. Ей бы хотелось, чтобы начался новый круг писем. Но это оказался круг посетителей.

Первыми появились Диаз да Кордова — и всей семьей.

Граф был невысокого роста, темноволосый, молчаливый и очень сдержанный. Казалось, ничто не могло бы заставить этого человека бежать, волноваться или говорить скоро и громко.

Хотя граф говорил по-русски, ко всеобщему изумлению профессор приветствовал его и потом говорил с ним по-испански. Особенно удивлена была Анна Петровна. Давно, давно, так давно, что уже не верилось, что это когда-то было, профессор и она провели несколько месяцев после их свадьбы в Испании. С тех пор она не слыхала, чтобы муж говорил по-испански. Человек с такой памятью! Правда ли, что он болен? Может быть, есть еще надежда? Она решила рассказать этот эпизод доктору Айзику, и поскорее.

Конечно, эти джентльмены говорили не о текущих делах и тревогах. Для людей с широким умственным горизонтом настоящее не имеет исключительного интереса. Драмы Лопе де Вега для них представляли не меньший интерес, чем оккупация Тянцзина японцами. Их ли только это вина? Оба были изгнаны из всех мест, где бы они могли принимать активное участие в политической жизни. Обе их родины, да и другие страны давали им выбор: красный тиран или белый тиран. Эти же два джентльмена были против тирании вообще — и им в политике не находилось места.

Вскоре профессор уже один ораторствовал:

— Обратите внимание на этот знаменательный факт: в настоящее время честный человек — рано или поздно — попадает под преследование и изгоняется из своей страны. Но — заметьте — именно это и подает надежду... Остается только объединиться, и мы будем большой силой, не только численной, но и моральной: "Вольное Общество Честных Людей". Без нас еще больше сгустится картина жестокости и злобы, и юношество, всегда понимающее хотя бы инстинктивно, где свет, побежит к нам и за нами. Когда спохватятся, станут искать людей науки. Когда изгоняли нас, мы унесли университеты с собой, в наших мозгах, оставив им стены их зданий. Друг мой! — И профессор, нагнув-

шись ближе к графу, заговорил страстным шепотом. — Чувствуете ли вы всю простоту, все могущество, силу и великолепие свободной человеческой мысли? Ею создано все! И для нее стоит страдать, и жить, и умереть. Нужен ей паспорт? Виза? Даже и родина? Уважение соседей, жалованье?

В то же время графиня говорила Матери:

— Мы решили жить на британской концессии, так как моя дочь будет учиться в английской школе. Я очень рада, что мы сможем видеться чаще. Я прихожу к вам с чувством, как будто иду домой.

Продолжая "круг посетителей", пришла и "Ама с грешными мыслями".

Мать и Лида были одни в столовой. Они сидели на полу и заканчивали одеяло для Димы, подарок к его отъезду. Ама вошла и, поклонившись, скромненько остановилась у притолоки двери:

— Пришла попрощаться. Покидаю Тянцзин.

— О, Ама! Здравствуйте! Садитесь и расскажите, куда же вы уезжаете.

Ама подняла голову, и глаза ее засветились, как две маленькие электрические лампочки, зажженные изнутри ее головы. Она вынула из кармана своего голубого халата большой белый носовой платок, разложила его на коленях, сложила на нем руки и затем только ответила:

— На небо, — и добавила, чтоб сделать свою мысль яснее: — В рай.

— Куда? — спросили сразу Мать и Лида.

— Не прямо в рай, — поторопилась объяснить Ама, — сначала в провинцию Шанси. Наш монастырь посылает туда помощь: пищу, одежду, лекарства. Буду собирать сирот в приют и госпиталь. Я родилась в провинции Шанси. Меня посылают. Я еду. Для разговора. Нужна им. Дети могут испугаться монашек — они черные, испугают кого угодно. Я еду в этом голубом халате, мать игуменья выдала. Покрой провинции Шанси. Я скажу детям, чтобы не боялись монашек, я с ними живу, и они мне дают рис и халаты. Покажу рис, дам попробовать. Меня научили, как действовать. Я буду первый человек в нашем караване. — И Ама скромно опустила глаза.

— Но при чем же здесь рай? — удивилась Лида. — То, что вам предстоит увидеть в Шанси, скорее будет похоже на ад. Как вы оттуда попадете в рай?

— Буду искать мученичества, — сказала Ама, и голос ее, и глаза, и поза сделались воплощением хитрости, как бы заговорщик сообщил об очень коварной и тонкой интриге. — Есть шансы, что добьюсь... японцы не любят вмешательства. Они хотят, чтоб побольше китайцев умерло и освободило место на нашей земле, чтобы самим сюда переехать. А я — у них на глазах — все хожу, всем помогаю, даю рис... я им немножко говорю неприятное... есть надежда, японец рассердится и убьет. Это и есть мученичество. За это берут прямо в рай. Написано в законе. — И опять свет зажегся, сверкнул и погас в ее узких темных глазах. Она довольно вздохнула и опустила глаза.

— Ама, — спросила Лида, — а вы не боитесь? Разве нельзя отказаться? Пусть возьмут мужчину. Он будет осторожен. А вы найдете другую дорогу...

— Все дороги ведут к смерти, — сказала Ама просто. — Надо рассчитывать не на хорошую жизнь, а на хорошую смерть. Мученичество — самый выгодный вид смерти, но к нему нечасто представляется случай. Умрешь дома — ничего за это не получишь. Бесплатно.

— Ама, — сказала Мать почти сурово, — вы нехорошо говорите об этом. Вы не совсем поняли, чему вас учили. Вы говорите не по-христиански.

Ама сидела несколько мгновений неподвижно с опущенными глазами. Потом вдруг быстро заговорила, и ее голос поразил Мать и Лиду необыкновенной, глубокой, последней человеческой простотой и искренностью, за которыми уже ничто не скрывалось.

— Я устала, — сказала она. — Одно я оставила, в другое я не принята. Чего я хочу — грех, что говорю — глупость. Не знаю, где положить сердце. Чересчур много одиночества для простой неученой женщины. У меня никогда не было друга.

Мать быстро встала и подошла к ней. Она положила руку Аме на плечо и ласково сказала:

— Ама, не надо бы тебе так много суетиться с религией тут, на земле. Над нами — Бог. Он любит всех и всех понимает. Он понимает тебя больше, чем люди. Как ты ни умрешь, Он возьмет тебя в рай, потому что ты этого очень хочешь.

В то же время и Дима занимал посетителя на черном дворе. Это был китайский мальчик, сын прачки, в возрасте приблизительно Диминого. Его отец принес белье миссис Парриш и с Каном пошел сдавать его. Мальчик тоже нес узел, а теперь отдыхал. Отец приказал ему ждать во дворе. Он стоял скромно, неподвижно, с опущенными глазами. Его одежда была стара и грязна. На руках были и мозоли и ссадины — доказательство, что он уже регулярно и тяжко работал.

Дима был научен в Семье встречать одинаковой вежливостью всех, кто входил в дом, независимо от социального положения посетителя. Со времени знакомства с профессором и Дима полюбил разговоры о науке.

— Вы слыхали, — вежливо спросил он мальчика, — что Земля кругла и вращается все время?

Мальчик поднял глаза на уровень Диминых, шмыгнул носом и, улыбнувшись застенчивой, но вместе с тем и хитрой улыбкой, ответил:

— Какая земля? — Он потопал ногой. — Эта?

— Да, — ответил Дима голосом и тоном профессора, — эта. И она кругла и вращается.

Мальчик еще раз топнул ногой, посмотрев на землю. Его лицо расплылось в широчайшую улыбку.

— Понимаю, — сказал он. — Шутка!

Дима стоял, собирая в уме все известные ему китайские слова, чтобы объяснить свою идею и доказать ее реальность. Слов не хватало. Китайский мальчик был тоже хорошо воспитан. На рассказ хозяина надо было вежливо ответить рассказом на ту же тему. Он рылся в своей маленькой памяти и нашел. Лицо его изменилось — ибо он сообщал древнюю мудрость, — оно стало старым и бесстрастным, как лицо буддийского монаха.

— На Луне живут только два существа: старый человек и его белый заяц.

Теперь Димина очередь была взглянуть вверх и, хоть Луны не было видно, все же задержаться там взглядом, прежде чем ответить:

— Это шутка! — Но, будучи учеником профессора, он любил и объяснить и классифицировать

явление. — Суеверие и предрассудок, — сказал он уже по-русски, не найдя китайского слова.

Мальчики стояли теперь молча, глядя друг на друга. Затем Дима ввел новую тему, более простую и насущную для обоих:

— А что у вас сегодня на ужин?

— Я уже кушал сегодня, — ответил с достоинством мальчик.

Дима не совсем его понял. Он спросил:

— Сколько раз в день вы кушаете?

— Один раз, — ответил мальчик. Но увидев, что удивление и жалость к нему вспыхнули в глазах Димы, он добавил с достоинством: — Мы кушаем один раз в день, но к а ж д ы й день.

И он самодовольно улыбнулся своей находчивости: он не "потерял лица" перед чужеземцем.

Последний посетитель пришел поздно ночью.

Тихий осторожный стук в окно разбудил Мать. Испуганная, она проснулась. Кто-то опять бросил горсть песку в окно. В доме зарычала Собака. Мать слышала, как Петя, успокоив Собаку, осторожно пробежал к выходу и открыл дверь. Затем дверь закрылась. Петя вошел и тихонько вызвал Мать в прихожую, чтобы разговором не разбудить Лиду.

— Тетя... — сказал он шепотом, он остановился на миг и еще тише закончил: — Я ухожу.

— Ты уходишь? Так поздно? Куда? Зачем?

— Я совсем ухожу. Человек пришел за мной.

— Что? Что? — Она начала страшно дрожать. Слышно было, как стучали ее зубы.

Он взял ее руки и нежно их поцеловал.

— Мы уже решили это, помните? Мне нельзя здесь оставаться.

Мать сделала невероятное усилие. Она должна была действовать спокойно в эти последние несколько минут.

— Я скоренько соберу тебе узелок: пищу, белье.

— Ничего не надо, Тетя. Я не возьму с собой ничего. Надену пальто — и уйду.

Они стояли друг против друга, стараясь не встретиться взглядом, не выдать своего волнения.

— Вы постойте здесь, Тетя. Я пойду возьму пальто, деньги и попрощаюсь с детьми.

Когда он целовал Диму, тот не слышал и даже не пошевельнулся. Лида же открыла глаза, светло улыбнулась и сказала: "Что такое? Почему ты в пальто, Петя?" — и, не дожидаясь ответа, опять сладко заснула.

Оставалось проститься с Матерью. Она, сжав до боли зубы, благословила его. Потом, положив руки ему на плечи, отступила на шаг:

— Дай посмотреть на тебя, Петя!

Она смотрела на него прямым последним взглядом.

— Больше не увидимся в жизни!

— Тетя, — прошептал Петя, — пока есть жизнь, есть надежда. Не бойтесь за меня. Знаете, сам я ничего не боюсь.

— Бог да хранит тебя! — И она еще раз перекрестила его широким крестом.

— Тетя, — вдруг начал Петя смущенным тоном, — все может случиться. Если б я встретил дядю, что сказать ему от вас и от имени Лиды?

— Ничего. Просто скажи: привет из Китая.

Раздался осторожный стук в дверь.

— Пора, я задерживаю их, — зашептал Петя.

Они вышли на крыльцо. На его теневой стороне стоял одноглазый бродяга. Кто-то другой, большой и широкий, ждал за решеткой калитки.

Ночь была как-то особенно тиха и печальна. Луна сторожила над миром усталым безрадостным глазом. Легкий туман, дыхание спящей земли, поднимался и плыл под луной. Он был темен внизу, у земли, но, поднимаясь, делался редким, светлее и легче. Редея, он поглощал лунный свет и сам превращался в опаловое сияние. Он смягчал очертания зданий, все лишал цвета, стушевывал разницу между землею, деревом, камнем — все сливалось, все делалось только собственной тенью. Ничего, казалось, не имело ни своей глубины, ни веса, все было призрак и тень.

"Этого не может быть, — думала Мать, — это мне снится. Ночь никогда не бывала такой..."

Она посмотрела вокруг.

"Не эти совсем деревья, — думала она. Обернулась, взглянула на дом. Без единого света в окнах он казался каким-то плоским, пустым внутри, давно брошенным, чужим домом. — И дом не тот, — думала Мать, — все это снится".

Мир был — свет, поглощаемый тенью. Тишина. Печаль и безнадежность.

Где-то начали бить часы. Звуки падали глухо, как будто бы их бросал кто-то сверху.

"Полночь", — подумала Мать и опять задрожала.

— Принес деньги? Давай! — сказал бродяга свистящим шепотом.

Петя дал ему деньги. Бродяга зажег спичку, чтобы проверить.

— Правильно. Теперь пошли. Прощайте, мадам! Будьте здоровеньки!

И они ушли.

Они ушли из сада. Хлопнула калитка. Шаги звучали уже по каменной мостовой переулка, звучали странно, трое шли не в ногу.

Из сада — в переулок, из переулка — на широкую улицу — Петя уходил все дальше и дальше — из города, из Китая, из жизни Семьи.

Мать бросилась за ним. Но она знала, что не надо этого делать. Она остановилась у калитки и стояла там, схватив железный болт руками, крепко-крепко. О, эта человеческая бедность, бессилие управлять своею судьбой!

Дверь скрипнула, и Собака вышла из дома. Медленно, тяжелым шагом она сошла с крыльца и стала около Матери, низко повесив голову. Мать не замечала Собаки. Собака чуть поворчала. Мать не слыхала ее. Тогда Собака лизнула ее руку, как бы говоря: "Пойдем домой. Простудишься. Горевать можно и дома".

В эту ночь Мать впервые видела во сне покойную Бабушку.

Бабушка подошла к ее постели — шла она по воздуху — и склонилась над лежащей Таней. Она была одета странно, как в жизни никогда не одевалась. На ней было простое крестьянское платье, какое женщины носили когда-то в ее имении, и голова ее была повязана белоснежным платочком. Кончики были аккуратно расправлены и подвязаны под подбородком. В руке она держала небольшой узелок, завернутый тоже в белоснежный платочек, и, подавая этот узелок Тане, она сказала:

— Не печалься, Таня, не горюй. Вот и вся твоя теперь ноша. И узелок чистенький, небольшой, да и нести недолго.

Потом все потемнело и исчезло. Виднелась дольше всего Бабушкина рука и узелочек, потому что от них исходил свет.

21

Собака предчувствовала горе.

Как бы понимая, что предстоит разлука, все последние дни перед отъездом Димы она была в состоянии большого нервного беспокойства: то вдруг повоет без видимой причины, то заскулит, обняв Димины старые ботинки, то лежит, как мертвая, у его постели и не слышит, если ее окрикнет кто другой, не Дима.

Она начала лаять на каждый упакованный сундук и кидаться на людей, приносивших вещи для миссис Парриш. Дима же уделял Собаке все меньше и меньше внимания. Он покидал больше, чем только Собаку, и когда он думал об отъезде и разлуке, не на ней концентрировались его мысли.

В эти тяжелые для всех дни профессор поддерживал духовное равновесие дома № 11.

Диме он объяснил, что такое сентиментализм, поскольку он презренен и не мужское дело. Познакомил его со специальной литературой: "Робинзон Крузо", "Морской волк", "Остров сокровищ"; ежедневно сообщал ему все новые и все более захватывающие дух сведения о путешествиях и путешественниках. Уже было жаль, что и Марко Поло и Христофор Колумб сделали свое дело. Хотелось и самому скорее уехать, так как профессор туманно намекал, что в мире есть еще неоткрытые земли, ожидающие своих открывателей.

Мать делала героические усилия, чтоб неосторожное слово, слеза или вздох не смутили настроения Димы. Даже за последним ужином вместе они сидели как обычно, оживленные, как всегда, только спать все пошли пораньше.

В последнюю ночь Диму уложили спать в столовой, на Бабушкином диване. Мать разостлала для себя матрас у дивана и всю ночь притворялась, что спит.

Вверху, в своей комнате, сидела всю ночь миссис Парриш, притворяясь, что вяжет.

"Как это случается, — размышляла она, — что один человек проживет долгую жизнь, не сумев привязать к себе никого, а другой там же делается центром всеобщей любви, как магнит, притягивает всех, и все делятся с ним радостью, горем — всей жизнью? Такой была Бабушка и сейчас становится Мать. Почему всем вокруг так естественно называть ее мамой? Даже старый профессор начал называть ее так. Что делает людей любимыми? Их страдания? Нет, я тоже страдала, но это меня ни к чему не привело и ничему не научило. Любовь? Но почему же многие любят и не видят ответной любви от людей, как, скажем, профессор? Подвиг? Но не смеялись ли все над леди Доротеей? — И она пропускала петлю за петлей, невнимательная к своему вязанию. — Доброта? Но можно ли быть добрее Анны Петровны, и все же люди предоставляют ей сидеть спокойно в углу, а Матери не дают ни минуты покоя. Нет, очевидно, нужны и все эти качества вместе, и какая-то счастливая гармония их, чтоб создалась, например, Бабушка. Что же, люди уже рождаются такими, или нужна глубокая работа над собой, чтоб стать таким человеком? — И опять она пропускала петли вязанья. — В одиночестве к старости делается страшно. Но я увожу Диму. Он согревает мне сердце. Когда я с ним, я вижу мир не моими критическими глазами, а его — счастливыми, детскими. Я беру его от Семьи, но любит ли он меня? Не стану ли я для него тенью, упавшей на радостное детство? Свою тетю он называет мамой, а меня ни разу не назвал даже тетей, только "дорогая миссис Парриш", как и все другие. Не больше. Здесь я — чужая или вообще везде? Кто ни войдет в дом, Мать уже наливает чашку чаю и с ней отдает пришедшему часть своего сердца. Почему никто не постучит ко мне и не скажет: "Миссис Парриш, дайте мне чашку чаю!" Что отделяет иных людей от остального человечества и обрекает их на одиночество? С другой стороны, хотела ли бы я сделаться такой, как Бабушка? Нет. Мне чужда эта сердечная открытость, эта доступность для всех. Меня унижала бы жизнь с сердцем, открывающимся, как незапертая дверь, для всех. Нужно ли это вообще? Разве нельзя без этого быть полезным человеком? Я имею свой метод во всем. Зачем именно обнимать и целовать бедняков, чтоб они рыдали у меня на груди, когда можно помочь и не видя их, на расстоянии? Я сделала много для помощи населению в этом городе, спокойно посылая мой чек кому следует. Да, сколько я раздала денег? — Вдруг при слове "деньги" что-то дрогнуло в ней. — Так я даю только деньги. А за деньгами ли я льнула к Бабушке? Деньгами ли она помогала мне? И спасли ли бы меня деньги? — Она отложила вязанье. — За деньги ли и Бабушка нянчилась со мной, как будто бы я была ее больное дитя? Да, помимо видимых связей между людьми — жена, брат, муж, сын — есть еще другие, не обусловленные родством, связи жалости, сострадания, любви, и они самые сильные на свете, именно они и соединяют людей в семью. Разве нет у меня родственников в Англии? Разве там нет детей? Но я увожу Диму".

Утро, о котором и Мать и Лида боялись думать, наконец наступило. Его нельзя было отложить, и от него невозможно было спрятаться.

День начался оживленно, но вполне спокойно. Утренний чай был невиданной роскоши: и с молоком, и с сахаром, и с хлебом, и с маслом. Даже огромная яичница была подана, и в ней краснели кусочки ветчины. Это было сильное средство, чтоб подбодрить тощих обитателей дома № 11. После завтрака все собирались к пароходу провожать миссис Парриш и Диму. Дома оставался только Кан, да еще Собака. С ними и должен был попрощаться Дима.

Собаку заперли в подвале. Дима запирал ее там изредка и прежде, и это всегда проходило легко и просто, но сегодня Мать просила профессора сопровождать Диму и присутствовать при прощании. Она боялась оставлять Диму одного с его мыслями.

— Пока! — сказал Дима летучее словцо и помахал Собаке рукою. — Из Англии получишь новый ошейник. Будь здорова и не смей стариться. Еще увидимся. Сам приеду за тобой!

— Дима, — перебил профессор сцену прощания, — а ты не забудешь карту? Как будто я ее видел в столовой.

И Дима побежал за картой.

Но пришел момент, когда все уже стояли на набережной. Не давая опомниться мальчику, профессор еще раз повторял, показывая на карте, как Дима поедет: сначала на маленьком пароходе до Шанхая. Там остановка и пересадка на большой океанский пароход до Марселя. Затем... Раздался гудок, сигнал пассажирам всходить на пароход. Миссис Парриш давно попрощалась и ждала Диму на палубе. И только услышав сигнал к прощанию, — только тут, в этот последний момент, ребенок понял, что происходит. Он страшно побледнел, глазки его широко раскрылись и на миг потеряли всякое выражение.

— Ну, иди, Дима! Беги! — И Мать и Лида тихонько подталкивали его к мосткам: — Беги, мальчик! Беги!

— До свидания, молодой путешественник! — кричал профессор и махал шляпой. — Пиши чаще!

— Не хочу! Не хочу! Не хочу! — вдруг пронзительно и страшно закричал Дима. — Не пускайте меня! Не пускайте меня отсюда!

Они все окружили его тесным кольцом. У всех в глазах были слезы, и голоса всех дрожали от боли:

— О Дима, посмотри же, какой интересный пароход. Там над дверью твоей каюты написано твое имя! Ты не хочешь посмотреть? Ты поплывешь в океан и увидишь живую акулу! Капитан сказал, что хочет с тобой познакомиться...

И все почему-то боялись произнести имя миссис Парриш и то, что не капитан, а она ждала Диму на палубе.

— Нет! Нет! Нет! — кричал Дима, и лицо его исказилось от отчаяния. Слезы катились ручьем. Он упирался, чтоб не идти. Он ухватился ручонками за перила мостков и, упершись ножками, конвульсивно натужился. Он сжимал ручки сильней и сильней, весь посинев от напряжения. Казалось ужасным бороться с ребенком, отрывать его пальчики от перильцев и силой тащить на пароход.

Они толпились около, толкались, уговаривали, плакали, но он продолжал страшно кричать.

Тогда Мать, оттолкнув всех, обняла его нежно-нежно. Она имела силу, улыбаясь, сказать полушутливо и полустрого:

— Ай да Дима! Вот уж не ожидала я этого! Мадам Милица уехала спокойно. Петя уехал спокойно. А разве ты не мужчина?

Потом, когда он стал успокаиваться и напряжение стало ослабевать под звуки этого родного и милого голоса, она поцеловала его и сказала тихо:

— Ты ведь ненадолго. Заработаешь денег и вернешься. — И потом уже шептала ему на ушко: — Дима, что ж ты, будто девочка! Разве больше нет у нас мужчин в Семье?

Дима выпустил перила и стоял перед нею, а она продолжала:

— Пароход ждет тебя одного. Смотри, не опоздать бы в Шанхай. Капитан, видимо, волнуется.

Дима обернулся и посмотрел на палубу. Там стояла миссис Парриш и звала его. Потом он обернулся назад и одним взглядом охватил группу его провожавших. Он обнял Мать еще раз и сказал ей тихо:

— Смотри, как я сам пойду! Никто за меня не бойтесь. Я знаю, что я — русский.

И решительным шагом он пошел по мосткам на палубу.

Мостки убрали. Пароход загудел, задрожал и тронулся. Расстояние между набережной и пароходом, сначала тонкое, как ниточка, все расширялось и расширялось.

Дима сделал последний рыцарский жест: он вынул носовой платок и махал им. Миссис Парриш подошла к нему близко и положила руку ему на плечо: Дима поступил в ее владение...

22

Дом № 11 опустел. Ушла суета, жизнерадостность, затихли сборы — уже никто никуда не ехал и не спешил. Тут и там вдруг слышались тяжелые шаги мрачной Собаки. Она бродила, разыскивая оставшиеся Димины вещи.

Мать, как прежде Бабушка, ходила в церковь почти ежедневно. Там она отдыхала и физически и духовно. Там она забывала о нужде, о своих тревогах. Она успокаивалась. Для себя ей ничего не было нужно. Что касается Семьи, их она оставляла на Божью волю: судьба их определилась, и ей оставалось только молиться о них. Сама же она была готова и жить дольше, и умереть сейчас же, во всякое время, по первому зову. Долгие годы душевных и телесных испытаний принесли свой плод: душа ее была свободна от тела, его лишений, томлений, недомоганий. Она могла жить почти без пищи, почти без сна — и все же двигаться и работать. Ее личные потребности сошли до минимума, но все же она чувствовала себя здоровой.

Душевная ясность стала обычным ее настроением. Мелочи жизни, уколы то самолюбию, то гордости для нее уже не существовали. Она жила, как бы плывя вниз по водам большой и спокойной реки в тихий солнечный день.

Ей стало легче с людьми. Никто ее не раздражал, ничьи слова не могли ее рассердить или обидеть. Всех было жаль теплой и ровной жалостью. Она говорила с кули на базаре, с нищими на углах, с японским солдатом, с ребенком, со стариком — и все ее понимали.

— Мама, — сказала Лида однажды, — ты делаешься очень похожей на Бабушку.

Больше всего она молилась теперь о Пете. Она молилась без горечи, без кипения в сердце прежней печали, но с тихой надеждой и покорностью Божьей воле.

Однажды ночью она проснулась: как будто кто-то тронул ее за плечо. Петя стоял перед ней.

— Петя! — воскликнула она и быстро поднялась. — Ты вернулся! Ты дома! Ты с нами! Это — не сон: я прикасаюсь, я трогаю тебя. Вот твои плечи, вот твои руки...

— Нет, Тетя, это сон, — сказал Петя тихо и ласково.

— Нет, Петя, не сон! Почему же я вижу тебя так ясно, так ясно...

— Потому что сейчас я думаю о вас всех, — прошептал он.

И Мать проснулась.

Все было темно и спокойно в комнате. Не горела лампадка перед иконой — не было денег на масло. Слышалось ровное дыхание Лиды, спавшей на полу на матрасе.

Мать встала, накинула пальто и вышла из дома. Задумчивая и спокойная ночь встретила ее на по-

роге и обняла ее, приняв в свою тишину, в свой покой. Мать медленно шла в легком тумане свежей весенней ночи. Два дерева благоухали: раскрывались почки их новых свежих листьев. Звезды дрожали вверху, как живые, как бы пытаясь сообщить что-то таинственное и важное. Все было прекрасно в тишине этой ночи, все было выше человеческих скорбей. Где-то высоко над миром чувствовалась точка покоя, от которой — несмотря ни на что — вновь и вновь возвращался на землю покой.

Мать тихо подошла к калитке. Она положила руки на железный болт, как они лежали тогда, в ту, другую ночь. “Здесь стоял Петя, — вспомнила она. — Я смотрела на него отсюда. Потом он пошел... — И она вновь услыхала шаги. Они удалялись по каменной мостовой. — Он скрылся за этим углом, за тем домом”.

Она посмотрела вверх, на небо. Все величие, вся красота пламенеющей вселенной была ответом на ее взгляд. “Где же Полярная звезда? — спросила она себя. — Дома, в России, нас учили ориентироваться в небе от Полярной звезды”. Она нашла ее глазами и любовалась ею. “Ты — та же. Все та же, все там же. Дети в России смотрят на тебя, когда мысленно путешествуют по земле и небу. Будь вечной. Сияй! Сияй!”

Ей казалось, что в России эта звезда сияла выше, чем в Китае.

“Другой небосклон. Она, я помню, сияла прямо над нашим домом. Или это мне казалось? Мне все сияло тогда”. Она стала определять глазами направление, где должен был находиться Дима. На небе были созвездия, неизвестные ей, созвездия не русского уже неба.

“Боже мой! — вдруг подумала мать. — Это в первый раз, что я стою и любуюсь ночным небом в Китае!” Она старалась припомнить — и не могла, чтоб она стояла так спокойно ночью и любовалась звездами. Помнила только, как это было в юности, еще в России. “Потом все было некогда, все я или горевала, или уставала, или забывала. У человека нет времени для самого прекрасного зрелища во вселенной”.

Раздались тяжелые шаги, и Собака подошла к ней и остановилась у ног. Собака, полная своих дум и своей тоски, смотрела неподвижно в землю. Они стояли так долго, до самой зари.

А в этот самый час Петя стоял на холме со взглядом, обращенным к России. В ночной темноте он перешел границу. Он был в России. Первые лучи утренней зари освещали перед ним окрестность. Вдали виднелась деревня. В большом волнении с бьющимся сердцем он смотрел на деревню, на лес вдали, на речку внизу под холмом, на тропинку от речки к строениям... Все было тихо, все еще спали. Какою свежестью был омыт мир! Легкий утренний ветерок развевал волосы Пети, играл с его порванной рубашкой, подталкивал его вперед.

Где-то пропел петушок. Из одной трубы вдруг поднялся тонкий дымок.

Петя вздохнул глубоко:

— Россия, моя первая, единственная и вечная любовь!

Он перекрестился и быстро пошел вниз с холма.

23

Жизненные силы, очевидно, покидали профессора. Он угасал и физически и духовно. Острое болезненное беспокойство стало его обычным настроением. Оно уступало место только или тяжелой нервной подавленности, или припадкам, казалось бы, беспричинного гнева. Иногда, в разгаре такого припадка, он вдруг останавливался, замирал и стоял неподвижно, как бы вслушиваясь во что-то внутри себя. Потом оглядывался в удивлении — и вдруг совершенно успокаивался. Присутствие Анны Петровны теперь часто только раздражало его, но присутствие Матери всегда казалось благотворным. Он худел и совершенно потерял аппетит. Его мучила бессонница, ухудшалось зрение. Он выглядел растерянным, взъерошенным и жалким.

Однажды пасмурным вечером он брел вдоль Asahi Road. В состоянии духовного рассеяния и глубокой тоски он не разбирал дороги и шел все прямо. Не заметив, что он уже на японской концессии, профессор продолжал идти, повесив голову и глядя в землю. Вдруг он пришел в себя: какой-то странный шум проносился над его головою. Он посмотрел вверх. Огромная туча черных птиц — воронов — пролетела над ним и опускалась на ближайшее многоэтажное здание. Оно мигом покрылось как бы живым черным покрывалом. Движущиеся крылья птиц волновали воздух и разливали в нем странный, неприятный запах. Все вокруг трепетало в движении. Громкие злые крики хищных голосов сливались в хор и поглощали все остальные звуки. Иные птицы бились между собой, злобно клюя друг друга. Вниз падали черные перья. Крылья хлопали по воздуху. Это было страшное темное зрелище какой-то примитивной злобы.

Вороны эти были одним из таинственных явлений Тянцзина. Каждый день на заре они пролетали над городом в неизвестном никому направлении. Утром они летели молча, десятками тысяч, образуя совершенно черные тучи. Они возвращались после полудня к вечеру, опять пролетая над городом. И солдат на посту, увидя тучу, бывало, скажет: “Пять часов”. И это всегда было точно.

Где они жили? Никто не знал. Наверное, где-то не очень далеко, в развалинах храмов, в пещерах древних холмов. Почему они собрались к Тянцзину? Почему их было так много? Куда они летали ежедневно? Об этом никто не говорил. Птиц слеталось так много, потому что теперь были для них обильные годы, годы войны. Они летали кормиться на поля недавних сражений.

Иногда вечером, на возвратном пути, вороны делали в городе остановку для отдыха. Они тучей опускались на два-три смежные здания, покрывая их совершенно. Через несколько минут они улетали.

Профессор не слыхал о них раньше. И видел он их в первый раз. Он был поражен, совершенно потрясен зрелищем. Иные птицы, запоздав, опускались низко, задевая его своими жесткими крыльями. Иные как будто пронзали его злым темным глазом: он мешал, он стоял на пути. Вороны кричали, виясь около него.

Когда они поднялись и черным облаком умчались ввысь и вдаль, профессор все еще стоял на месте, в изумлении глядя на большой дом, японский муниципальный совет.

— Ваш пасс? — крикнул ему по-английски хриплый тяжелый голос.

Японский патруль делал обход. Иностранцы должны были иметь пасс, то есть разрешение на право ходить по этим улицам. У профессора, конечно, его не было. Он не слышал и вопроса. Он стоял неподвижно, углубленный в свои размышления.

— Ваш пасс? — крикнул японский офицер еще грубее и громче, и его желтая рука дернула профессора за пальто.

Профессор медленно повернул голову. Печальным взглядом осмотрел он офицера, двух солдат, с винтовками стоявших за ним, и спросил мягко:

— Братья, что вам нужно от меня?

— Кто вы? Какой национальности? — начал допрашивать офицер.

— Я — из страны Утопия, — сказал профессор после недолгого молчания. — Я только что оттуда.

— Имя страны? — настаивал офицер.

— Утопия ей имя, — сказал профессор так же спокойно и тихо.

Очевидно, японский офицер не слыхал об Утопии. На момент он заколебался, потом спросил:

— Где эта страна? Какая она?

— Это одинокий и маленький остров, — сказал профессор. — Мы — самая малочисленная нация в мире. Наше население все убывает.

— Чем замечательна страна? — спрашивал японец. — Что производится там? Какой товар? Мануфактура? Оружие? С кем торговля?

— Друг, — сказал профессор мягко, — у нас нет фабрик, мы не покупаем оружия. Мы ни с кем не торгуем. Мы бедны и не ищем богатства.

— Но что вы там делаете дома?

— Там мы все — философы или поэты, — сказал профессор, и его голос дрогнул.

Легкое движение прошло по лицу японского офицера. Оно началось где-то около глаз и прошло через все лицо, как будто он с усилием проглотил что-то горькое. В глазах его на мгновение сверкнула и затуманилась тоска. Он еще раз взглянул на профессора, но не спросил больше ничего. Дав знак своим солдатам, он зашагал с ними мимо и дальше по улице.

Профессор оглянулся вокруг: больше не было с ним ни воронов, ни солдат. Он был один. Вздрогнув от какой-то своей мысли, он побрел домой.

На звонок Лида открыла ему дверь. Случайно бросив взгляд через его плечо, она вдруг всплеснула руками и вскрикнула:

— Боже, какой свет! Какая красота!

Профессор обернулся, но не увидел нигде света.

— Лида, о чем вы говорите? — спросил он почти испуганно. — Где вы видите свет?

— Там — смотрите! Какой закат! Какое сияние!

— Где?

— Да вон там! Видите эту пламенеющую полосу неба, и от нее лучи!

Профессор смотрел, куда она показывала, но не видел там ни сияния, ни света. То, что он видел, были темное низкое небо и свинцово-фиолетовая туча, тяжело опускающаяся на горизонт.

— Как пламенеет! — шептала Лида.

Профессор понял. Уж если он не видел света и сияния там, где другие его видели, это был его конец. Важен не факт — был ли действительно там свет. Важно то, что он пытался увидеть его глазами Лиды, глазами молодости и идеализма, — и не мог. Но он не был из тех, кто разбивает чужие иллюзии. Он ответил Лиде:

— Да, это было прекрасно.

В своей комнате он отдался своим новым мыслям. Он покинул Утопию, а кто покидает ее, тот покидает ее навсегда. Там оставалась теперь только Лида.

Анна Петровна подошла к нему и осторожно сняла с него пальто и шляпу — он забыл о них. Он сказал ей:

— Глядя на воронов, я понял впервые, какое счастье, что я не был вороном, Аня, я не клевал ничьих трупов. Я не летал на поля сражений, чтобы питаться от них. Аня, мой ангел, какое счастье не быть палачом!

Взволнованная, она пыталась расспросить его. Из всего, что она узнала, ее особенно поразило, что он был на японской концессии. Это значило, что его уже нельзя было отпускать из дома одного.

В ту же ночь он долго сидел и писал.

"МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

После долгих лет жизни я приближаюсь к моему концу. Путь оказался несложным. Пройдя через все виды человеческих отношений, видев так много людей, так много стран, прочитав так много книг, исследовав, обдумав, изучив так много фактов и явлений, быв сыном, отцом, мужем, учеником, учителем, ученым, судьей, узником, путешественником, писателем — имев все это и все потеряв или оставив на работе, я нахожу себя сейчас в первичном состоянии человека (как начал Адам): я и моя жена.

Тебе, Аня, половине моей сегодняшней вселенной, я обращаю это завещание. Смотрю вокруг и не вижу около себя больше никого. Все исчезло, как дым, растаяло, как тень, и только ты, мой кроткий спутник, осталась до конца со мной. Я увидел тебя впервые в твоем отчем доме, в покое и в роскоши. Посреди цветов твоего сада ты мечтала о счастье. Я взял твою руку и обещал тебе счастье. Из твоего мира цветов и музыки, из мира красоты и радости я вел тебя годы через бедность, горе, отчаяние, заботы, болезни, печали — прямо сюда, в пансион № 11. Со мной ты узнала все: слезы, печаль, страх, унижение, лишения, голод и холод — все, Аня, кроме обещанного тебе счастья. Но ты никогда не упрекнула меня ни словом, ни взглядом. С того дня, когда ты протянула мне твою маленькую дрожавшую руку, до сего дня ты была неизменной и той же, полной любви и преданности. С тобой я смог перенести все: человеческую низость, ложь, жестокость, преследования. Где бы я ни был, что б ни случилось со мной, — я знал, что дома ты ждешь меня и встретишь твоей милой и юной улыбкой. Ты держала баланс мира для меня, Аня! Ты одна — против всего зла целого мира — держала его на твоих хрупких плечах. Благодаря тебе одной я не потерял моей веры и любви к человечеству. Пока ты живешь, человечеству можно верить и его можно любить. Я же ничего тебе не дал взамен. И теперь, стоя у поворота моей дороги, куда я пойду один, оставляя тебя, я ищу и вижу, что у меня нет ничего, чтоб завещать тебе.

Сегодня я размышлял, стараясь постигнуть скрытый смысл моего существования. Зачем было нужно, чтоб я жил? Что природа образовывала во мне и чего она ожидала от меня? Неужто я был просто случайной комбинацией атомов, клеточек, тканей, идей, иллюзий, надежд? Неужели этому не было цели и мне не было задания? Был ли я просто механическим продуктом небрежной расточительности слепой природы? Почему же тогда я не жил механически? Зачем я страдал, образовывал себя, переносил испытания? Зачем это было?

Я размышлял — и я нашел. Аня! Я знаю, для чего я жил! Человеческая одухотворенность есть отражение в нем Абсолюта, есть человеческая добродетель. Она — прекрасна, постоянна и неизменна, как Абсолют. Людские пороки меняются, дробятся, зависят от времени, положения и места. Но добродетель одна: любовь к жизни, к человеку и к духовной свободе. Тот был и жил человеком, кто получил ее и пронес через жизнь. Аня, я совершил это! Я чувствую эту любовь и сейчас, она горит во мне и сжигает мое сердце. Войны, преследования, тюрьмы — они бессильны. Они убивают человека, но бессильны разрушить его

добродетель. Ничто не может убить ее во мне. И сегодня я верю во все, во что верил прежде. Я выдержал испытание жизнью. Я оказался сильнее, чем все зло мира. Но кто помог мне? Ты, Аня! Это и есть чудо, доступное только любви.

Тебе не надо задавать о себе вопросов и искать оправданий, как я искал их для себя сегодня. Ты не сбивалась с дороги. Ты жила как бы не отделенной от Абсолюта. Ты его самая чистая часть. Ты выше понимания неловеческим разумом, и для мира тайна, откуда ты берешь силы, как ты стоишь против зла, почему тебя невозможно разрушить. Может ли мир существовать без тебя, Аня? Что с ним станется, если ты из него уйдешь? Твоя кажущаяся слабость скрывает величайшую силу вселенной — ее любовь. И в нашем долголетнем союзе ты была сила, а я был слабость. Ты победила за нас двоих!

Прими, Аня, эти слова, как приняла когда-то мой первый сонет. Мы окончим нашу совместную жизнь, как начали ее: моей песнею любви к тебе".

Он сложил свое завещание и поместил его между страницами книги, которую по рассеянности и сдал в библиотеку на следующий день.

После этого вечера здоровье профессора быстро пошло к упадку. Не получая больше писем уже ниоткуда, он решил привести в исполнение свой последний план: говорить на площадях и улицах, обращаясь к прохожим.

И вот профессор начал скитаться по городу, останавливая встречных горячим призывом установить всеобщий мир и жить в братской любви между собой. Иные из пешеходов замедляли шаг на мгновение, глядя на профессора и думая: "Какая жалость! Дойти до этого, и кому же? — человеку большого образования и замечательного ума!" Они вздыхали и ускоряли шаг, торопясь; каждый шел своим тернистым путем. Кое-кто из европейцев, не знавших профессора прежде, принимали его за агитатора и опасливо сторонились. Иные принимали его за попрошайку, за красноречивого нищего; другие — за пьяного, такие останавливались и читали ему нотацию на тему о том, как стыдно человеку в таком возрасте пить. Но его благородная речь, прекрасные манеры, человеческое достоинство чаще всего заставляли принимать его за того, кем он был в самом деле: ему вежливо уступали дорогу и поспешно уходили прочь. Для китайцев, не понимавших его слов, он сделался предметом насмешек и издевательств.

...В это утро профессор необычайно торопился. Готовый уйти, он строго обратился к жене:

— Не следуй за мной сегодня. Я приказываю тебе остаться дома. Ты мешаешь моей работе. Ты отнимаешь у меня последнюю надежду...

Но она крадучись вышла и следовала за ним.

На Taku Road, длинной и узкой, идущей многие мили через поля и города, движение всегда было сумбурно, даже и ранним утром. Профессор пытался остановить возчиков-кули на самой дороге, указывая им на ненужность и бесплодность всех этих перевозок амуниции и оружия, всех этих мешков, этих ящиков, всего, что предназначено для порабощения одного человека другим. Он пытался им объяснить, что разрешение мировой проблемы не в этом. Он мешал движению. Его толкали и отгоняли все эти люди, спешившие заработать свой горький насущный хлеб какими угодно средствами. Он продвигался вперед, оставляя за собой след — крики и замешательство в движении. Анна Петровна бежала за ним, проскальзывая между телег и под кнутами, стараясь не потерять его из вида и в то же время не быть узнанной им.

Профессор шел прямо, направляясь к границе бывшей германской концессии, где японские солдаты и японская полиция стояли всюду на постах. Колючую проволоку на концессиях давно сняли, и граница обозначалась только широкой белой линией, начерченной краской на асфальте мостовой. Только переступить эту белую полоску — и человек был уже в японских владениях, подвластный японским законам и распоряжениям. За белой линией, прямо перед идущим к ней профессором, стоял на возвышенной круглой платформе японский полицейский на посту. К нему, очевидно, и направлялся профессор.

С ужасом в сердце Анна Петровна сразу поняла положение: нельзя допустить, чтобы профессор переступил через белую линию. Она мигом сообразила и план действий: она забежит вперед и потом обернется; профессор увидит ее из-за спины полицейского. Как обычно, он рассердится и побежит от нее в обратную сторону, то есть на британскую концессию — там он будет опять в безопасности. Но сейчас он шел далеко впереди, и ей обгонять его было трудно. Когда она наконец добежала до места, то услышала, что профессор уже говорит. Он обращался к полицейскому по-французски:

— Брат мой! Что ты здесь делаешь? Почему я вижу тебя вооруженным? Против кого...

Тут он внезапно увидел Анну Петровну, появившуюся вдруг за полицейским.

— Ты! — закричал он в страшном гневе и, круто повернувшись, побежал от нее прямо, не глядя по сторонам. В эту минуту огромный грузовик, давая сигнальные гудки, выезжал из-за угла в улицу. Казалось, профессор бежал его встретить. Он упал и был убит мгновенно.

Задыхаясь, с лицом серым, как пепел, Анна Петровна кинулась к телу. Она бросилась на землю рядом с трупом и говорила ему прерывающимся шепотом:

— Вставай, дорогой! Вставай скорее! Пойдем отсюда! — Она старалась поднять его. Согнувшись перед ним, на коленях, она пыталась поднять его и унести. Они были уже окружены кричащей толпой, раздавались пронзительные полицейские свистки. Но она ничего не замечала. Во всем мире, как всегда, их было только двое.

— Ты пугаешь меня, — шептала она. — Встань. Мне трудно переносить это.

Но он был мертв. Он отошел к своему Абсолюту. Этот мозг, охватывавший мир и все в мире, вытекал из разбитого черепа на грязную мостовую.

На похороны не было денег. Пришлось завернуть микроскоп по имени Анатоль в салфетку и унести его для продажи в иезуитский колледж. В одной руке Мать бережно несла Анатоля, другой, еще бережней, держала руку Анны Петровны и вела ее за собой, послушную, как дитя.

Нужен ли был микроскоп Анатоль колледжу или нет — неизвестно, но они были приняты немедленно, и старый иезуит, тоже ученый геолог, принял их чрезвычайно любезно. Он знал о трудах профессора, читал его книги. Они даже встречались в Тянцзине. Он выразил сочувствие Анне Петровне, бережно взял Анатоля, и тут же был выдан чек на всю сумму.

День похорон был радостен и тепел. Ничто не связывало его с идеей смерти. Гроб профессора несли на кладбище русские, но все какие-то посторонние, чужие люди. Анна Петровна не знала из

них никого, и они ее тоже не знали и за вдову принимали мадам Климову, одетую в черное, в шляпе с вуалью и плакавшую громко. Русское кладбище было на бывшей русской концессии, а там царили теперь японцы. Те из провожавших, кто не имел паспорта, опасались переступить границу британской концессии.

Гроб профессора опустили на землю у белой границы, и беспаспортные тут с ним попрощались. Люди же с паспортом потом опять подняли гроб и пошли с ним дальше, на кладбище.

Речи на могиле профессора не были ничем замечательны. Да и кто сказал бы их хорошо? Главный оратор концессии лежал в гробу.

24

Белокурая головка Лиды низко склонилась над книгой. Это был Пушкин. Он давно был взят из библиотеки, и Лида все бегала продолжить срок. Но были и другие охотники до Пушкина, и его не всегда удавалось получить. Еще покойный профессор посоветовал Лиде: "Выучите Пушкина наизусть, и не надо будет записываться в очередь за книгой". И Лида прилежно учила, пока только стихи, думая обойтись без прозы. В ее возрасте она питалась преимущественно поэзией. Заучивала она сначала в хронологическом порядке, но потом решила, что так она не скоро еще дойдет до лучших стихов лирики любви: "Да я еще состарюсь тем временем!" И она переменила метод: выбирала лучшее, "что говорит сердцу", — и то выучивала наизусть. Дело пошло гладко и быстро. На всякое движение своего молодого сердца она могла теперь ответить цитатой из Пушкина, и как это возвышало и облагораживало чувства! По Пушкину же она и гадала.

Давно не было писем от Джима. Лиде хотелось заглянуть в будущее. Крепко захлопнув книгу и закрыв глаза, она быстро затем раскрыла ее и положила палец наугад на одну из страниц. Ей вышло: "Что день грядущий мне готовит?" Пушкин задавал ей тот же вопрос, что она задавала ему. Что-то случилось и с Пушкиным за последние дни. Он избегал прямого ответа. Его слова были туманны, уклончивы. То он побранит вдруг цензора, и Лида догадывается, что письмо Джима пришло, но задерживается японской цензурой, и неизвестно, когда будет и будет ли; то Пушкин вдруг сообщит, что "грохочут пушки", но и это не прямой ответ на ожидание письма; или вдруг Пушкин начнет описывать, как прекрасна Мария, дочь Кочубея, — и трудно догадываться, о ком, собственно, идет речь, едва ли о Лиде; или вдруг появляются "тридцать рыцарей прекрасных", а Лиде, естественно, нет до них дела. Вопрос Лиды был прост. Точнее, у нее было два насущных вопроса, требовавших немедленного ответа, и третий вопрос, с которым она могла и подождать. Первые два вопроса были: любит ли ее Джим и когда придет письмо. Третий — когда они встретятся и поженятся...

— Последний раз! — строго сказала Лида Пушкину и еще раз раскрыла томик.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет.

Это было уже ближе к делу. И все же... и все же... Везет ли кораблик письмо? Когда он прибудет? Должно быть, письмо он везет, иначе зачем бы и говорить о кораблике вообще. Допустим, везет. Но какое письмо, но о чем оно? Смутно вспомнилось описание красоты Марии, дочери Кочубея, "как тополь"... Лида никогда не видела тополя.

И снова, уже "в самый последний раз", Лида обращалась к Пушкину. Почти с грозным выражением лица она ему сказала:

— Три слова! Я прочту только три слова.

Она не сразу решилась их прочесть. Еще с закрытыми глазами держа палец на странице, она умоляла кого-то: "Пусть это будет хорошо и пусть будет правда!"

Пушкин сжалился на этот раз, и три слова были: "Я вас люблю". Лида ахнула. Дальше, правда, шло "любовью брата", но уговор был только на три слова. Лида нежно поцеловала портрет Пушкина: "Люблю тебя, как Джима, но иначе!"

Мысли ее понеслись "к кораблику". Он "бежит, бежит в волнах" где-то в Великом океане. Как далеко? За последнее время Лида нервничала. Смерть профессора выбила из колеи пансион № 11. Мать даже советовалась с Лидой о том, не пора ли им отказаться от аренды дома, закрыть пансион, а самим поселиться где-либо вдвоем; у нее уже недоставало сил работать. Но Лида боялась: перемена адреса могла повлиять на получение почты. И опять она стала думать "о кораблике" с письмом.

Пушкин не обманул ее.

Далеко в океане действительно плыл пароход с письмом Джима. Пароход держал направление на Китай, и капитан и команда — все были на своем посту. Пароход даже и не опаздывал. В почтовом его отделении путешествовало письмо Джима к Лиде. С виду это было обыкновенное письмо, только потолще, чем другие, и заказное. Но если бы дать власть чувству, которое заключалось в том письме, то пароход не плыл бы, он бы летел — и летел, как птица весной, полный юных сил и радостных надежд.

Но письмо это пока было еще в дороге.

И у Лиды были новости, чтоб сообщить Джиму. Началось так: графиня арендовала пианино, так как и дочь ее и сын учились музыке. Оно скромно стояло в углу их маленькой гостиной. Давно, когда пансион имел жилицу с пианино, Лида около года училась играть. Ее учили и Мать и Бабушка. Она страстно любила музыку. Увидя пианино так близко, она, после небольшого колебания, краснея от своей "дерзости", спросила, можно ли ей поиграть немного. Графиня слушала игру и пение Лиды очень внимательно и вскоре нашла Лиде и учительницу пения.

Как-то раз пришла очень пожилая дама. Графиня села за пианино аккомпанировать и попросила Лиду петь. Лида спела "Песнь моей матери" Дворжака.

Как только она кончила, старая дама подошла, обняла Лиду и сказала:

— Дитя мое, слушая вас, я была счастлива, — и слезы стояли в ее глазах. Она просила Лиду петь еще и еще.

Затем все сидели за кофе, и старая дама, бывшая знаменитая оперная певица, а затем учительница пения в консерватории столиц, сказала о Лиде:

— Пять лет тяжелой работы, чтобы только и жить пением и для пения — и вы будете в опере.

И тут же перешли к практической стороне дела: у Лиды был голос и свободное время; у графини было пианино; учительница, имевшая средства для жизни, предлагала свой труд бесплатно, для "славы искусства вообще и русского в частности". Не в силах Лиды было отказаться, да и Мать также только и могла, что принять с благодарностью эту помощь. Она знала, что после всех потрясений Лиде необходимо было заняться чем-либо серьезно и для душевного равновесия, и для здоровья.

И новая жизнь, жизнь в искусстве, стала понемногу открываться для Лиды, заслоняя многое из забот и мелочей дня, принося забвение, сглаживая тяжелые воспоминания, давая надежду и силы для будущего.

Ее день был прост и чудесен. Два часа практики у графини по утрам; три часа у учительницы — после полудня. Она брала уроки не только пения, но и драматургического искусства вообще. Строго и серьезно ее готовили к опере. После урока, стараясь чем-либо отблагодарить учительницу, Лида выполняла ряд мелких работ и поручений. Вечером дома она читала, и читать приходилось очень много. Учительница сама составляла ей программу на каждый месяц. Она начала изучение итальянского, и Леон проверял ее произношение: она по воскресеньям пела ему по-итальянски. Дома она помогала Матери, и все время они говорили теперь о тех театрах, где бывала Мать в молодости, и об искусстве.

Как много значит искусство и бескорыстная, чистая любовь к нему! Все принимали участие в работе Лиды, и казалось, от этого стали счастливее: и учительница как будто помолодела, и Мать стала веселей и разговорчивей, и в семье графини все оживлялись при появлении Лиды с нотами. Лида словно притягивала к себе всех. Она стала известной и популярной в городе. Приходили приглашать ее петь то в церковь, то в концерт, то помочь организовать детский музыкальный праздник. Лида приобретала любовь и интерес общества. Но эта сторона дела не имела для нее никакого значения. Учительница формировала Лиду по своему образу и подобию: "искусство для искусства".

25

В продолжение долгих лет, что они были женаты, покойный профессор и Анна Петровна никогда не разлучались, за исключением трех раз, когда профессор один, без Анны Петровны, сидел в тюрьме. Но каждый раз это было недолго, две-три недели. Анна Петровна не имела отдельной жизни. Ни наяву, ни во сне она не видела себя живущей отдельно, занятой только собой. Да и чем бы она занялась? У нее не было ни своих отдельных друзей, ни работы, ни интересов, ни планов. Так прошла жизнь. И вот профессор был мертв, и она чувствовала себя тоже умершей. Жизнь не была ей нужна ни за чем. Дрожащей рукой она написала на его кресте:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Профессор любил эти стихи и часто их повторял. Но дело шло о "молодой жизни", как, например, Лидина; это ей предлагалось сиять. Старая жизнь, уже негодная к сиянию, должна была стушеваться и уйти тенью. Это был единственный и обязательный и желанный конец. И все же Анна Петровна была жива. Профессор умер, она же осталась на земле. Была ли это простая инерция жизни? Чем она согревалась, чем поддерживалась? Анна Петровна почти ничего не ела. Она не сопротивлялась болезни, не боролась со своей физической слабостью и все-таки просыпалась каждое утро и видела, что она еще жива. С ней происходило то страшное, что унижает старость человека: жизнь сузилась и превратилась в механический процесс, ослабевающий, правда, но все же длящийся иногда целые годы. Что могло бы еще согреть ее, осветить ее дни? Профессор унес свет с собой.

Теперь она жила в столовой и спала на Бабушкином диване; Мать спала около на полу, на матрасе. Лида — увы — все еще на связанных стульях, привязывая к изголовью кухонную табуретку, на которой помещалась ее подушка.

Пансион № 11 был снова полон, но он утратил свой прежний характер, он сделался такой обузой, что Мать спешила поскорее расстаться с ним. Пансион отражал тревожную жизнь города. Жильцы беспрестанно уезжали и приезжали. Кто-то у кого-то ночевал, приехав в полночь с вокзала. Терялись чьи-то вещи и находились в чужих комнатах. Жильцы хором обвиняли Кана в мошенничестве. Мадам Климова со всеми ссорилась и обещала донести на всех сразу. Платить жильцы почти и не платили, а если и платили, то бестолково, стараясь занять эти деньги обратно. В доме крутился какой-то пестрый калейдоскоп: все спешили, все волновались, никто никого не узнавал. Собака на всех ворчала. Ничто не успевало утрястись, превратиться в рутину. Жильцы не успевали обжиться; как ветер — листья, их что-то мчало и уносило куда-то, против воли, и они беспомощно вились в воздухе, останавливаясь и припадая к земле на минутку, по капризу ветра. Перманентной оставалась Климова. Созерцая пансион № 11, она предлагала "оказать услугу" Матери — "из простой человеческой жалости, истекающей из благородного сердца вдовы героя Климова" — взять пансион на себя, если Мать предварительно уплатит все долги. Большого благородства тут, конечно, не было. Огромной трудностью являлось именно найти пустой дом на английской концессии. С другой стороны, Мать уже никак не справлялась с пансионом. Она начинала бояться, что, если так пойдет дальше, ее смогут посадить в тюрьму за долги.

Кроме этой, была еще проблема Анны Петровны. Куда ей пойти? Но здесь доктор Айзик пришел на помощь. Так как место в доме умалишенных для покойного профессора было втайне давно заготовлено доктором и так как оно было уже не нужно, то, переговорив с коллегами и администрацией, доктор обменял его на место для Анны Петровны в доме для инвалидов и престарелых в одном из монастырей.

Лида и Мать придумывали и волновались, как приготовить Анну Петровну, как сообщить ей это. К их облегчению, она ответила, что ей все равно, где жить, что она теперь совсем не замечает, где

она живет. Со свойственной ей деликатностью она, все еще улыбаясь, просила их не беспокоиться о ней совершенно.

Оставался другой и самый тяжелый вопрос: неуплаченная арендная плата за дом. Спохватились, что что-то очень давно никто не приходил ее требовать, и это было даже страшно — уж не подано ли в суд. Граф предложил сходить в контору и выяснить. Он вернулся с удивительным известием: перед отъездом миссис Парриш уплатила за шесть месяцев ренту за дом, что не только покрывало прошлые долги, но давало Матери еще и теперь две недели, оплаченные вперед. На всякий случай миссис Парриш захватила и квитанцию с собой, а адвоката своего уполномочила наблюдать за выполнением условия.

Как ни велико, как ни чудесно было это извещение о ренте, первой мыслью и Матери и Лиды было: Дима будет счастлив с миссис Парриш, раз она такая чудесная женщина.

Разрешение вопроса с рентой сразу развязало все главные финансовые узлы и выпускало Мать на свободу. В несколько дней они были готовы съехать. Продажа всего имущества оплачивала остальные долги.

Кан был потрясен известием, что Семья отпускает его. По-своему привязанный к ней, он почти заболел от огорчения. Но к моменту разлуки он сообщил и свои только что задуманные, новые планы.

— Ухожу из города. Воевать.

— Что ты, Кан, — удивились и Лида и Мать. — Вот этого мы не ожидали.

— И я не ожидал.

— Почему же ты так решил?

— Сердце болит. Не люблю японцев. Очень плохие люди.

— А ты спросил совета?

— Я спросил одного очень умного старика. Он сказал: иди; пусть японцам будет хуже.

— Но ты должен еще подготовиться, учиться стрелять.

— Нет. Я не буду стрелять. Я буду бегать.

— Как это бегать?

— Мы, деревенские фермеры, будем вместе. Японцы увидят нас — мы убегаем. Они догоняют. Но мы бежим быстро, у нас ничего нет — у них же пушки, и они идут медленно. Мы бежим, где нет хорошей дороги. Надо, чтоб японцы уходили очень далеко. Китай большой, японцев не хватит. Армию они разделят на кучки. Все будут гоняться за нами, а мы будем убегать.

Так Кан объяснил план своей **г е р и л ь и**[1].

— Постой, Кан, — остановила его Мать, — я — не военный человек, но я не думаю, что хорошо так вести войну.

— Я думаю, — сказал Кан. — В Китае так воевать очень хорошо. Так написано в старой китайской книге. Писал очень умный человек.

И, полузакрыв глаза, он нараспев стал декламировать изречение древней китайской мудрости:“Существует 36 достойных путей встретить врага. Лучший из них — убежать от него”. Затем, переменив тон на обычный, Кан добавил:

— Китай не может воевать ружьем и пушками — очень дорого. Лучше пусть японцы тратят деньги. Мы бежим, пусть они уйдут за нами очень далеко. А если мы отнимем у них пушки — то и наши солдаты будут стрелять немного.

— Но они разорят вас. Они все унесут и увезут с собой.

— Ну, не все. Земля останется, река останется. Наши фабрики мы унесем с собой, железные дороги и мосты тоже. Они придут — нет ничего. Построят — мы ночью придем и тоже унесем. Нас больше.

— Но они все время много убивают.

Мать спохватилась, что сказала неосторожно.

Лицо Кана затуманилось, он, очевидно, вспомнил о своей погибшей семье. Но он сейчас же просветлел:

— Есть еще один мудрый старик. Он сосчитал, сколько китайцев. Он сказал: “Не надо бояться. Японцам надо сто двадцать лет, чтобы убить всех китайцев. А в Китае еще прибавляется четырнадцать миллионов детей в год. Японцев не хватит для войны”.

— Но, Кан, все вы не умрете с голода?

— Японцы умрут с голода. Все — солдаты. Ему надо ружье, ему надо пули. Ружье надо чистить, пули надо, чтоб были сухие. Много работы. Большой расход. Они будут голодные.

— Что же, Кан, тебе виднее. Желаем вам победы.

— Я тоже желаю. Я переменился. Я стал другой человек. Я раньше хотел копить деньги и открыть бакалейную лавку. А теперь вижу: японцы отнимут лавку. Надо сначала прогнать японцев, а потом открывать лавку. Мое дело ждет. Китай идет сначала, потом моя лавка. Нет Китая, нет моей лавки. Лавка — японская.

И вдруг он затрясся от гнева:

— Я не начинал войны. Я сидел дома. Они пришли сюда. Земля наша. Они нас убивают. Теперь мы хотим, чтоб они все пропали. Пусть больше не будет японцев на свете.

И, не в силах больше владеть собою, он убежал из комнаты.

Итак, Семья покидала пансион № 11.

Помещение для двоих нашлось само собой. В доме, снятом графиней, был пуст маленький аттик. Она предлагала его бесплатно Матери и Лиде. Мать предложила взамен помогать по хозяйству. Они обсудили часы работы — и вопрос с переездом был закончен. Собаку брали с собой.

26

Они оставили дом № 11 рано утром тридцатого июня, выйдя из калитки по очереди: Мать, Лида, Собака — все, что оставалось от Семьи. Мать и Лида несли узелки. Два рикши следовали за ними с имуществом. Это было все, чем они владели. Но они не оставляли за собой долгов. Правда, все ушло — и пять долларов Джима, и деньги, полученные под залог за ожерелье, подаренное миссис Парриш. Но часы остались. Хотя и безнадежно отставая, они все же показывали какое-то время, как живые, имели голос, тикали. По ним нельзя было жить, но на них можно было смотреть и мечтать.

[1] **Г е р и л ь я** — партизанская война *(Исп.)*.

Комната в аттике, как вообще комнаты в аттиках, была мала, неудобна, неправильной формы. Она походила скорее на шалаш, чем на постоянное жилище. Но Мать и Лида входили в нее с легким сердцем: она была бесплатная, и это одно делало ее великолепной.

— Мама, смотри: окно! — кричала Лида. — А я думала, мы будем без окна, просто будет дыра в стене.

Она побежала к окну:

— Боже, и подоконник! Широкий. Стекла все целы, только очень грязные. Тут можно читать, писать, пить чай. А вид из окна! Я вижу город внизу. Как у Пушкина: "Кавказ подо мною. Один в вышине..."

Лида перебила сама себя:

— Я лучше сначала вымою это окно, а потом буду декламировать. Отсюда будет видно и город и речку, а ночью — звезды и луну. Я просто теперь не понимаю, почему все люди не живут только в аттиках. Во-первых, это выше... ближе к небу, к облакам и к звездам...

А Мать в это время думала: "Есть крыша. Защищены от дождя и снега. И стены — ничего. Не будет, конечно, тепло, но и не замерзнем до смерти".

И обе они энергично принялись за работу, превращая аттик в уголок, где может ютиться Семья.

В углу уже сияла икона. На полке стоял Лидин чайный сервиз. На стене висел календарь с вычеркнутыми и подчеркнутыми днями, свидетельствуя о жизни сердца: кто-то ждет чего-то в аттике — и считает дни. Бабушкина книга положена на ящичек, превращенный в маленький столик. Из ящиков же устроены две постели: постоянная для Матери и как бы диван, чтобы днем на нем можно было сидеть, — для Лиды. И уже посыльный нес букет цветов для Лиды — "С новосельем" — от Леона, и торт — анонимно, но, по всей вероятности, от графини.

— Что ж, — сказала Лида, — все у нас есть, и пока торт свежий, мама, сегодня же отпразднуем новоселье. Позовем всех в гости.

Между тем событие не меньшей важности происходило в жизни Собаки. Она была пока оставлена во дворе. Ей были даны и обещаны впредь все кости от графского стола. Она погрызла и решила отдохнуть. Вдруг во дворе появился маленький мальчик, чуть меньше Димы. Он жил тут во дворе. Увидя Собаку, он остановился: такой прекрасной собаки он еще никогда не видел.

Конечно, Собака была уже не та, что прежде. Если бульдоги и не умирают от разочарования в жизни, они худеют, дурнеют и делаются более самоуглубленными, мрачными. Они избегают общества. Они хотят остаться одни.

Увидев тихо подбирающегося к ней мальчика, Собака отвернулась.

— Собачка! Собачка! Чья ты, собачка? — нежно шептал мальчик и уже протягивал руку, чтоб прикоснуться, но не решался.

— Собачка, ты не кусаешься?

Собака скосила глаза, посмотрела на худенькую, грязненькую ручку — и фыркнула.

Мальчик отскочил. Постояв недолго на почтительном расстоянии и не получив никаких знаков о том, что интерес — взаимный, мальчик отправился на разведку. Он вскоре вернулся. Точные сведения были им собраны. Главные пункты: Собака будет жить здесь; она еще никого никогда не укусила и ее звали просто Собакой.

Мальчик сделался смелее и подошел ближе. Он рассматривал Собаку восторженными глазами, она же давала смотреть на себя почти равнодушно: это был другой мальчик. Нечего и обнюхивать его: мальчик был другой. Он совсем не походил на незабвенного Диму. Он не мог походить, и на это нельзя было надеяться, и этого нельзя было ожидать. Но все-таки и это был мальчик. Есть что-то общее, детское, во всех детях, что-то одинаковое мальчиковое во всех мальчиках. Уже с трудом Собака отвела глаза: нет! нет! С нее довольно было опыта человеческой дружбы. Никогда. Никогда больше.

И Собака, поднявшись, отошла. Она переменила место, спасаясь от мальчика. Но он шел за ней. Он сел неподалеку, рядом.

— Собачка, — сказал он, — у тебя нет настоящего имени. Разве можно называть тебя просто Собакой? Я бы не позволил называть себя просто мальчишкой. Хочешь, я придумаю тебе имя. Я тебе сделаю паспорт. У меня есть печатка, я получил на елке в подарок. Я утащу где-нибудь кусочек сургуча, и мы напечатаем тебе паспорт.

Он коснулся слегка шеи Собаки, все-таки еще осторожно, — не укусила бы. Сердце Собаки дрогнуло и на минутку как бы остановилось. Опять подымался в ней давний инстинкт — жажда иметь хозяина и быть ему преданным другом. Борьба шла в сердце Собаки. Горечь воспоминаний боролась против надежды на светлое будущее.

Но пока Собака колебалась, мальчик уже обнял ее шею ручонками и, прижав лицо к ее морде, шептал:

— Мы будем дружно играть. Ты будешь моя собачка.

И Собака послушно кивнула головой.

День кончился. Отпраздновали новоселье. Все затихло. Наступил прекрасный летний вечер. Зажгли лампаду — и сразу показалось, что Мать и Лида не только были дома, но жили здесь уже давно-давно.

— Знаешь, мама, — сказала Лида, — я думаю, что мы с тобой счастливы.

— Конечно, — ответила Мать. — Роптать было бы грехом. Лишь посмотреть, как живут другие, но только... — И она остановилась.

— Я знаю, мама, о ком ты сейчас подумала: о Диме и Пете. Да?

— Да, я о них подумала.

— Я думаю, мама, я даже чувствую, что и они тоже думают, как мы с тобой, что они счастливы.

— Дай Бог, чтоб так было.

— Мама, можно мне петь? Я сяду на подоконник, буду смотреть на звезды и петь. Хорошо?

— Лида, не поздно ли?

— Девять часов, наверное. Летом это еще не поздно. Можно.

— Ну, хорошо. Спой одну песню — и довольно. И не очень громко.

И Лида запела:

Песнь моя, лети с мольбою...

При первых же звуках ее голоса в доме все остановилось.

— Она поет, — сказала графиня и отложила в сторону книгу. Граф перестал печатать на машинке.

"Она поет", — подумал Леон. Он ничего не сказал, но вышел на балкон, где стоял неподвижно, один.

В доме напротив раскрылось окно, и бледное больное лицо выглянуло оттуда — послушать. Стали открываться и другие окна в других домах. Прохожие замедляли шаг, чтобы слышать Лиду подольше. Иные возвращались обратно, и под Лидиным окном стояла небольшая группа людей, привлеченных ее пением. Но окно было расположено на крыше, так что Лида не могла их видеть, да она и не смотрела вниз. Глядя на звезды, она пела полным голосом, забыв, что обещала Матери.

Первым под окном остановился итальянский солдат. Услыхав голос Лиды, он только тихо свистнул от изумления, остановился да так и стоял до конца песни. Сын народа, который прекрасно поет и понимает в пении, он умел оценить всю прелесть голоса Лиды. Затем около него остановился старый китайский господин в шелковом халате темно-вишневого цвета. Он слушал, слегка наклонив голову и полузакрыв глаза, с глубоким вниманием. Его лицо не выражало ни одобрения, ни порицания — одно только внимание. Это была чужая для него песня, и он хотел судить о ней мудро и по всей справедливости. Подальше, у стены, касаясь ее своей рукой, стояла слепая китаянка. Она вышла на вечернюю прогулку, сопровождаемая своей амой. Она была одета в черное. Искусственный розовый цветок был приколот к ее прическе длинной серебряной шпилькой. Она слушала жадно, как бы получая, впитывая в себя что-то из Лидиной песни. Подальше стояла русская девушка со своим кавалером. Она смотрела вверх, в направлении голоса, хотя и не могла видеть Лиду. Слезы сверкали в ее глазах. Оборванный китайский мальчишка держался поодаль, как и подобает парии: он слушал, но боялся подойти ближе. Он слушал, и его голодные губы двигались, как бы пробуя на вкус эти звуки. Рикши подымали головы, проезжая мимо дома, точно так же, как и их седоки.

Наконец последние звуки песни замолкли. Толпа под окном разошлась медленно и молча. Лида все еще сидела на подоконнике, глядя на звездное небо. В комнате, освещенной лампадой, Мать молилась перед отходом ко сну. Когда она кончила молиться, Лида спросила:

— Мама, какой самый большой дар женщина может принести тем, кто ей дорог? Любовь? Искусство?

— Ни то, ни другое, — ответила Мать. — Самый большой дар — это преданность и нежность. Только они и соединяют людей в Семью.

ЭПИЛОГ

Дом № 11 недолго стоял пустым. Новые жильцы были готовы и ждали только часа, когда можно въехать. Как только Мать, Лида и Собака скрылись за углом, с противоположной стороны переулка, из-за угла уже подъезжали новые жильцы.

Это была китайская семья или, вернее, несколько китайских семей, слившихся в одну. Приехавших было невероятно много, и они были всех возможных человеческих возрастов. Особенно много было детей. Несли на руках беспомощных младенцев, бежали группами мальчишки, стайками подходили девочки с косичками, девушки — и красивые и некрасивые — двигались попарно. Везли стариков и старух. Бежала прислуга. Просто невозможно было ни умом, ни воображением вместить их в рамки одной семьи. Глядя на них, уже нельзя было сомневаться, что в Китае действительно 450 000 000 населения и, в добавление к нему, 14 000 000 младенцев рождается ежегодно.

Приехавшие волнами стали вливаться в дом № 11, наполняя его от крыши до подвала. Вмиг окна оказались или завешены, или заполнены детскими лицами. Сейчас же застучала посуда на кухне, запахло чем-то, жаренным на бобовом масле, и из трубы как начал подниматься дым, так больше уже никогда ни днем, ни ночью не останавливался. Жалкие, тощие собаки бегали и занимали углы, что потемнее, на черном дворе. А в дом все несли и несли узлы, корзины, ящики, сундуки из ароматного камфарного дерева, сундуки из кедра. Затем понесли туда десятки матрасов, свернутых в толстые трубки и перевязанных веревками. Волной, подымаясь и опускаясь, двигались кровати, шкафы, столы и стулья — всех времен, стилей и фабрик, какие когда-либо были виданы в Китае.

Вскоре в доме, должно быть, уже недоставало места. Под давлением вносимых вещей, очевидно, выталкивались жители из дома: из дверей и окон выходили и выпрыгивали дети и взрослые и рассыпались вокруг дома. Дом № 11 трещал по швам. Казалось, он шатался от давления изнутри и, расширяясь по бокам, тем самым делался ниже. Пошел стук вбиваемых в стены гвоздей, как будто бы не семья селилась в доме, а возводилась какая-то небывалая крепость.

Два дерева и скамейка под ними, как самый приятный уголок, сделались достоянием самого старшего поколения. Там разместились философы и мудрецы новой семьи жильцов.

Деревья одни, казалось, не изменились. Они не зависели от человеческих настроений и жили своей, отдельной от человека жизнью. Зеленые весной, голые зимой — они имели свой ритм печали и радости, расцветания и увядания, который не имел общего с переменами человеческой судьбы.

Первым пришел в "сад" патриарх въехавшего в дом населения: небольшой и очень согнутый древний старичок. Он стал под деревом, и казалось, что он всегда и стоял здесь, как будто он был третьим деревом и тоже жил космической жизнью и не зависел от человеческой судьбы. Он был, как и деревья, стар, спокоен, мудр, невозмутим. Только корни его не были в земле — он мог еще двигаться. Его серо-голубой халат казался клочком неба, он был того же самого цвета. И старик стоял между деревьев, как меж двух братьев, и улыбался им. В руке он держал клетку, и в ней была маленькая желтенькая птичка. Он и вынес ее погулять и подышать свежим воздухом. Птичка молчала, как молчал и старик и деревья. Казалось, старик и птичка тоже были одно, и они готовы были вместе вспорхнуть и улететь, как только откроется дверца клетки.

Затем вышли бабушки, очевидно, бабушки бабушек, так они были стары. Они любили тепло и держались на солнышке. Несколько подальше, на почтительном от них расстоянии, кипела молодая жизнь и наполняла воздух голосами. Все интонации чувств слышались в них: горе, радость, сомнение, надежда, зависть, злоба, шутки и смех.

Дом № 11 имел новых обитателей.

Наконец, день отшумел, откипел, наступила ночь, и дом затихал понемногу. Первыми заснули дети, начиная с младших, и огни гасли в окнах, то здесь, то там. Дом делался тише, темнее, печальней. Без детских голосов он казался более старым,

он сморщился, он открывался той жизни, тем мыслям, что известны только бессонным ночам болеющих и старых людей. Но и те засыпали понемногу, и окна гасли одно за другим. Затем по всему темному дому кто-то прошел со свечой. Ее огонек появлялся и исчезал в окнах, спускаясь от аттика вниз. Это китайская Мать, пересчитав свое семейство, последней шла на покой.

Казалось, все уже совершенно умолкло, погасло, заснуло. Дом закрыл свои глаза. Теперь он казался таким же старым, как планета Земля. Но именно в уже вполне установившейся тишине и темноте ночи стал слышен голос и виден чуть заметный свет в окне чулана, в подвале.

Кто еще не спит? Кто бодрствует в полночь? Заглянем в окно: это бодрствует человеческая скорбь.

На полу, на циновке сидит женщина. Свеча, горящая перед нею, — погребальная, поминальная свеча. Раскачиваясь, как бы кланяясь свету, женщина творит тысячелетний обряд: она причитает, оплакивает убитого сына. Как полуоторванная ставня окна скрипит и раскачивается глухой темной ночью осенним ветром, так раскачивается эта безутешная мать и так скрипит ее исплаканный голос. Слова ее молитв и причитаний так древни, что половины их она не понимает сама, но нужно ли ей или кому-либо их понимать? Всякий, кто услышит ее голос, увидит, как она сидит и плачет, — всякий, и особенно всякая другая мать, сразу поймет и узнает, что происходит. Потому что, вопреки всем различиям в расе и в вере, вопреки разным течениям нашей истории и нашей жизни, вопреки всему, что заставляет нас бороться и ненавидеть, — мы все, по существу, одна единственная во вселенной человеческая Семья.

ХОРОШАЯ КНИГА

...Знакомый и редкий читательский эффект, о котором говорит Пушкин: открыл некую книгу и зачитался: "Вот как надобно писать!" (письмо А. О. Ишимовой 27 января 1837 года).

В 1979 году я оказался в США и решил найти Нину Федорову. Находясь в нью-йоркской гостинице, набрал телефонный номер. В Нью-Йорке был уже вечер, в Сан-Франциско еще день — на три часа раньше.

Трубку сняли так скоро, словно моего звонка ждали. До сих пор у меня в ушах звучит, как мне казалось, бодрый, хотя и немолодой голос: "У меня еще и рассказы есть... рассказы".

Наш разговор состоял преимущественно из моего письма. Иначе говоря, я почти слово в слово произнес то письмо, которое давно адресовал автору "Семьи", но только не знал, куда же его послать: "Разрешите выразить Вам восхищение Вашим романом "Семья". О книгах неудачных иногда говорят, что это не только плохая книга, но и плохой поступок. О Вашей же "Семье" можно сказать: прекрасная книга и благородный поступок! Считаю своим патриотическим долгом сделать Вашу книгу известной у нас в стране..."

При чтении "Семьи" мне казалось, что книга написана одной из трех чеховских сестер Прозоровых. Или, может быть, Аней из "Вишневого сада". Одним словом, кем-то вроде тех чеховских персонажей, что с настойчивостью вопрошали будущее: "Если бы знать! Если бы знать!" И вот пришло время — они узнали...

Что же они узнали? В "Семье" об этом говорит эпиграф из Тютчева: "...есть и нетленная краса". Что же это за краса? В чем она выразилась? В людях: выпавшие на долю изгнанников испытания исторгли из их душ все самое лучшее, заложенное наследственно, воспитанием, традицией — в смысле стойкости, человечности, порядочности, жизнеспособности.

Из кого состоит федоровская семья? Ведь это те же самые бестолковые и вроде бы никчемные люди, которым лет тридцать — сорок назад, как персонажам "Трех сестер" или "Вишневого сада", говорили "русским языком", что их "имение продается", и потому продается, что сама их жизнь изжита, и что им нужно немедленно что-то предпринять, что с их стороны требуется воля, ум, деятельность, а они уходили от ответа, переводя разговор на другое, на пустяки. И не стало у них имений, оказалась упразднена вся прежняя подоснова их жизни, и тогда вот спасла их та Россия, которую им, по словам еще одного эмигрантского писателя, удалось с собой унести — не в сундуке и не в чемодане — в сердце.

Оказывается, это все люди предприимчивые, деятельные, умные, если только с них жизнью как следует спрашивается, если у них ничего от прежней роскоши не остается, кроме как уповать на свой ум и на свою предприимчивость. Ну, положим, не очень-то они умные и не очень предприимчивые. Если бы они были очень умны, то разве занимались бы они писанием писем главам правительств или гаданием на картах? И если бы оказались они предприимчивыми по-настоящему, на уровне мировых деловых стандартов, то, надо полагать, они не прозябали бы в Тянцзине, в отдаленной британской концессии, а ворочали бы делами в самом Лондоне или Нью-Йорке. Ведь сама Нина Федорова, вернее, А. Ф. Рязановская преподавала всего лишь в начальных и средних учебных заведениях, так и не поднявшись до университетской профессуры (дети ее пошли дальше, но это уже другая история). И в романе она нам показывает обыкновенных обывателей, разве что образованных, и это в них, оказывается, есть неуничтожимое нечто, несгибаемое, дающее им возможность выстоять под ударами "бурь рока".

Федоровская Семья составлена очень тщательно, продуманно — с умыслом, с учетом, кого (или чего) в ней уже нет, а кто (или что) все еще на месте. Ведь, как сказано в романе с самого начала, это семья аристократическая, родовитая. А это означает, что у нее некогда было все, ей были свойственны все те законченно красивые формы жизни (вместе с кругом сословных понятий), о которых говорил Достоевский и о котором писала, в сущности, вся русская литература от Пушкина до Чехова. Если они имущественно все потеряли, то, по крайней мере, состав Семьи мог бы сохраниться. А если состав не полон, то уж те, кто уцелел, должны бы жить во всей полноте воспоминаниями обо всем, обо всем том, что было, было... Но нет, Нина Федорова скупа на это. У нее с видимой тщательностью отобрано только то, что ей представлялось нужным отобрать, и пропущено, что требовалось пропустить — забыть как безвозвратно и бесследно минувшее. Как тленное, пусть, может быть, и красивое.

Знаменательно отсутствие в Семье старшего мужского поколения. Есть Бабушка — нет Дедушки. Есть Мать — нет Отца. Есть намеки, по которым мы могли бы догадываться о том, где же они, какова их судьба: дед погиб в первую мировую войну, его сыновья — в гражданскую, защищая, как сказано, свои идеалы. Но воспоминаний об этом почти нет. Возможно и даже вероятно, что самые воспоминания о них так растравили бы души уцелевших членов Семьи, что повредили бы их жизнестойкости.

Сильнейшие страницы федоровского романа посвящены вере. Когда я боролся за роман, за его публикацию у нас, то это было единственное, хотя и неоправданное, но все-таки членораздельное возражение: "Там про религию!" Ну и что же, что про религию? Как сказано там про религию! Я — атеист, и уже у моих предков за два поколения до моего появления на свет, как у Чехова (которого они были персонажами и почитателями), не было Бога, поэтому для меня этой проблемы просто никогда не существовало. Но когда я читал "Семью", то, скажу я вам, у меня мурашки по коже бегали. Не потому, что я проникался той же верой. Нет, я думал: "Какая правда!" Чудодейственную силу составляет все, что как традиция живет в человеке, но до тех пор, пока — живет. И есть нетленная

краса в той же вере, пока она разлита во всем сознании и даже во всем существе человека, как то мы видим у Бабушки. Но когда та же вера становится делом умственного упражнения, "софизмом", по выражению Толстого, тогда это — юродство.

Да, весь роман Нины Федоровой написан, собственно, об умирании и сохранении давно сложившихся жизненных форм, отживших свое и еще сохраняющихся, о том, что в этих формах, как в изображенной ею Семье, есть правда, содержание, есть, как говорит она тютчевским словом, "краса", до тех пор, пока эти формы органически, непредвзято, естественно воплощены в людях.

Вот, например, профессор. Это ведь тоже фигура, можно сказать, символическая. Что перед нами профессор из той же породы профессоров, над которыми иронизировали Чехов или Булгаков, в этом не может быть сомнения. Осведомленность федоровского профессора гипертрофирована едва ли не до гротеска: он не только знает все языки, но пишет на одном языке, читает на другом, говорит на третьем и т. п. Он пишет письма главам правительств. Кто станет его слушать? А ведь этим самым занимался он, надо полагать, и раньше, до эмиграции, не первый год, пока шли своим чередом те самые события, что забросили его в жалкий пансион на чужбине. Он скорее всего даже приветствовал эти события, решительно не понимая, чем они угрожают людям вроде него самого. И не понимал он возможности последствий собственных суждений не от святого бескорыстия в служении мысли и науке (что в нем тоже, конечно, было), а именно по недостатку проницательности.

А все же... И суждения профессора имеют свою ценность, красоту. Сколько в них, в самом деле, ума, блеска, как великолепно судит он о том же языке и — на каком языке! Как умно рассуждает об истории и нациях. Все это почти без видимых переходов от света к тени передано в повествовании Нины Федоровой, запечатлевшей — с натуры, разумеется, — совершенно законченный тип удивительно осведомленного, даже умного и удивительно — до глупости — ограниченного человека.

"Есть и нетленная краса", — повторим еще раз и вслушаемся в это "и". Отбор нетленного произведен в составе красы. И кто уже прочитал "Семью", тот, наверное, обратил внимание на слова, где содержатся итоги отбора: "Как и в каждой хорошей русской семье, ее члены были нежно привязаны друг к другу, всегда готовы пожертвовать собой ради общих интересов. Другой национальной чертой была в них особая полнота духовной жизни, трепетный интерес к людям и к миру, в котором они жили. Их интересовали все общечеловеческие проблемы, поэзия, музыка, отвлеченные вопросы духовной жизни. Русский ум отказывается посвятить себя только личным интересам или вопросам одной текущей жизни. Он стремится обосноваться на высоте и оттуда иметь суждение о жизни".

Просвещенность я бы назвал главной из особенностей в отношении Нины Федоровой к жизни. Собственно, таково отношение в "Семье" ко всем проблемам, будь то любовь или вера, культура или наука, семейная солидарность или чувство Родины. "Ясно" не означает у нее — "просто" и "понятно". Ясно в том смысле, что — существует и является очевидной проблемой. Например, наука, о которой мы только что говорили, может свидетельствовать о великой силе и великой слабости, невероятном размахе и страшной ограниченности. Человечность? Возможна только благодаря терпимости и самоограничению — одних за счет других: кто-то должен взять на себя наибольший, основной груз, тогда все остальные будут любить друг друга (на этом держится Семья). Вера? Помогает, если входит в сознание традиционно, составляя груз наследственной памяти, иначе — софизм, игра.

Наконец, патриотизм. Чувство Родины для всех членов Семьи стало проблемой, и другой такой книги, как роман Нины Федоровой, об этом читать мне не приходилось. А я, как уже сказано, прочел довольно много эмигрантской литературы и ничего более честного, умного, проникновенного и художественно-талантливого не читал, включая книги писателей несравненно более известных, чем автор "Семьи".

Дмитрий УРНОВ

Нина Федорова

СЕМЬЯ

Роман

Ответственная за производство *О. Лексикова*

Редактор *С. Гладкова*
Технический редактор *Н. Кошелева*
Корректор *Н. Усольцева*

Главный художник *Ю. Коннов*
© Иллюстрации *Л. Хайлова*
© *Фото Н.Кочнева*
Учредитель:
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ "РОМАН-ГАЗЕТЫ"

Сдано в набор 04.07.91. Подписано в печать 02.12.91. Формат 84x108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура тип "Таймс". Печать высокая. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 11,34. Уч.-изд. л. 15,23. Тираж 2 016 500 экз. Заказ 495. Цена подписная.

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано с оригинал-макета в ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Министерства печати и информации РСФСР (142 300, г.Чехов Московской обл.).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом номере Вы прочитали роман Нины Федоровой "Семья". Хотелось бы знать Ваше мнение об этом произведении. Просим Вас ответить на вопросы:

1. Меняет ли книга Нины Федоровой Ваше представление о жизни русской интеллигенции в эмиграции?
2. На чем основана жизнестойкость Семьи?
3. Чему может научить книга Нины Федоровой?
4. В чем секрет обаяния этой книги?
5. Кто из членов Семьи Вам особенно по душе и почему?

Ответы просим присылать в редакцию с пометкой "Семья". Наиболее интересные письма будут опубликованы.

Утверждено на собрании трудового коллектива издательства "Роман-газета" 22 апреля 1992 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ НАРОДНОГО ЧТЕНИЯ ПРИ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "РОМАН-ГАЗЕТА"

НАЗНАЧЕНИЕ

Оказывать материальную поддержку "Роман-газете", являющейся народным журналом, самым массовым и доступным на сегодня периодическим изданием художественной литературы в стране. Финансировать издательские программы "Роман-газеты", способствующие пропаганде лучших произведений отечественной и мировой литературы (выпуск "Роман-газеты для юношества", "Детской "Роман-газеты", книжных изданий наиболее полюбившихся читателям романов и повестей, опубликованных в "Роман-газете" и др.). Осуществлять благотворительные акции, направленные на поддержку и дальнейшее развитие сложившейся за многие годы традиции народного чтения: оплачивать стоимость подписки на "Роман-газету" ветеранам-подписчикам, инвалидам войны и труда, малоимущим семьям, одиноким пенсионерам и другим особо нуждающимся читателям; расходы по проведению встреч авторов и членов редакционного совета "Роман-газеты "с читателями; стоимость комплектов и отдельных номеров "Роман-газеты", направляемых в клубы друзей "Роман-газеты".

УЧРЕДИТЕЛЬ

Трудовой коллектив издательства "Роман-газета" (по предложениям читателей).

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Денежные перечисления от читателей "Роман-газеты", сотрудников издательства, предприятий и организаций (Российских и зарубежных), заинтересованных в поддержке и развитии традиций народного чтения, осуществлении совместных издательских программ. Средства, поступающие на расчетный счет издательства "Роман-газета" N 500 345 089 в Инкомбанке г.Москвы, кор. счет 161 502 МГУ ГБ РФ, код 83 субсчет Фонд народного чтения расходуются по распоряжению правления Фонда. Финансовые документы подписываются сопредседателем Фонда—директором МП издательства "Роман-газета".

ПРАВЛЕНИЕ

Правление Фонда утверждается редакционным советом "Роман-газеты". Не реже одного раза в год правление информирует коллектив "Роман-газеты" о состоянии Фонда народного чтения и его расходовании.


112
РОМАН-10
ГАЗЕТА
70782